ВИКТОР ГЮГО

1

Том 1. Стихотворения. Повести. Марьон Делорм

Виктор Гюго

Аннотация
Виктор Гюго. Собрание сочинений в 10 томах. Том 1
СТИХОТВОРЕНИЯ
  ОДЫ И БАЛЛАДЫ
    ИСТОРИЯ
      I
      II
    ДВА ОСТРОВА
      I
      II
      III. ХВАЛА
      IV
      V. ПРОКЛЯТИЯ
      VI
      VII
      VIII
    ФЕЯ
    ОХОТА БУРГГРАФА
  ВОСТОЧНЫЕ МОТИВЫ
    КУПАЛЬЩИЦА ЗАРА

РЫЖАЯ НУРМАГАЛЬ
ДЖИННЫ
МЕЧТЫ
ОСЕННИЕ ЛИСТЬЯ
«ВПУСТИТЕ ВСЕХ ДЕТЕЙ. О, КТО СКАЗАТЬ ПОСМЕЕТ...»
«ПОРОЙ, КОГДА ВСЕ СПИТ, Я С РАДОСТНОЙ ДУШОЮ...»
«ДРУЗЬЯ, СКАЖУ ЕЩЕ ДВА СЛОВА — И ПОТОМ...»
ПЕСНИ СУМЕРЕК
КАНАРИСУ
ЛУЧИ И ТЕНИ
К Л.
OCEANO NOX
ВОЗМЕЗДИЕ
ПЕРЕД ВОЗВРАЩЕНИЕМ ВО ФРАНЦИЮ
«ПРОСТЕРТА ФРАНЦИЯ НЕМАЯ...»
«С ТЕХ ПОР, КАК СПРАВЕДЛИВОСТЬ ПАЛА...»
НАРОДУ
ПЕСЕНКА
ULTIMA VERBA
СОЗЕРЦАНИЯ
СЛЕПОМУ ПОЭТУ
НАДПИСЬ НА ЭКЗЕМПЛЯРЕ «БОЖЕСТВЕННОЙ КОМЕДИИ»

СТАТУЯ
«СКУПАЯ, ЧАХЛАЯ, ИССОХШАЯ ЗЕМЛЯ...»
ПЕСНИ УЛИЦ И ЛЕСОВ
«КОЛОКОЛЕН ЛИ ПЕРЕПЕВЫ...»
СЕЛЬСКИЙ ПРАЗДНИК ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ
ГРОЗНЫЙ ГОД
ПОСЛАНИЕ ГРАНТА
ГОРЕ
ПОХОРОНЫ
«ЗА БАРРИКАДАМИ, НА УЛИЦЕ ПУСТОЙ...»
ИСКУССТВО БЫТЬ ДЕДОМ
ОТКРЫТЫЕ ОКНА
ЛЕГЕНДА ВЕКОВ
ПЕСНЯ КОРАБЕЛЬНЫХ МАСТЕРОВ
РОЗА ИНФАНТЫ
НОВЫЕ ДАЛИ
ВСЕ СТРУНЫ ЛИРЫ
«ПЯТНАДЦАТЬ СОТЕН ЛЕТ ВО МРАКЕ ЖИЛ НАРОД...»
«СЛОВЕЧКО МОДНОЕ СОДЕРЖИТ ВАШ ЖАРГОН...»
ПОСЛЕДНИЙ СНОП
КУЗНЕЦЫ
ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ПРИГОВОРЕННОГО К СМЕРТИ
КОМЕДИЯ ПО ПОВОДУ ТРАГЕДИИ

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ПРИГОВОРЕННОГО К СМЕРТИ
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
XXIV

XXV
XXVI
XXVII
XXVIII
XXIX
XXX
XXXI
XXXII
XXXIII
XXXIV
XXXV
XXXVI
XXXVII
XXXVIII
XXXIX
XLI
XLII
XLIII
XLIV
XLV
XLVI
XLVII
XLVIII
XLIX
КЛОД ГЕ
МАРЬОН ДЕЛОРМ

ПРЕДИСЛОВИЕ
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА
ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ. СВИДАНИЕ
  ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ
  ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ
  ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ
  ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ
ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ. ВСТРЕЧА
  ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ
  ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ
  ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ
  ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ
  ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ
ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ. КОМЕДИАНТЫ
  ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ
  ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ
  ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ
  ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ
  ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ
  ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ
  ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ
  ЯВЛЕНИЕ ВОСЬМОЕ
  ЯВЛЕНИЕ ДЕВЯТОЕ
  ЯВЛЕНИЕ ДЕСЯТОЕ
ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ. КОРОЛЬ
  ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ
ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ
ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ
ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ
ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ
ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ
ЯВЛЕНИЕ ВОСЬМОЕ
ДЕЙСТВИЕ ПЯТОЕ. КАРДИНАЛ
ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ
ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ
ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ
ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ
ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ
ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ
ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ
ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНАЯ СПРАВКА
ПОЭЗИЯ ГЮГО
ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ПРИГОВОРЕННОГО К СМЕРТИ. и. КЛОД ГЕ
МАРЬОН ДЕЛОРМ

Аннотация

Компиляция. Редакция перевода «Клода Ге» отличается в деталях.

Виктор Гюго
Собрание сочинений в 10 томах
Том 1

СТИХОТВОРЕНИЯ

ОДЫ И БАЛЛАДЫ
ИСТОРИЯ

Ferrea vox
Vergilius[1]

I

В судьбе племен людских, в их непрестанной смене
Есть рифы тайные, как в бездне темных вод.
Тот безнадежно слеп, кто в беге поколений
Лишь бури разглядел да волн круговорот.

Над бурями царит могучее дыханье,
Во мраке грозовом небесный луч горит.
И в кликах праздничных и в смертном содроганье

---

[1] Примечания: 1
Железный голос. Вергилий (*лат.*).

Таинственная речь не тщетно говорит.

И разные века, что братья исполины,
Различны участью, но в замыслах близки,
По разному пути идут к мете единой,
И пламенем одним горят их маяки.

II

О муза! Нет времен, нет в будущем предела,
Куда б она очей своих не подняла.
И столько дней прошло, столетий пролетело, —
Лишь зыбь мгновенная по вечности прошла.

Так знайте, палачи, — вы, жертвы, знайте твердо,
Повсюду пронесет она бессмертный свет —
В глубины мрачных бездн, к снегам вершины гордой,

Воздвигнет храм в краю, где и гробницы нет.

И пальмы отдает героям в униженье,
И нарушает строй победных колесниц,
И грезит, и в ее младом воображенье
Горят империи, поверженные ниц.

К развалинам дворцов, к разрушенным соборам,
Чтоб услыхать ее, сберутся времена.
И словно пленника, покрытого позором,
Влечет прошедшее к грядущему она.

Так, собирая след крушений в океане,
Следит во всех морях упорного пловца,
И видит все зараз на дальнем расстоянье —
Могилу первую и колыбель конца.

1823 г.

ДВА ОСТРОВА

Скажи мне, откуда он явился, и я скажу, куда он идет.
Э. Г.

I

Два острова на глади пенной,
Две великаньих головы
Царят у двух границ вселенной,
Равно угрюмы и мертвы.
Смотри, — и задрожи от страха!
Господь их вылепил из праха,
Удел предвидя роковой:
Чело их молниями блещет,
Волна у скал нависших плещет,
Вулканы спят в груди немой.

Туманны, сумрачны, безлюдны,
Видны два острова вдали,
Как будто два пиратских судна
В пучину намертво вросли.
Их берег черен и безлюден,
Путь между скал кремнист и труден

И дикой чащей окаймлен.
Но здесь недаром жуть гнездится:
На этом Бонапарт родится,
На том умрет Наполеон.

Тут колыбель — а там могила.
Двух слов довольно на века.
Их наша память сохранила,
И память та не коротка.
К двум островам придут, мне мнится,
Пред тенью царственной склониться
Все племена грядущих дней.
Раскаты гроз на высях горных,
Удары штормов непокорных
Напомнят правнукам о ней.

Недаром грозная пучина
Их отделила от земли,
Чтобы рожденье и кончина
Легко свершиться бы могли;
Чтобы такой приход на землю
Не сотрясал земли, подъемля
Мятеж таинственных глубин,

Чтоб на своей походной койке
Не вызвал бури узник стойкий
И мирно умер бы один.

II

Он был мечтателем на утре дней когда-то,
Задумчивым, когда, кончая путь солдата,
Угрюмо вспоминал былое торжество.
И слава и престол коварно обманули:
Он видел их вблизи, — ненадолго мелькнули.
Он знал ничтожество величья своего.

Ребенком грезил он на Корсике родимой
О власти мировой, о всей непобедимой
Своей империи под знаменем орла, —
Как будто мальчику уже звучала сладко
Многоязыкая, пред воинской палаткой,
Всемирной армии заздравная хвала.

III. ХВАЛА

«Будь славен, Бонапарт, владыка полвселенной!

Господь венчал тебя короною нетленной.

От Нила до Днепра ты правишь торжество,

Равняешь королей прислуге и вельможам.

И служит вечный Рим подножьем

Престолу сына твоего!

Парят орлы твои с простертыми крылами,

Несут на города убийственное пламя.

Ты всюду властвуешь куда ни глянь окрест.

Ты покорил диван, командуешь конклавом.

Смешав на знамени кровавом

И мусульманский серп и крест.

И смуглый мамелюк, и готский ратник

дикий,

И польский волонтер, вооруженный пикой,

Все слепо преданы желаниям вождя.

Ты исповедник их, ты их законодатель.

Ты мир прошел, завоеватель,

Повсюду рекрутов найдя.

Захочешь, — и, взмахнув десницею надменной,

Во всех империях свершаешь перемены,

И короли дрожат у врат твоих хором.

А ты, пресыщенный в сраженьях иль на пире,

Почиешь в благодатном мире,

Гордясь накопленным добром.

И мнится, что гнездо ты свил на круче горной,

Что вправе позабыть о буре непокорной,

Что молнии тебе не ослепят глаза.

И мнится, твой престол от рока независим, —

Не угрожает этим высям
Низкорожденная гроза!»

IV

Ударила гроза! — Мир грохотом наполнив,
Скатился он в ничто, дымясь от стольких молний,
Смещен тиранами тиран.
В теснину диких скал замкнули тень живую.
Земля отвергла, — пусть несет сторожевую,
Ночную службу океан.

Как презирал он жизнь — там, на Святой Елене,
Когда морская даль гасила в отдаленье
Печальный, мертвенный закат.
Как был он одинок в вечерний час отлива,
Как англичанин вел его неторопливо
Туда, — в почетный каземат!

С каким отчаяньем он слушал гул проклятий

Тех самых воинских неисчислимых ратей,

Чье обожанье помнил он!

Как сердце плакало, когда взамен ответа

Рыданьем и тоской раскатывался где-то

Хор человеческих племен!

V. ПРОКЛЯТИЯ

«Позор! Несчастие! Анафема! Отмщенье!

Ни небо, ни земля не ведают прощенья!

Вот наконец-то пал низверженный колосс!

Пускай же, прахом став, впитает он навеки

Пролитой юной крови реки

И реки материнских слез!

При этом имени пусть Неман, Тибр и

Сену,

Альгамбру древнюю, темничный ров Венсена,

И Яффу, и Кремля горящего дворцы,

Поля былых побед, поля резни кровавой,

Своим проклятием, отгулом прошлой славы

Теперь наполнят мертвецы!

Пускай вокруг него теснятся эти жертвы,

Восставшие из ям, воскресшие из мертвых,

Пускай стучат к нему обрубками костей!

Калечила их сталь, и порох жег когда-то.

Пусть остров превратит в долину Иосафата

Орда непрошенных гостей!

Чтобы он жил и жил, всечасно умирая,

Чтобы рыдал гордец, паденье измеряя,

Чтобы тюремщики глумились вновь над ним,

Чтоб узника они усугубляли муки
И заковали эти руки
Своим железом ледяным!

Он верил, что навек победами прославлен,
Что все забыл народ, — и вот он сам раздавлен!
Господь переменил блестящую судьбу.
И у соперника державной римской мощи
Остался миг один, чтоб сгинуть в полунощи,
И только шаг, чтоб лечь в гробу.

Он в море погребен и поглощен в забвенье.
Напрасно некогда в неукротимом рвенье
Мечтал о мраморной гробнице Сен-Дени.
Почившим королям остался он неведом:
С безродным пришлецом, заносчивым соседом

В подземном сумраке не встретятся они!»

VI

Как страшен был удар! Пьянившие вначале,
Последние мечты лишь ужас означали.
Бывает, в юности надеждам мы верны,
Но скоро задрожим в пресыщенности горькой
И жизнь разглядываем зорко
С иной, нежданной стороны.

Встань, путник, подойди к подножью цепи горной,
Любуйся издали на облик чудотворный,
На первозданный кряж, запомнивший века,
На зелень дикую, висящую на скалах, —
Какой седой туман ласкал их,
Как увенчали облака!

Вскарабкайся же вверх и задержись на кручах.

Хотел достичь небес... а затерялся в тучах!

Картина страшная меняет облик свой.

Перед тобой стена столетних мрачных елей,

Гнездо бушующих метелей,

Рожденье бури грозовой!

VII

Так вот изображенье славы:

Вчера слепил глаза кристалл,

Но замутился он, кровавый,

И страшным зеркалом предстал.

Вот два изображенья мира,

Два разных лика у кумира,

Два разных возраста души.

К победам в юности готовясь,

Он прочитал под старость повесть

Об унижении в глуши.

Подчас на Корсике туманной

Или на острове втором

Услышит кормщик безымянный

В ущельях заворчавший гром.
И, вспыхнув молнией летучей,
Тот призрак, выросший из тучи,
Скрещает руки на скале, —
Не двигаясь, без содроганья,
Теперь царит он в урагане,
Как раньше в битвах на земле.

VIII

Ушла империя, — остались две отчизны,
Два мрачных образа в его блестящей жизни,
Два моря штормовых у двух границ земли.
Здесь плавал Ганнибал, а там — дорога Васко.
Скажи: Наполеон! — откликнется как сказка
Двойное эхо издали!
Так пушечный снаряд, пылающий и мстящий,

На черных небесах параболу чертящий,
Как бы колеблется, полет замедлив свой,
Но лютым коршуном он падает на землю,
И роет ямину, сыпучий прах подъемля,
И камни рвет из гнезд на старой мостовой.

И долго, кажется, полно глухого гула
Извергнувшее смерть, дымящееся дуло,
И долго площадь, где снаряд разорвался,
В кровавых отсветах и корчах погибая,
Железное ядро в обломках погребая,
Гудит, истерзанная вся!

Июль 1825 г.

ФЕЯ

И королева Маб ко мне явилась тенью:
Когда мы спим, она низводит к нам виденья.
Эм. Дешан. «Ромео и Джульетта».

Будь то Урганда иль Моргана, —
Но я люблю, когда во сне,
Вся из прозрачного тумана,
Склоняет фея стебель стана
Ко мне в полночной тишине.

Под лютни рокот соловьиный
Она поет мне песни те,
Что встарь сложили паладины, —
И я вас вижу, исполины,
В могучей вашей красоте.

Она за все, что есть святого,
Велит сражаться до конца,
Велит сжимать в руке суровой
Меч рыцаря, к боям готовый,
И арфу звучную певца.

В глуши, где я брожу часами,
Она, мой вездесущий друг,
Своими нежными руками
Луч света превращает в пламя
И в голос превращает звук.

Она, укрывшись в речке горной,

О чем-то шепчет мне тайком,
И белый аист, ей покорный,
Со шпиля колокольни черной
Меня приветствует крылом.

Она у печки раскаленной
Сидит со мною в поздний час,
Когда на нас из тьмы бездонной
Глядит, мигая утомленно,
Звезды зеленоватый глаз.

Влечет видений хороводы,
Когда блуждаю меж руин,
И эхо сотрясает своды,
Как будто там грохочут воды,
Подобные волнам стремнин.

Когда в ночи томят заботы,
Она, незрима и легка,
Приносит мне покой дремоты,
И слышу я то шум охоты,
То зов далекого рожка.

Будь то Урганда иль Моргана,
Но я люблю, когда во сне,

Вся из прозрачного тумана,
Склоняет фея стебель стана
Ко мне в полночной тишине.

1824 г.

ОХОТА БУРГГРАФА

...А старый фавн меж тем смеялся в диком гроте.
Сегре

Старый бургграф с сенешалем у гроба
Оба.
«Готфрид святой, ты для нас господин
Один.

В наших лесах уже нету былого
Лова;
Если охотничьих дашь нам побед, —
Обет

Ныне даю почитать твои мощи.
Мощи
Дай своему, о лежащий в гробу,
Рабу!

Рог подарю тебе кости слоновой.
Новый
Склеп возведу с драгоценной плитой
Литой.

Будет у гроба всегда для поминок
Инок;
Сам средь монашьих паду власяниц
Я ниц!»

В склепе сыром выступает из мрака
Рака.
Знает бургграф, что избавит обет
От бед.

Солнце на небе высоко пылает.
Лает
Свора борзых: их не кормят псари
С зари.

«Паж, пусть печется получше о конях
Конюх.
Всыпать в кошель не забыл ты монет?»
«О нет!»

«Полно вам, бросьте вы карты и кости,
Гости!
Выберет каждый немедля пусть лук
У слуг.

Вас в своем замке задумал собрать я,
Братья,
Чтоб вам охотничье сердце рожок
Ожег!»

Чаши и кубки выносят на блюде
Люди.
Вот поварята и повар седой
С едой.

Графу ременный стянул наколенник
Ленник;
Паж поправляет алмазный аграф,
А граф

В рог затрубил, созывая отважных:
Важных
Графов имперских и бедных дворян.
Он рьян!

С башни графиня рукой белоснежной
Нежной
Машет лукаво. Вокруг госпожи —
Пажи.

Мост на цепях опустили драбанты.
Банты
Ветер срывает с беретов и грив,
Игрив.

Мчитесь, спасаясь от рыцарской длани,
Лани!
Бойтесь, косули, тугой тетивы
И вы!

Скачут охотники. Вдруг — к их смятенью —
Тенью
Стройный олень промелькнул, где кусты
Густы.

«Гончих спустите по красному зверю!
Верю —
Псы нам покажут свою быстроту!

Ату!

Ловчие, вы удивитесь награде!
Ради
Дичи такой ничего, сенешаль,
Не жаль!

Нимфа, владычица мира лесного,
Снова
Мы в твоем царстве. Не будь к нам строга, —
Рога

Зверя своим волхвованием тайным
Дай нам!
Дай, мать охотников, дай, сестра фей,
Трофей!»

Вихрем несется скакун андалузский.
Узкий
Бархатный душит бургграфа камзол.
Он зол.

Графские псы самому королю бы
Любы.
Дать может волку-грабителю бой

Любой.

Мощны их лапы, свирепы их морды.
Орды
Мчат, чтоб, оскаливши бешено пасть,
Напасть.

Рощи, прощайте! Прощайте, лужайки!
Шайке
Яростной нужно оленя сгубить
Убить.

Мчится олень, свою резвость удвоя.
Воя,
Псы настигают... Отстали на пядь
Опять.

Граф разъярен. Он скакать велит слугам
Лугом.
Сам же он лесом несется, гоня
Коня.

Мнут на лугах скакуны Калатравы
Травы.
Топчет охота, гремя и пыля,

Поля.

Тяжко храпят от безумной погони
Кони.
Вот покатился с конем паладин
Один.

Лес! Беглецу путь открой ты к спасенью!
Сенью
Свежих ветвей, где царит соловей,
Овей!

Гончих собак поредела густая
Стая:
Сбились иные, почуяв лису
В лесу.

Рыщут они средь кустов и бурьяна
Рьяно.
Скоро они след, оставленный тут,
Найдут.

Зверь убегает от стаи рычащей
Чащей.
Рвут ему сучья бока и живот.

И вот —

Озеро видит в лесу он дремучем.
Мучим
Жаждою, жадно пьет воду олень.
О, лень!

Здесь ты царила: склонялись, ленивы,
Ивы,
Речка, прозрачная, как из стекла,
Текла...

Лай, улюлюканье, криков и смеха
Эхо, —
Где лишь услышать могли шелест вы
Листвы.

Лес оглашен звуком рога знакомым.
Комом
Сжался олень: его ужас прожег.
Прыжок, —

Ив расступились зеленые своды.
В воды
Прянул олень. Водоем здесь глубок.
Клубок

Псов, потерявших от ярости разум,
Разом —
В воду за ним... Это смерти порог.
О рог!

Эхо разносит звук рога победный.
Бедный
Зверь, это гибели грозный пророк!
О рог!

Видишь ли ты, что тебя окружили,
Или
Ищешь еще ты к спасенью дорог?
О рог!

Руки тверды у стрелка и жестоко
Око.
Целит в тебя он, стянув лук тугой
Дугой.

К берегу зверь подплывает усталый.
Алой
Кровью окрашен, травы стал покров
Багров.

К стонам их жертвы охотников глухо

Ухо.
Что же, толпа палачей, обнажи
Ножи!

Кто же вонзит ему в сердце кинжала
Жало?
Первым по праву, бургграф-государь,
Ударь!

Вам будет знатный, с бургграфом кто дружен,
Ужин.
Ждет уже в замке, сеньор и вассал,
Вас зал.

Будут о подвигах петь менестрели.
Трели
Флейт и гобоев там будут греметь
И медь.

Но торжествует убийца твой рано:
Рана
И у него — его честь сражена.
Жена,

С мужем скучая суровым и старым

Даром
Время не тратит. Смеются над ним
Одним

Двое: графиня и юноша вместе.
Мести
Радуйся, бедный олень: у врага —
Рога!

ВОСТОЧНЫЕ МОТИВЫ
КУПАЛЬЩИЦА ЗАРА

Лучи на лик ее сквозь ветви темной чащи
Бросали тень листвы, от ветра шелестящей.
Альфред де Виньи

Зара в прелести ленивой
Шаловливо
Раскачалась в гамаке
Над бассейном с влагой чистой,
Серебристой,
Взятой в горном ручейке.

С гамака склонясь к холодной
Глади водной,
Как над зеркалом живым,
Дева с тайным изумленьем
Отраженьем
Восхищается своим.

Каждый раз, как челн послушный

Свой воздушный
Совершает легкий путь,
Возникают на мгновенье
В отраженье
Ножка белая и грудь.

Осторожно, но отважно
Холод влажный
Зара ножкою толкнет:
Отраженье покачнется —
Засмеется
Зара, чуя холод вод.

Спрячься под листвою темной,
Гость нескромный!
Омовенье совершив,
Выйдет Зара молодая,
Вся нагая,
Грудь ладонями прикрыв.

Как прекрасное виденье,
Остановится, — но вдруг
На мгновенье
Затрепещет влажным телом —

И несмело
Озирается вокруг.

Вот она стоит под ивой
И пугливо
Ловит слухом ветерок.
Пролетит ли шмель над нею, —
Вспыхнет, рдея,
Как гранатовый цветок.

Видишь все, что закрывало
Покрывало.
В голубых ее глазах
Словно искры пробегают, —
Так играют
Звезды в синих небесах.

Отряхнулась, и, как слезы
С листьев розы,
Дождь по телу побежал,
Словно жемчуг драгоценный
На колена
С белой шеи вдруг упал.

Но ленивица лукава

И забавы
Не желает прерывать.
Над водой прозрачной рея,
Все быстрее
Начинает напевать:

«Если б я была султаншей
Или ханшей,
Я не мылась бы в пруде,
А в купальне золоченой,
Возле трона,
В амброй пахнущей воде.

В сетке шелковой, атласной
Ежечасно
Я летала бы, как пух,
На тахтах спала богатых,
В ароматах,
Чтоб захватывало дух.

В ручейке с волною зыбкой
Юркой рыбкой
Я б резвилась поутру,
Не боясь, что кто-то может

Потревожить,
Подсмотреть мою игру.

Пусть рискует головою,
Кто со мною
Познакомиться готов, —
Встретит сабли стражей черных,
Мне покорных,
И свирепых гайдуков!

Я смогу без наставлений
В милой лени
Бросить где-нибудь в углу
Пару вышитых сандалий,
Чтоб лежали
Вместе с платьем на полу».

Так, по-царски наслаждаясь,
Колыхаясь
Над водою взад-вперед,
Попрыгунья позабыла
Быстрокрылый
Вечный времени полет.

Ливень брызг она небрежно

Ножкой нежной
Посылает на песок,
Где свернулся змейкой черной
Весь узорный
Позабытый поясок.

Между тем ее подружки
Друг за дружкой
Направляются в поля:
Вот их ветреная стая,
Пробегая,
Песню завела, шаля.

И летит через ограды
Винограда
Вместе с песенкой упрек:
«Стыдно девушке ленивой,
Нерадивой,
Что не встала к жатве в срок!»

Июль 1828 г.

РЫЖАЯ НУРМАГАЛЬ

No es bestia que non fus hy trobada.[2]
Хуан Лоренсо Сегура де Асторга

Меж черных скал холма крутого,
Ты видишь, — роща залегла;
Она топорщится сурово,
Как завиток руна густого
Между крутых рогов козла.

Там, в темноте сырой и мглистой,
Таятся тигры, там рычат
Шакал и леопард пятнистый,
Гиены выводок нечистый
И львица, спрятавшая львят.

Там чудища — отрядом целым:
Там василиск, мечтая, ждет,
Лежит бревном оцепенелым
Удав и рядом — с тучным телом,
С огромным брюхом — бегемот.

---

[2] Примечания: 2
Нет такого дикого зверя, которого там не было бы.

Там змеи, грифы с шеей голой
И павианов мерзкий круг —
Свистят, шипят, жужжат, как пчелы,
И лопоухий слон тяжелый
Ломает на ходу бамбук.

Там каждой место есть химере;
В лесу — рев, топот, вой и скок:
Кишат бесчисленные звери,
И слышен рык в любой пещере,
В любом кусте горит зрачок.

Но я смелей пошел бы в горы,
В лес этот дикий, в эту даль,
Чем к ней, чьи безмятежны взоры,
Чей добр и нежен лепет скорый, —
Чем к этой Рыжей Нурмагаль!

25 ноября 1828 г.

ДЖИННЫ

E come i gru van cantando lor lai
Facendo in aer di se lunga riga
Cosi vid'io venir traendo guai

Ombre portate dalla deita briga.
Dante[3]

Порт сонный,
Ночной,
Плененный
Стеной;
Безмолвны,
Спят волны, —
И полный
Покой.

Странный ропот
Взвился вдруг.
Ночи шепот,
Мрака звук,
Точно пенье
И моленье
Душ, в кипенье

---

[3] Примечания: 3

Как журавлиный клин летит на юг
С унылой песней в высоте нагорной,
Так предо мной, стеная, несся круг
Теней, гонимых вьюгой необорной.

Данте (Перевод М. Лозинского)

Вечных мук.

Звук новый льется,
Бренчит звонок:
То пляс уродца,
Веселый скок.
Он мрак дурачит,
В волнах маячит,
По гребням скачет,
Встав на носок.

Громче рокот шумный,
Смутных гулов хор,
То звонит безумно
Проклятый собор.
То толпы смятенной
Грохот непреклонный,
Что во тьме бездонной
Разбудил простор.

О боже! Голос гроба!
То джинны!.. Адский вой!
Бежим скорее оба
По лестнице крутой!

Фонарь мой загасило,
И тень через перила
Метнулась и застыла
На потолке змеей.

Стая джиннов! В небе мглистом
Заклубясь, на всем скаку
Тисы рвут свирепым свистом,
Кувыркаясь на суку.
Этих тварей рой летучий,
Пролетая тесной кучей,
Кажется зловещей тучей
С беглой молньей на боку.

Химер, вампиров и драконов
Слетелись мерзкие полки.
Дрожат от воплей и от стонов
Старинных комнат потолки.
Все балки, стен и крыш основы
Сломаться каждый миг готовы,
И двери ржавые засовы
Из камня рвут свои крюки.

Вопль бездны! Вой! Исчадия могилы!

Ужасный рой, из пасти бурь вспорхнув,
Вдруг рушится на дом с безумной силой.
Все бьют крылом, вонзают в стены клюв.
Дом весь дрожит, качается и стонет,
И кажется, что вихрь его наклонит,
И оторвет, и, точно лист, погонит,
Помчит его, в свой черный смерч втянув.

Пророк! Укрой меня рукою
Твоей от демонов ночных, —
И я главой паду седою
У алтарей твоих святых.
Дай, чтобы стены крепки были,
Противостали адской силе,
Дай, чтобы когти черных крылий
Сломились у окон моих!

Пролетели! Стаей черной
Вьются там, на берегу,
Не пробив стены упорной,
Не поддавшейся врагу.

Воздух все же полон праха,
Цепь еще звенит с размаха,
И дубы дрожат от страха,
Вихрем согнуты в дугу!

Шум крыл нетопыриных
В просторах без границ,
В распахнутых равнинах
Слабее писка птиц;
Иль кажется: цикада
Стрекочет в недрах сада
Или крупинки града
Скользят вдоль черепиц.

Этот лепет слабый,
Точно ветерок;
Так, когда арабы
Трубят в дальний рог, —
Дали, все безвестней,
Млеют нежной песней,
И дитя чудесней
Грезит долгий срок.

Исчадий ада

Быстрей полет:
Вернуться надо
Под адский свод;
Звучанье роя
Сейчас такое,
Как звук прибоя
Незримых вод.

Ропот смутен,
Ослабев;
Бесприютен
Волн напев;
То — о грешной
В тьме кромешной
Плач утешный
Чистых дев.

Мрак слышит
Ночной,
Как дышит
Прибой,
И вскоре
В просторе

И в море
Покой.

28 августа 1828 г

МЕЧТЫ

Lo Giorno se n'andava e l'aer bruno
Toglieva gli animal che sono'n terra,
Dalle fatiche loro.
Dante[4]

Оставь меня сейчас. Тревожный и туманный,
Подернут небосвод какой-то дымкой странной,
Огромный красный диск на западе исчез,
Но в желтизне листвы еще таится пламя:
В дни поздней осени, под солнцем и до-

---

[4] Примечания: 4

День уходил, и неба воздух темный
Земные твари уводил ко сну
От их трудов.

Данте (Перевод М. Лозинского)

ждями,

Как будто ржавчиной покрылся темный лес.

За мною по углам роится мгла густая,

А я задумчиво смотрю в окно, мечтая

О том, чтоб там, вдали, где горизонт померк,

Внезапно засиял восточный город алый

И красотой своей нежданной, небывалой

Туманы разорвал, как яркий фейерверк.

Пусть он появится и пусть в мой стих печальный

Вдохнет былую жизнь и пыл первоначальный,

Пусть волшебством своим зажжет огонь в глазах,

Пусть, ослепительно прекрасен и украшен

Сияньем золотым дворцов и стройных башен,

Он медленно горит в лиловых небесах.

5 сентября 1828 г.

ОСЕННИЕ ЛИСТЬЯ «ВПУСТИТЕ ВСЕХ ДЕТЕЙ. О, КТО СКАЗАТЬ ПОСМЕЕТ...»

Sinite parvulos venire ad me.
Jesus[5]

Впустите всех детей. О, кто сказать посмеет,
Что резвый детский смех лазурный шар развеет,
Мной сотворенный в тишине?
Друзья, кто вам сказал, что игры их и крики
Тревожат гордых муз божественные лики?
Бегите, малыши, ко мне!

Резвитесь вкруг меня, кричите и пляшите!
Мне взор ваш заблестит, как в полдень луч в зените,

---

[5] Примечания: 5
Пустите детей приходить ко мне.
Иисус (*лат.*).

Ваш голос труд мой усладит.

Ведь в мире, где живем без радости и света,

Лишь детский звонкий смех, звуча в душе поэта,

Глубинный хор не заглушит.

Гонители детей! Вам разве неизвестно,

Что каждый, в хоровод детей войдя чудесный,

Душой становится нежней?

Иль мните, что боюсь увидеть пред собою

Сквозь творческие сны, где кровь течет рекою,

Головки светлые детей?

Сознайтесь! Может быть, настолько вы безумны,

Что вам теперь милей, чем этот гомон шумный,

Дом опустелый и немой?

Детей моих отнять?! Осудит жалость это, —

Улыбка детская нужна душе поэта,

Как светоч темноте ночной.

Не говорите мне, что крик детей веселый

Наитий заглушит священные глаголы,

Что песню шепчет тишина...

Ах! что мне, муза, дар поэзии и слава!

Бессмертье ваше — тлен, тщеславная забава, —

Простая радость мне нужна.

И я не жду добра от жребия такого, —

Зачем мне вечно петь для отзвука пустого,

И для тщеславных петь забав,

И горечь пить одну, и скуку, и томленье,

И искупать весь день ночные сновиденья,

Могиле славу завещав!

Куда милее мне в кругу семейном радость,

Веселье детское и мирной жизни сладость;

Пусть слава и стихи мои
Исчезнут, смущены домашней кутерьмою,
Как перед школьников ватагой озорною
Взлетают к небу воробьи!

О нет! Среди детей ничто не увядает,
И лютик, радуясь, быстрее раскрывает
Свой золотистый лепесток,
Свежей баллады слог, и на крылах могучих
Взмывают оды ввысь, парят в гремящих тучах
Отряды величавых строк.

Стихи средь детских игр — и звонче и нетленней,
Благоуханный гимн цветет, как сад весенний,
А вы, что умерли душой,
Поверьте мне, друзья, стихам на этом свете
Поэзию дают резвящиеся дети,
Как зори поят луг росой.

Сбегайтесь, дети! Вам — и дом и сад зеленый!

Ломайте и полы, и стены, и балконы!

И вечером и по утрам

Носитесь радостно, как полевые пчелы,

Помчится песнь моя и с ней мой дух веселый

По вашим молодым следам!

Есть нежные сердца, к житейскому глухие,

Им сродны голоса и звуки золотые,

Те, что услышаны в тиши,

Обрывки яркие симфонии могучей,

В ней гул морских валов и листьев рой летучий,

Святая музыка души.

Каков бы ни был мир грядущих поколений

И нужно ль вспоминать, или искать забвений,

Карает иль прощает бог, —

Я жить хочу всегда с моей мечтой на свете,

Но только в доме том, где обитают дети,
Чтоб гомон их я слышать мог.

И если ту страну увижу в жизни снова,
Страну, чье возлюбил я царственное слово,
Чьи скалы радуют меня,
Где в детстве видел я полки Наполеона,
Сады Валенсии и крепости Леона,
Испания — страна моя!

О, если посещу я снова край старинный,
Где римский акведук протянут над долиной
Где древни призраки дворцов, —
Пусть вновь везут меня под сводом золоченым
Повозок, что всегда полны сребристым звоном
Веселых круглых бубенцов.

11 мая 1830 г.

«ПОРОЙ, КОГДА ВСЕ СПИТ, Я С РАДОСТНОЙ ДУШОЮ...»

Pan moi synarmozei, hoson cuhar moston esti, o kosme: uden moi prooron, ude opsimon, to soi eukairon. Pan karpos, ho phorusin hai sai orai, o physis, ek su panta, en soi panta, eis se panta.[6]

Марк Аврелий

Порой, когда все спит, я с радостной душою

Сижу под сенью звезд, горящих надо мною,

Прислушаться хочу к небесным голосам;

Мне времени полет не внятен быстротечный,

И я, взволнованный, гляжу на праздник

---

[6] Примечания: 6

Все, что подходит тебе, о мироздание, подходит и мне. Ничто для меня ни слишком рано, ни слишком поздно, если оно своевременно для тебя. Все, что приносят твои часы, о природа, есть плод благой. Все — из тебя, все — в тебе, все — в тебя.

вечный,

Что небо для земли свершает по ночам.

Я верую тогда, что сонмом звезд горящим

Одна моя душа согрета в мире спящем,

Что мне лишь одному понять их суждено,

Что здесь я не пришлец угрюмый, молчаливый,

А царь таинственный всей ночи горделивой,

Что только для меня и небо зажжено.

Ноябрь 1829 г.

«ДРУЗЬЯ, СКАЖУ ЕЩЕ ДВА СЛОВА — И ПОТОМ...»

Плачь, добродетель, если я умру...

Андре Шенье

*

Друзья, скажу еще два слова — и потом

Без грусти навсегда закрою этот том.

Похвалят ли его или начнут глумиться?

Не все ль равно ключу, куда струя помчится?

И мне, глядящему в грядущие года,

Не все ли мне равно, в какую даль, куда

Дыханье осени умчит остатки лета —

И сорванный листок, и вольный стих поэта?

Да, я пока еще в расцвете лет и сил.

Хотя раздумья плуг уже избороздил

Морщинами мой лоб, горячий и усталый, —

Желаний я еще изведаю немало,

Немало потружусь. В мой краткий срок земной

Неполных тридцать раз встречался я с весной.

Я временем своим рожден, и заблужденья

В минувшие года туманили мне зренье.

Теперь, когда совсем повязка спала с глаз,

Свобода, родина, я верю только в вас!

Я угнетение глубоко ненавижу,

Поэтому, когда я слышу или вижу,

Что где-то на земле судьбу свою клянет

Кровавым королем истерзанный народ;

Что смертоносными турецкими ножами

Убита Греция, покинутая нами;

Что некогда живой, веселый Лисабон

На медленную смерть тираном обречен;

Что над Ирландией распятой — ворон вьется;

Что в лапах герцога, хрипя, Модена бьется;

Что Дрезден борется с ничтожным королем;

Что сызнова Мадрид объят глубоким сном;

Что крепко заперта Германия в темницу;

Что Вена скипетром, как палицей, гро-

зится

И жертвой падает венецианский лев,

А все кругом молчат, от страха онемев;

Что в дрему погружен Неаполь; что Альбани

Катона заменил; что властвует в Милане

Тупой, бессмысленный австрийский произвол;

Что под ярмом бредет бельгийский лев, как вол;

Что царский ставленник над мертвою Варшавой

Творит жестокую, постыдную расправу

И гробовой покров затаптывает в грязь,

Над телом девственным кощунственно глумясь, —

Тогда я грозно шлю проклятия владыкам,

Погрязшим в грабежах, в крови, в разврате диком.

Я знаю, что поэт — их судия святой,
Что муза гневная могучею рукой
Их может пригвоздить негодованьем к трону,
В ошейник превратив позорную корону,
Что огненным клеймом отметить может их
На веки вечные поэта вольный стих!
Да, муза посвятить себя должна народу!
И забываю я любовь, семью, природу,
И появляется, всесильна и грозна,
У лиры медная, гремящая струна!

Ноябрь 1831 г.

ПЕСНИ СУМЕРЕК
КАНАРИСУ

Как легко мы забыли, Канарис, тебя!

Мчится время, про новую славу трубя...

Так актер заставляет рыдать иль смеяться,

Словно бог вдохновляет простого паяца.

Так, явившись в революционные дни,

Люди подвигом дышат, — гиганты они,

Но, швыряя светильник свой, яркий иль чадный,

Все уходят во тьму чередой беспощадной.

Имена их померкнут в мельканье сует.

И пока не является сильный поэт,

Создающий вселенную словом единым,

Чтоб вернуть ореол этим славным сединам, —

Их не помнит никто, а толпа, что

вчера,

Повстречав их на площади, выла «ура»,

Если кто-нибудь те имена произносит,

«Ты о ком говоришь?» — удивленная, спросит.

Мы забыли тебя. Твоя слава прошла.

Есть у нас пошумней и крупнее дела,

Но ни песен, ни дружбы былой, ни почтенья

Для твоей затерявшейся в памяти тени.

По складам буржуа твое имя прочтет.

Твой Мемнон онемел. Солнце не рассветет.

Мы недавно кричали: «О слава! О греки!

*О Афины!» — Мы лили чернильные реки

В честь героя Канариса, в честь божества.

Опускается занавес, — ладно! Едва

Отпылало для нас твое славное дело,

Имя стерлось, другое умом завладело.

Нет ни греков-героев, ни лавров для них.

Мы нашли на востоке героев иных.
Не послужит тебе ежедневно хвалами
Стоязыких газет бестолковое пламя.
Ведь циклопу печати который уж раз
Одиссей выжигает единственный глаз.
Просыпалась печать, что ни утро, бывало,
И крушила все то, что вчера создавала,
Вновь державной десницей ковала успех,
Справедливому делу — железный доспех.
Мы забыли!

Но это тебя не коснулось.
Снова даль пред тобою, моряк, развернулась.
У тебя есть корабль и ночная звезда,
Есть и ветер, попутный и добрый всегда,
Есть надежда на случай и на приключенье
Да к далеким путям молодое влеченье,
К вечной смене причалов, событий и

мест.

Есть веселый отъезд и веселый приезд,

Чувство гордой свободы и жизни тревожной.

Там, на парусном бриге с оснасткой надежной,

Ты узнаешь излучины синих дорог.

И пускай же в какой-то негаданный срок

Океан, разгрызающий скалы и стены,

Убаюкает бриг белой кипенью пены,

И пускай ураган, накликающий тьму,

Взмахом молнийных крыльев ударит в корму!

У тебя остаются и небо и море,

Молодые орлы, что парят на просторе,

Беззакатное солнце на весь круглый год,

Беспредельные дали, родной небосвод.

Остается язык, несказанно певучий,

Ныне влившийся в хор итальянских созвучий, —

Адриатики вечной живой водоем,

Где Гомер или Данте поют о своем.

Остается сокровище также иное,

Боевой ятаган, да ружье нарезное,

Да штаны из холста, да еще тебе дан

Красный бархатный, золотом шитый кафтан.

Мчится бриг, рассекает он пенную влагу,

Гордый близостью к славному архипелагу.

Остается тебе, удивительный грек,

Разгадать за туманами мраморный брег

Иль тропинку, что жмется к прибрежным откосам,

Да крестьянку, лениво бредущую с возом,

Погоняя прутом своих кротких быков,

Словно вышла она из далеких веков,

Дочь Гомера, дитя великанов, богиня,

Что изваяна на барельефах в Эгине.

Октябрь 1832 г.

ЛУЧИ И ТЕНИ
К Л.

С тростинкой хрупкою надежды наши схожи,
Дитя мое, в руках господних наши дни,
Всей нашей жизни нить в суровой власти божьей,
Прервется нить, — и где веселия огни?
Ведь колыбель и смерти ложе, —
От века на земле сродни.

Я некогда впивал душою ослепленной
Чистейшие лучи моих грядущих дней,
Звезду на небесах, над морем Альциону
И пламенный цветок среди лесных теней.
Виденья этой грезы сонной
Исчезли из души моей.

И если близ тебя, дитя, рыдает кто-то,
Не спрашивай его, зачем он слезы льет,

—

Ведь плакать радостно, когда томит забота,

Когда несчастного жестокий рок гнетет.

Слеза всегда смывает что-то

И утешение несет.

2 июня 1839 г.

OCEANO NOX[7]

Сен-Валери-на Сомме

Вас сколько, моряки, вас сколько, капитаны,

Что плыли весело в неведомые страны,

В тех далях голубых осталось навсегда!

Исчезло сколько вас — жестокий, грустный жребий!

В бездонной глубине, при беспросвет-

[7] Примечания: 7

Vertitur interea caelum et ruit oceano nox. — [Встает] с океана ночь (*лат.*) — конец 250-го стиха 2-й песни «Энеиды» Вергилия: «Движется между тем небосвод, // С океана встает ночь».

ном небе,

Навек вас погребла незрячая вода!

Как часто путь назад не мог найти к отчизне

Весь экипаж судна! Страницы многих жизней

Шторм вырывал и их бросал по волнам вмиг!

Вовек нам не узнать судьбы их в мгле туманной.

Но каждая волна неслась с добычей бранной:

Матроса та влекла, а та — разбитый бриг.

И никому не знать, что сталось с вашим телом,

Несчастные! Оно, по сумрачным пределам

Влачася, черепом о грани камней бьет.

А сколько умерло, единой грезой живших,

Отцов и матерей, часами сторживших

На берегу возврат того, кто не придет!

Порой по вечерам ведут о вас беседы,
Присев на якорях, и юноши и деды
И ваши имена опять твердят, смешав
Со смехом, с песнями, с рассказами о шквале
И с поцелуем тех, кого не целовали, —
Тогда как спите вы в лесу подводных трав.

Мечтают: «Где они? На острове безвестном,
Быть может, царствуют, расставшись с кругом тесным
Для лучших стран?» Потом — и имена в туман
Уходят, как тела ушли на дно бесследно,
И Время стелет тень над вашей тенью бледной, —
Забвенье темное на темный океан.

Вас забывают все — с тем, чтоб не вспомнить снова:

Свой плуг есть у того, свой челн есть у другого!

И только в ночь, когда шторм правит торжество,

Порой еще твердит о вас вдова седая,

Устав вас ожидать и пепел разгребая

Пустого очага и сердца своего.

Когда же и ее закроет смерть ресницы,

Вас некому назвать! — ни камню у гробницы

На узком кладбище, пугающем мечту,

Ни иве, что листы роняет над могилой,

Ни даже песенке, наивной и унылой,

Что нищий пропоет на сгорбленном мосту!

Где все, погибшие под голос непогоды?

О, много горестных у вас рассказов, воды

(Им внемлют матери, колена преклонив!),

Их вы поете нам, взнося свой вал мятежный, —

И потому у вас все песни безнадежны,
Когда вы катите к нам вечером прилив!

Июль 1836 г.

ВОЗМЕЗДИЕ
ПЕРЕД ВОЗВРАЩЕНИЕМ ВО ФРАНЦИЮ

Сейчас, когда сам бог, быть может, беден властью,
Кто предречет,
Направит колесо к невзгоде или к счастью
Свой оборот?

И что затаено в твоей руке бесстрастной,
Незримый рок?
Позорный мрак и ночь, или звездой прекрасной
Сверкнет восток?

В туманном будущем смесились два удела —
Добро и зло.
Придет ли Аустерлиц? Империя созрела
Для Ватерло.

Я возвращусь к тебе, о мой Париж, в ограду

Священных стен.

Мой дар изгнанника, души моей лампаду,

Прими взамен.

И так как в этот час тебе нужны все руки

На всякий труд,

Пока грозит нам тигр снаружи, а гадюки

Грозят вот тут;

И так как то, к чему стремились наши деды,

Наш век попрал;

И так как смерть равна для всех, а для победы

Никто не мал;

И так как произвол встает денницей черной,

Объемля твердь,

И нам дано избрать душою непокорной

Честь или смерть;

И так как льется кровь, и так как пламя блещет,
Зовя к борьбе,
И малодушие бледнеет и трепещет, —
Спешу к тебе!

Когда насильники на нас идут походом
И давят нас,
Не власти я хочу, но быть с моим народом
В опасный час.

Когда враги пришли на нашей ниве кровной
Тебя топтать,
Я преклоняюсь ниц перед тобой, греховной,
Отчизна-мать!

Кляня их полчища с их черными орлами,
Спесь их дружин,
Хочу страдать с тобой, твоими жить скорбями,

Твой верный сын.

Благоговейно чтя твое святое горе,
Твою беду,
К твоим стопам, в слезах и с пламенем во взоре,
Я припаду.

Ты знаешь, Франция, что я всегда был верен
Твоей судьбе,
Я думал и мечтал, в изгнании затерян,
Лишь о тебе.

Пришедшему из тьмы, ты место дашь мне снова
В семье своей,
И, под зловещий смех разгула площадного
Тупых людей,

Ты мне не запретишь тебя лелеять взором,
Боготворя
Непобедимый лик отчизны, на котором

Горит заря.

В былые дни безумств, где радостно блистает
Кто сердцем пуст,
Как будто, пламенем охваченный, сгорает
Иссохший куст,

Когда, о мой Париж, хмелея легкой славой,
Шальной богач,
Ты шел и ты плясал, поверив лжи лукавой
Своих удач,

Когда в твоих стенах гремели бубны пира
И звонкий рог,
Я из тебя ушел, как некогда из Тира
Ушел пророк.

Когда Лютецию преобразил в Гоморру
Ее тиран,
Угрюмый, я бежал к пустынному простору,

На океан.

Там, скорбно слушая твой неумолчный грохот,
Твой смутный бред,
В ответ на этот блеск, и пение, и хохот
Я молвил: нет!

Но в час, когда к тебе вторгается Аттила
С своей ордой,
Когда весь мир кругом крушит слепая сила, —
Я снова твой!

О родина, когда тебя влачат во прахе,
О мать моя,
В одних цепях с тобой идти, шагая к плахе,
Хочу и я.

И вот спешу к тебе, спешу туда, где, воя,
Разит картечь,
Чтоб на твоей стене стоять в пожаре

боя
Иль мертвым лечь.

О Франция, когда надежда новой жизни
Горит во мгле,
Дозволь изгнаннику почить в своей отчизне,
В твоей земле!

Брюссель, 31 августа 1870 г.

«ПРОСТЕРТА ФРАНЦИЯ НЕМАЯ...»

Простерта Франция немая.
Тиран ступил на горло ей.
Но, вольный голос понимая,
Она трепещет тем сильней.

Изгнанник в темный час отлива
Под пляску звезд и плеск волны
Заговорил неторопливо,
И все слова его ясны.

Они полны угроз растущих,
Сверкают утренним лучом,

Как руки, вытянуты в тучах
И боевым разят мечом.

И затрепещет мрамор белый,
И горы ужас сокрушит,
И лес листвою оробелой
В ночную пору зашуршит.

Пусть медью звонкой громыхая
Вспугнут стервятников слова,
Пусть зашумит в ответ сухая
На диких кладбищах трава.

И те слова: позор насилью!
Измене мерзостной позор!
Они недаром возгласили
Для стольких душ военный сбор.

Они, как вихри грозовые,
Над человечеством парят.
И, если крепко спят живые,
Пусть мертвые заговорят!

Джерси, август 1853 г.

«С ТЕХ ПОР, КАК СПРАВЕДЛИВОСТЬ ПАЛА...»

С тех пор, как справедливость пала,
И преступленье власть забрало,
И попраны права людей,
И смелые молчат упорно,
А на столбах — указ позорный,
Бесчестье родины моей;

Республика отцовской славы,
О Пантеон золотоглавый,
Встающий в синей вышине!
С тех пор, как вор стыда не знает,
Империю провозглашает
В афишах на твоей стене;

С тех пор, как стали все бездушны
И только ползают послушно,
Забыв и совесть, и закон,
И все прекрасное на свете,
И то, что скажут наши дети,
И тех, кто пал и погребен, —

С тех пор люблю тебя, изгнанье!
Венчай мне голову, страданье!
О бедность гордая, привет!
Пусть ветер бьет в мой дом убогий
И траур сядет на пороге,
Как спутник горести и бед.

Себя несчастьем проверяю
И, улыбаясь, вас встречаю
В тени безвестности, любя,
Честь, вера, скромность обихода,
Тебя, изгнанница свобода,
И, верность ссыльная, тебя!

Люблю тебя, уединенный
Джерсейский остров, защищенный
Британским старым вольным львом,
И черных вод твоих приливы,
И пашущий морские нивы
Корабль, и след за кораблем.

Люблю смотреть, о глубь морская,
Как чайка, жемчуг отряхая,
В тебе купает край крыла,

Исчезнет под волной огромной
И вынырнет из пасти темной,
Как чистый дух из бездны зла.

Люблю твой пик остроконечный,
Где внемлю песне моря вечной
(Ее, как совесть, не унять),
И кажется, в пучине мглистой
Не волны бьют о брег скалистый,
А над убитым плачет мать.

Джерси, декабрь 1852 г.

НАРОДУ

Безмерный океан с тобою схож, народ!
И кротким может быть и грозным облик вод;
В нем есть величие покоя и движенья;
Его смиряет луч и зыблет дуновенье;
Он — то гармония, то хриплый рев и гром;
Чудовища живут в раздолье голубом;
В нем созревает смерч; в нем тайные

пучины,

Откуда и смельчак не выплыл ни единый;

На нем как щепочка любой колосс земли;

Как ты — насильников, крушит он корабли;

Как разум над тобой, над ним маяк сверкает;

Он бог весть почему — то губит, то ласкает;

Его прибой — на слух как будто стук мечей —

Зловещим грохотом звучит во тьме ночей,

И мнится, океан, — как ты, людское море, —

Сегодня зарычав, все разворотит вскоре,

Меча на берег вал, как бы металл меча;

Он Афродите гимн поет, ей вслед плеща;

Его огромный диск, его лазурь густая

Полночных звезд полны, как зеркало блистая;

В нем сила грубая, но нежность в ней сквозит;

Он, расколов утес, травинку пощадит;

Как ты, к вершинам он порою пеной прянет;

Но он, — заметь, народ! — вовеки не обманет

Того, кто с берега, задумчив и пытлив,

Глядит в него и ждет, чтоб начался прилив.

23 февраля, Джерси

ПЕСЕНКА

Его величие блистало

Пятнадцать лет;

Его победа поднимала

На свой лафет;

Сверкал в его глубоком взгляде

Рок королей.

Ты ж обезьяной скачешь сзади,

Пигмей, пигмей!

Наполеон, спокойно-бледный,
Сам в битву шел;
За ним сквозь канонаду медный
Летел орел;
И он ступил на мост Аркольский
Пятой своей.
Вот деньги — грабь их лапой скользкой,
Пигмей, пигмей!

Столицы с ним от страсти млели;
Рукой побед
Он разрывал их цитадели —
Как бы корсет.
Сдались его веселой силе
Сто крепостей!
А у тебя лишь девки были,
Пигмей, пигмей!

Он шел, таинственный прохожий,
Сквозь гул времен,
Держа и гром, и лавр, и вожжи
Земных племен.

Он пьян был небывалой славой
Под звон мечей.
Вот кровь: смочи твой рот кровавый,
Пигмей, пигмей!

Когда он пал и отдал миру
Былой покой,
Сам океан в его порфиру
Плеснул волной,
И он исчез, как дух громадный
Среди зыбей.
А ты в грязи утонешь смрадной,
Пигмей, пигмей!

Джерси, сентябрь 1853 г.

ULTIMA VERBA[8]

Убита совесть! Он, довольный черным делом,
С усмешкой торжества склонился к мертвецу.
Кощунственно глумясь над бездыхан-

[8] Примечания: 8
Последнее слово (*лат.*)

ным телом,

Он оскорбляет труп ударом по лицу.

Коснея в бездне лжи, стяжательства и блуда,

Судья ждет подкупов, священник — синекур,

И бога своего, как некогда Иуда,

В Париже в наши дни вновь продает Сибур.

Гнусавят нам попы: «Покорствуйте! На троне

Избранник господа и курии святой».

Когда они поют, меж набожных ладоней

Нетрудно разглядеть зажатый золотой.

На троне — негодяй! Пусть он помазан папой,

Он дьявольским клеймом отмечен с давних пор.

Державу он схватил одною хищной лапой,

Сжимает он в другой палаческий то-

пор.

Ничем не дорожа, попрал паяц кровавый

Долг, добродетель, честь, достоинство церквей;

От власти опьянев, он пурпур нашей славы

Постыдно запятнал блевотиной своей.

Но если мой народ в бессовестном обмане

Погрязнет, — может быть, и это впереди, —

И если, отказав в приюте, англичане

Изгнаннику шепнут: «Нам страшно, уходи!»

Когда отринут все, чтоб угодить тирану;

Когда помчит судьба меня, как лист сухой;

Когда скитаться я от двери к двери стану

С изодранной в клочки, как рубище, душой;

Когда пески пустынь и в небесах светила —

Все будет против нас, отверженных гоня;

Когда, предав, как все, трусливая могила

Откажется укрыть от недугов меня, —

Не поколеблюсь я! Я побежден не буду!

Моих не видеть слез тебе, враждебный мир.

Со мною вы всегда, со мною вы повсюду —

Отчизна, мой алтарь! Свобода, мой кумир!

Соратники мои мы цели величавой,

Республике верны, и наша крепнет связь.

Все, что теперь грязнят, — я увенчаю славой,

Все то, что ныне чтут, — я ниспровергну в грязь.

Во вретище своем, под пеплом униже-

нья,

Греметь я буду: «Нет!» — как яростный набат.

Пусть в Лувре ты теперь; но предвещаю день я,

Когда тебя сведут в тюремный каземат.

К позорному столбу вас пригвождаю ныне,

Продажные вожди обманутой толпы!

Я верен вам навек, опальные святыни,

Вы — стойкости моей гранитные столпы.

О Франция! Пока в восторге самовластья

Кривляется злодей со свитой подлецов,

Тебя мне не видать, край горести и счастья,

Гнездо моей любви и склеп моих отцов.

Не видеть берегов мне Франции любимой;

Тяжка моя печаль, но так велит мне долг.

Я на чужой земле, бездомный и гонимый,
Но мой не сломлен дух, и гнев мой не умолк.

Изгнание свое я с мужеством приемлю,
Хоть не видать ему ни края, ни конца,
И если силы зла всю завоюют землю
И закрадется страх в бесстрашные сердца,

Я буду и тогда республики солдатом!
Меж тысячи бойцов — я непоколебим;
В десятке смельчаков я стану в строй десятым;
Останется один — клянусь, я буду им!

Джерси, 14 декабря

СОЗЕРЦАНИЯ
СЛЕПОМУ ПОЭТУ

Благодарю, поэт, ты лар моих почтил!
Так к земнородному нисходит гость небесный.
И в нимбе строф твоих, как бы в кругу светил,
Стою, заворожен их музыкой чудесной.

Пой! Древний пел Гомер, и старый Мильтон пел!
Туман угасших чувств прозрачен для поэта.
Очами он ослеп, но духом он прозрел,
И тьма его полна немеркнущего света.

Париж, май 1842 г.

НАДПИСЬ
НА ЭКЗЕМПЛЯРЕ «БОЖЕСТВЕННОЙ КОМЕДИИ»

Однажды вечером, переходя дорогу,

Я встретил путника; он в консульскую тогу,

Казалось, был одет; в лучах последних дня

Он замер призраком и, бросив на меня

Блестящий взор, чья глубь, я чувствовал, бездонна,

Сказал мне: — Знаешь ли, я был во время оно

Высокой, горизонт заполнившей горой;

Затем, преодолев сей пленной жизни строй,

По лестнице существ пройдя еще ступень, я

Священным дубом стал; в час жертвоприношенья

Я шумы странные струил в немую синь;

Потом родился львом, мечтал среди пустынь,

И ночи сумрачной я слал свой рев из прерий;

Теперь — я человек; я — Данте Алигьери.

Июль 1843 г.

СТАТУЯ

Когда клонился Рим к закату своему,
Готовясь отойти в небытие, во тьму,
Вослед за царствами Востока;
Когда он цезарей устал сажать на трон,
Когда, пресыщенный, стал равнодушен он
Ко всем неистовствам порока;
Когда, как древний Тир, он стал богат и слаб
И, гордый некогда, склонился, словно раб,
Перед распутным властелином;
Когда на склоне дней стал евнухом титан,
Когда он, золотом, вином и кровью пьян,

Сменил Катона Тигеллином, —

Тогда в сердца людей вселился черный страх,

А указующий на небеса монах

В пустыню звал сестер и братий.

И шли столетия, а обреченный мир

Безрадостно справлял свой нечестивый пир

Среди стенаний и проклятий».

И Похоть, Зависть, Гнев, Гордыня, Алчность, Лень,

Чревоугодие, как траурная тень,

Окутали земные дали;

Семь черных демонов во тьме глухой ночи

Парили над землей, и в тучах их мечи

Подобно молниям сверкали.

Один лишь Ювенал, суров, неумолим,

Восстал как судия и на развратный Рим

Обрушил свой глагол железный.

Вот статуя его. Взглянул он на Содом

—

И в ужасе застыл, встав соляным столпом

Над разверзающейся бездной.

Февраль 1843 г.

«СКУПАЯ, ЧАХЛАЯ, ИССОХШАЯ ЗЕМЛЯ...»

Скупая, чахлая, иссохшая земля,

Где люди трудятся, сердец не веселя,

Чтоб получить в обмен на кротость и упорство

Горсть зерен иль муки для их лепешки черствой;

Навеки заперты среди бесплодных нив

Большие города, что, руки заломив,

Ждут милосердия и мира, жаждут веры;

Там нищий и богач надменны выше меры;

Там ненависть в сердцах, там смерть, слепая тварь,

Казнит невинного и лучшего, как встарь;

А там снега вершин за маревом туманным,

Где стыд и правота живут в ладу с карманом;

Любая из страстей рождает столько бед,

И столько волчьих стай в чащобе жрет обед;

Там — засуха и зной, тут — северная вьюга;

Там океаны рвут добычу друг у друга,

Полны гудящих мачт, обрушенных во тьму;

Материки дрожат, тревожатся в дыму,

И с чадным факелом рычит война повсюду,

И, села превратив в пылающую груду,

Народы к гибели стремятся чередой...

И это на небе становится звездой!

Октябрь 1840 г.

ПЕСНИ УЛИЦ И ЛЕСОВ
«КОЛОКОЛЕН ЛИ ПЕРЕПЕВЫ...»

Колоколен ли перепевы,
От набата ль гудит земля...
Нет мне дела до королевы,
Нет мне дела до короля.

Позабыл я, покаюсь ныне,
Горделив ли сеньора вид,
И кюре наш — он по-латыни
Иль по-гречески говорит.

Слез иль смеха пора настала,
Или гнездам пришел сезон,
Только вот что верно, пожалуй, —
Только верно, что я влюблен.

Ах, о чем я, Жанна, мечтаю?
О прелестной ножке твоей,
Что, как птичка, легко мелькая,
Перепрыгнуть спешит ручей.

Ах, о чем я вздыхаю, Жанна?

Да о том, что, как приворот,
Незаметная нить неустанно
К вам в усадьбу меня влечет.

Что пугает меня ужасно?
То, что в сердце бедном моем
Создаешь ты и полдень ясный,
И ненастную ночь с дождем.

И еще мне забавно стало —
Что на юбке пестрой твоей
Незаметный цветочек малый
Мне небесных светил милей.

19 января 1859 г.

СЕЛЬСКИЙ ПРАЗДНИК ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

Бал. Сельский бал. Войдем в палатку,
Усмешку прочь стерев с лица;
А голос музыки украдкой
Уже волнует нам сердца.

О ужас! День еще в разгаре,

А здесь — галоп во весь карьер.
С Мадлон — отнюдь не робкой — в паре
Отнюдь не сонный пляшет Пьер.

Глядим, как жарятся каштаны,
Как пиво пенное течет,
Как пирожки горой румяной
Веселый соблазняют рот.

Приходит вечер. Прочь заботы!
Обед на травке полевой...
И каждый нежен отчего-то,
И каждый — молодец лихой!

Тенист зеленый свод дубравы,
Белеют скатерти под ним.
Честны невинные забавы,
А небосклон необозрим!

29 июля 1859 г.

ГРОЗНЫЙ ГОД
ПОСЛАНИЕ ГРАНТА

Народ Америки, свободный властелин,

Твои вершины — Пенн, и Фультон, и Франклин.

Республиканских зорь высокое сиянье,

Ты именем своим прикроешь злодеянье?

Чтоб натравить Берлин солдатский на Париж,

Ты славишь ясный день, но тьме благотворишь

И хочешь превратить свободу в ренегата.

Вот, значит, для чего на палубе фрегата

Когда-то протянул вам руку Лафайет!

Распространяя ночь, вы тушите рассвет.

Как! Громко возглашать, что выше правды — сила?

Что звон тупых мечей она благословила,

И был ошибкою труд двадцати веков,

И вся история — работа червяков,

И молодой народ стал себялюбцем лютым.

Нет бесконечности, нет связи с абсолютом.

Кто палку взял, тот прав, он вам необходим.

Свобода, право, долг рассеялись, как дым.

И будущего нет, и обезглавлен разум,

И мудрость не зовет своим благим приказом.

Книг не писал Вольтер, законов не дал бог —

Раз прусский офицер кладет на стол сапог!

А ты, чья виселица высится во мраке,

У грани двух миров, в их разъяренной драке,

Джон Браун, ты, чья кровь уроком нам

была,

Ты, гневный мученик, ты, страстотерпец зла,

Восстань, задушенный, из темноты могильной

И отхлещи в лицо своей веревкой мыльной

Того, по чьей вине историк скажет так:

— Свобода Франции с отрядом братских шпаг

На помощь к вам пришла в далекую годину.

Затем Америка ей нож воткнула в спину...

Пускай любой дикарь пустынных берегов,

Гурон, скальпирующий собственных врагов,

Кровавого вождя германцев почитает.

Что ж, краснокожий прав, он сам о том мечтает

И на свирепый бой глядит во все глаза:

Деревьям нравятся дремучие леса.

Но если человек был воплощеньем права

И героическая колумбийцев слава

Не меркла в памяти Европы целый век;

И если ползает свободный человек

Пред грязным призраком минувшего на брюхе,

И нагло раздает парижской славе плюхи,

И, императору открыв свою страну,

Он наводнил во всю длину и ширину

Ее тирадами, предательством и ложью,

И изнасиловал ее на гнусном ложе,

И видит целый мир, как в беге колесниц

Пред кесарем его страна простерлась ниц, —

Пускай же сдвинутся великие надгробья,

И кости затрещат во тьме, в земной утробе,

И павшие борцы подавят тяжкий стон.

Костюшко задрожит! Спартак забудет сон!

Воспрянет Джефферсон! И Мэдисон восстанет!

И Джексон руки в ночь ужасную протянет!

И закричит Адамс! И, разучившись спать,

Линкольн почувствует, что он убит опять!

Так возмутись, народ! Восстань грозой мятежной!

Ты знаешь, как тебя люблю я братски нежно,

Но об Америке сегодня слезы лью,

О ней, теряющей былую честь свою,

Чье знамя звездное сияло вашим дедам.

Гнал Вашингтон коня к блистательным победам

И пригоршнями искр осыпал синий шелк

В свидетельство того, что выполнил свой долг.

Взошел его посев, расцвел он нивой звезд-

ной.

Я плачу. Кончено. Об этом думать поздно.

Загублен звездный стяг и омрачен навек.

Так будь же проклят тот несчастный человек,

Который замарал ручищею кровавой

Сиянье звездное старинной вашей славы!

ГОРЕ

Шарль, мой любимый сын! Тебя со мною нет,

Ничто не вечно. Все изменит.

Ты расплываешься, и незакатный свет

Всю землю сумраком оденет.

Мой вечер наступил в час утра твоего.

О, как любили мы друг друга!

Да, человек творит и верит в торжество

Непрочно сделанного круга.

Да, человек живет, не мешкает в пути.
И вот у спуска рокового
Внезапно чувствует, как холодна в горсти
Щепотка пепла гробового.

Я был изгнанником. Я двадцать лет блуждал
В чужих морях, с разбитой жизнью,
Прощенья не просил и милости не ждал:
Бог отнял у меня отчизну.

И вот последнее — вы двое, сын и дочь, —
Одни остались мне сегодня.
Все дальше я иду, все безнадежней ночь.
Бог у меня любимых отнял.

Со мною рядом шли вы оба в трудный час
По всем дорогам бесприютным;
Мать пред кончиною благословила вас,
Я воспитал в изгнанье трудном.

Подобно Иову, я, наконец, отверг

Неравный спор и бесполезный.
И то, что принял я за восхожденье вверх,
На деле оказалось бездной.

Осталась истина. Пускай она слепа.
Я и слепую принимаю.
Осталась горькая, но гордая тропа —
По крайней мере хоть прямая.

3 июня 1871 г.

ПОХОРОНЫ

*

Рокочет барабан, склоняются знамена,
И от Бастилии до сумрачного склона
Того холма, где спят прошедшие века
Под кипарисами, шумящими слегка,
Стоит, в печальное раздумье погруженный,
Двумя шпалерами народ вооруженный.

Меж ними движутся отец и мертвый

сын.

Был смел, прекрасен, бодр еще вчера один;

Другой — старик; ему стесняет грудь рыданье;

И легионы им салютуют в молчанье.

Как в нежности своей величествен народ!

О, город-солнце! Пусть захватчик у ворот,

Пусть кровь твоя сейчас течет ручьем багряным,

Ты вновь, как командор, придешь на пир к тиранам,

И оргию царей смутит твой грозный лик.

О мой Париж, вдвойне ты кажешься велик,

Когда печаль простых людей тобою чтима.

Как радостно узнать, что сердце есть у Рима,

Что в Спарте есть душа и что над всей

землей

Париж возвысился своею добротой!

Герой и праведник, народ не бранной славой —

Любовью победил.

О, город величавый,

Заколебалось все в тот день. Страна, дрожа,

Внимала жадному рычанью мятежа.

Разверзлась пред тобой зловещая могила,

Что не один народ великий поглотила,

И восхищался он, чей сын лежал в гробу,

Увидя, что опять готов ты на борьбу,

Что, обездоленный, ты счастье дал вселенной.

Старик, он был отец и сын одновременно:

Он городу был сын, а мертвецу — отец.

Пусть юный, доблестный и пламенный боец,

Стоящий в этот миг у гробового входа,

Всегда в себе несет бессмертный дух народа!

Его ты дал ему, народ, в прощальный час.

Пускай душа борца не позабудет нас

И, бороздя эфир свободными крылами,

Священную войну продолжит вместе с нами.

Кто на земле был прав, тот прав и в небесах.

Умершие, как мы, участвуют в боях

И мечут в мир свои невидимые стрелы

То ради доброго, то ради злого дела.

Мертвец — всегда меж нас. Усопший и живой

Равно идут путем, начертанным судьбой.

Могила — не конец, а только продолженье;

Смерть — не падение, а взлет и возвышенье.

Мы поднимаемся, как птица к небесам,

Туда, где новый долг приуготован нам,

Где польза и добро сольют свои усилья;

Утрачивая тень, мы обретаем крылья!

О сын мой, Франции отдай себя сполна

В пучинах той любви, что «богом» названа!

Не засыпает дух в конце пути земного,

Свой труд в иных мирах он продолжает снова,

Но делает его прекрасней во сто крат.

Мы только ставим цель, а небеса творят.

По смерти станем мы сильнее, больше, шире:

Атлеты на земле — архангелы в эфире,

Живя, мы стеснены в стенах земной тюрьмы,

Но в бесконечности растем свободно мы.

Освободив себя от плотского обличья,

Душа является во всем своем величье.

Иди, мой сын! И тьму, как факел, освети!

В могилу без границ бестрепетно взле-

ти!

Будь Франции слугой, затем что пред тобою

Теперь раздернут мрак, нависший над страною,

Что истина идет за вечностью вослед,

Что там, где ночь для нас, тебе сияет свет.

Париж, 18 марта

«ЗА БАРРИКАДАМИ, НА УЛИЦЕ ПУСТОЙ...»

За баррикадами, на улице пустой,

Омытой кровью жертв, и грешной и святой,

Был схвачен мальчуган одиннадцатилетний.

«Ты тоже коммунар?» — «Да, сударь, не последний!» —

«Что ж! — капитан решил — Конец для всех — расстрел.

Жди, очередь дойдет!» И мальчуган смотрел

На вспышки выстрелов, на смерть борцов и братьев.

Внезапно он сказал, отваги не утратив:

«Позвольте матери часы мне отнести!» —

«Сбежишь?» — «Нет, возвращусь!» — «Ага, как ни верти,

Ты струсил, сорванец! Где дом твой?» — «У фонтана».

И возвратиться он поклялся капитану.

«Ну живо, черт с тобой! Уловка не тонка!»

Расхохотался взвод над бегством паренька.

С хрипеньем гибнущих смешался смех победный.

Но смех умолк, когда внезапно мальчик бледный

Предстал им, гордости суровой не тая,

Сам подошел к стене и крикнул: «Вот и я!»

И устыдилась смерть, и был отпущен

пленный.

Дитя! Пусть ураган, бушуя во вселенной,

Смешал добро со злом, с героем подлеца, —

Что двинуло тебя сражаться до конца?

Невинная душа была душой прекрасной.

Два шага сделал ты над бездною ужасной:

Шаг к матери один и на расстрел — второй.

Был взрослый посрамлен, а мальчик был герой.

К ответственности звать тебя никто не вправе.

Но утренним лучам, ребяческой забаве,

Всей жизни будущей, свободе и весне —

Ты предпочел прийти к друзьям и встать к стене.

И слава вечная тебя поцеловала.

В античной Греции поклонники, бывало,

На меди резали героев имена,

И прославляли их земные племена.

Парижский сорванец, и ты из той породы!

И там, где синие под солнцем блещут воды,

Ты мог бы отдохнуть у каменных вершин.

И дева юная, свой опустив кувшин

И мощных буйволов забыв у водопоя,

Смущенно издали следила б за тобою.

Виандeн, 27 июня

ИСКУССТВО БЫТЬ ДЕДОМ
ОТКРЫТЫЕ ОКНА

Утром — спросонья

Я слышу голоса. Сквозь веки брезжит свет.

Звон колокола. Крик купающихся: — Нет,

Сюда нельзя! Назад! — плеск, хохот молодежи.

Щебечет птичка, с ней щебечет Жанна тоже.

Мой Жорж ее к себе зовет. Пропел петух.

Стук, грохот мостовой. Жужжанье летних мух.

Певучий звон косы, срезавшей дерн росистый.

Вдали военный марш. Смех чей-то серебристый.

На крыше — маляра тяжелый, грузный шаг.

Шум гавани. Свистки машин: то вер-

ный знак,

Что утро началось. На набережной говор.

Над рынком гул стоит. С торговкой спорит повар.

В далеких кузницах гром молотка растет, —

И, день приветствуя, мой реполов поет,

И пароход пыхтит, волнам бурливым вторя.

В окне звенит комар. В лицо мне дышит море.

ЛЕГЕНДА ВЕКОВ
ПЕСНЯ КОРАБЕЛЬНЫХ МАСТЕРОВ

На боевой оснастке флота
Сверкает наша позолота.
Над прозеленью волн крутых
Разгуливает ветер шалый.
Природа с тенью свет смешала
В несчетных бликах золотых.

Шквал бешено и прихотливо
Ломает линию прилива.
Случайность на море царит.
Куда ни глянь — игра повсюду.
Подобен призрачному чуду
Наш раззолоченный бушприт.

Волна грозит ему изменой,
Но блещет золото надменно —
Изделье нашей мастерской.
Оно само мишень для молний,
Но взор вперяет, гнева полный,
В седой туман, в простор морской.

Король взимает дань двойную.
Султан, несчетных жен ревнуя,
Добычи новой не лишен, —
Сегодня на галдящем рынке
Рабынь скупил он по старинке,
Всех без разбора, нагишом.

Белы или чернее сажи,
Красавицы на распродаже.
Все, из каких угодно стран,
Товаром станут окаянным.
Так входят в сделку с океаном
Работорговец и тиран.

У деспота и урагана,
У молнии и ятагана
Хозяйство исподволь растет.
Здесь отдыха ни у кого нет:
Шторм непрестанно волны гонит,
Царь подданных своих гнетет.

А мы любым владыкам служим,
Поем, трудясь над их оружьем.
Эмир, в глазах твоих свинец, —

Меж тем как в песне нашей честной,
Как в гнездышке, в листве древесной,
Трепещет маленький птенец.

Природа-мать спокойно дышит
И колыбель свою колышет
И пестует чужих детей.
Пусть наша песня дальше льется,
А в ней невольно отдается
И гул громов, и стон смертей.

Мы лавры с пальмами подарим
Владычественным государям, —
Но им не задержать зато
Ни звездного круговращенья,
Ни штормового возмущенья, —
Там не подвластно им ничто.

Богат цветеньем знойный полдень,
Он женской прелестью наполнен, —
Здесь вечный праздник, вечный смех,
Там от борзых бегут олени...
Но мир вблизи и в отдаленье
Ханжей отпугивает всех.

И если надобно султанам
Жить в опьяненье непрестанном,
Пускай выходят из игры
В разгар грехов, в цвету желаний.
Но есть в лесу у каждой лани
Темно-зеленых мхов ковры.

Любой подъем с пареньем связан.
Любой огонь затлеть обязан.
Могила ищет старика.
Над пляской волн, над пеньем бури,
Над зыбким зеркалом лазури
Ползут часы, летят века.

Красавицы ныряют в волны.
Хмельным броженьем, жженьем полный,
Мир очарован сам собой.
Сверкает море в лунных бликах.
Так отражен на смертных ликах
Небесный купол голубой.

На золотых бортах галерных
Ты шесть десятков весел мерных

Движенью вечному обрек.
Они легко взлетают к высям.
Но каждый взмах весла зависим
От каторжников четырех.

РОЗА ИНФАНТЫ

Она еще дитя. Ее ведет дуэнья.
Сжав розу в пальчиках, глядит без удивленья,
Глядит бессмысленно. На что?.. Вот водоем,
Дробящий в зеркале таинственном своем
Седые пинии. Вот лебеди белеют.
Вот волны зыбкие в полудремоте млеют.
Вот светом залитой большой цветущий сад.
И нежный ангелок бросает взгляд назад.
Там высятся дворцы — седые исполины.
Там синева озер, блестящие павлины

И лани, пьющие в озерах. И дитя
Любуется на все, с дуэньей проходя.
При виде грации, трепещущей несмело,
Как будто и трава нежней зазеленела
И превращается в чистейший изумруд,
Дельфины брызгами сапфирными плю-
ют.
А девочка с цветка отвесть не может
взора.
На юбке кружевной тончайшего узора
Меж складок прячется расшитый ара-
беск,
И сыплет золото свой флорентийский
блеск.
А роза лепестки меж тем раскрыла
сразу.
Раздвинутый бутон — как маленькая
ваза,
И ваза хрупкую ручонку тяготит.
И, губы вытянув, ребенок вновь глядит
И морщится слегка, вдыхая благово-
нье.
И роза яркая в пурпуровой короне

Закрыла розовое личико собой.

И роза и дитя — как в дымке голубой.

И глаз колеблется, не видит грани зыбкой

Меж розовым цветком и розовой улыбкой.

И синие глаза ребенка все синей.

Вся красота весны, вся прелесть мира в ней,

В больших ее глазах и в имени Марии.

Смотри на девочку и сердце подари ей!

Но пятилетняя, бросая взгляд вокруг,

Свое владычество почувствовала вдруг.

Струится светотень, лазурь сверкает ярко.

Закат, пылающий великолепной аркой,

Склоняет перед ней багряные лучи.

У ног ее журчат незримые ключи.

И в средоточии всей видимой вселенной

Она ведет себя и чванно и надменно.

Любое из существ пред нею спину гнет.

Есть у нее Брабант. Но скоро день придет,

Когда вся Фландрия к ногам инфанты ляжет,

Когда Сардинии она молчать прикажет.

И слабое дитя, гуляя по земле,

Тень власти будущей проносит на челе.

И каждый шаг ее ведет к ступеням трона.

В руках ее цветок, в мечтах ее корона.

И выражает взгляд младенца: «Все — мое!»

И каждый в ужасе невольном от нее.

И если кто-нибудь взгляд на дитя уронит,

Чтобы ее спасти, хотя бы пальцем тронет, —

Рта не раскроет он и шагу не шагнет,

Как тотчас пред собой увидит эшафот.

А у нее сейчас есть лишь одна забота —

Держать в руке цветок, дойти до поворота

Аллеи стриженой и повернуть назад.

Вечерним золотом горит роскошный сад,

И в гнездах на ветвях стихает щебетанье.

Богиням мраморным как будто грустно втайне,

Как будто боязно, что ночь уже близка.

Ни звука резкого вокруг, ни огонька.

И вечер близится, скрывая мглой растущей

И пташку на ветвях, и солнышко за тучей.

Смеется девочка и смотрит на цветок...

А между тем угрюм и набожен чертог.

Там каждый шпиль похож на пастырскую митру,

Там, за цветным стеклом, невидимый и хитрый,

Какой-то призрак есть. Он бродит по дворцу,

И тень зловещая змеится по лицу.

Порою целый день, безмолвный и недвижный,

Стоит он у окна в тревоге непостижной.

Он в черное одет. Его землистый лик

Жесток и чопорен. Он страшен и велик.

Прижавшись лбом к стеклу, о чем-то он мечтает,

И тень его в лучах заката вырастает,

И шаг его похож на колокольный звон.

Он мог бы смертью быть, не будь монархом он.

Вот он бредет, и вся империя трепещет.

И если б видел ты, как взор усталый блещет,

Когда он бодрствует, прижав плечо к стене,

Ты смог бы разглядеть в глазах, на самом дне,

Не милое дитя, не парк в зеркальных водах,

Не солнца низкого передвечерний от-

дых,

Не птиц, порхающих среди густых ветвей, —

Нет, в мертвенных глазах из-под густых бровей,

В их мрачной скрытности, в их черством честолюбье,

На самом дне зрачков, как в океанской глуби,

Ты мог бы разгадать, чем этот призрак полн:

Он видит корабли среди взметенных волн,

Лохмотья пенных брызг, и в полуночи звездной

Он видит паруса, подобно туче грозной.

Там, за туманами, есть остров меловой,

Услышавший раскат грозы над головой.

Встают пред королем все новые виденья.

Вся суша, все моря, весь мир — его владенья.

И только власть и смерть увидев пред собой,

Непобедимую армаду шлет он в бой.

И вот плывет она, плывет по глади пенной,

И завтра вызовет смятенье во вселенной.

Король следит за ней с недобрым торжеством,

Сосредоточенный в решенье роковом.

Король Филипп Второй воистину был страшен.

Его Эскуриал в ограде острых башен

Казался чудищем для всех племен и стран.

Не знала Библия, не выдумал Коран

Такого образа для воплощенья злобы.

Служил подножьем мир лишь для его особы.

Он жил невидимый, и странные лучи

Немого ужаса распространял в ночи.

Дрожали многие при виде слуг дворцовых,

Настолько самый звук шагов его свинцовых

В смятенье подданных несчастных приводил.

В соседстве с божеством и сонмами светил

Он нависал своей уродливой державой

Над человечеством, как винт давильни ржавой.

Сжав Индию в руке, Америку держа,

Владея Африкой, Европу сторожа,

Одну лишь Англию он изучал с опаской.

Но он молчал о том. Он не дружил с оглаской.

Он воздвигал свой трон из козней и засад.

Его сообщником был полуночный ад,

И мрак служил конем для всадника ночного,

Он вечно в трауре: у божества земного

Пожизненная скорбь — пожизненный удел.

Сфинкс молчаливых уст раздвинуть

не хотел

Для всемогущего бесцельно красноречье,

Улыбка не нужна. От смеха он далече.

Железные уста весельем не кривят,

Зарею утренней не освещают ад.

И если он порой из столбняка выходит,

То рядом с палачом по подземельям бродит.

Вот отблеском костров безумный взгляд сверкнул, —

Он сам их разложил и сам же их раздул.

Он страшен для людей, для мысли и для права.

Святоша и слуга святейшего конклава,

Он дьявол, властвующий именем Христа.

Его упорная унылая мечта

В низинах ползала, как скользкая гадюка.

В Эскуриале гнет, в Аранхуэсе скука,

Безлюдье в Бургосе. Где ни найдет он

кров,

Там места нет шутам, нет праздничных пиров, —

Измены вместо игр, костры взамен веселья,

И замыслы его полночные висели,

Висела мысль его, как саван гробовой,

Над каждой молодой и дерзкой головой.

Когда молился он, ворчали громы глухо.

Когда он побеждал, везде росла разруха.

Когда он раздвигал туман бессонных грез,

«Мы задыхаемся», — из края в край неслось,

И цепенело все, и пряталось глубоко

От жутких этих глаз, сверлящих издалека.

Карл Пятый коршун был, Филипп Второй — сова.

В обычном трауре, в минуты торжества

Он высится, как страж неведомой судьбины,

Недвижный и сухой. Очей его глубины

Зияют отсветом пещерной пустоты.

Легонько дрогнули костлявые персты,

Чтоб мраку дать приказ и сделать росчерк зыбкий.

Но что за чудеса! Подобие улыбки

Непроницаемой уста кривит ему.

Он видит сквозь туман, сквозь тучи и сквозь тьму

Свой флот, отстроенный и мощно оснащенный,

Заветную мечту он видит воплощенной —

И воспарил над ней высоко в небеса.

Послушен океан. Надуты паруса.

Непобедимая снаряжена армада

И держит курс вперед. И все идет, как надо.

Порядок шахматный ровняют корабли.

Лес вознесенных мачт, прочерченных

вдали,

Покрыл морскую ширь решеткой, как на плане.

Свирепые валы смиряются заранее.

К причалу корабли течением влечет.

Куда ни глянь — везде им помощь и почет.

Все глаже гладь воды, все тише плеск прибоя,

И море пенится, жемчужно-голубое.

Галеры на подбор. На скамьи для гребцов

И Эско и Адур прислали храбрецов.

Сто рослых штурманов, два зорких полководца.

Германия прислать орудия клянется.

Там сотня бригантин. Сто галиотов тут.

Неаполь, Кадис, Лисабон приказа ждут.

Филипп склоняется. Что значит расстоянье!

Не только видит он, но слышит в океане.

Вот, ринувшись к бортам, завыли в рупора.

Сигнальные флажки взвиваются с утра.

Вот адмирал, склонясь к плечу пажа, смеется.

Дробь барабанная. Свистки. И раздается

Сигнал: «На абордаж!» По вражеским бортам

Залп! Вопли раненых. И снова залп! А там —

Что это? Крылья птиц иль паруса белеют?

Иль башни рушатся и в дымных тучах тлеют?

Крепчает дикий шторм. В разгаре грозный бой.

Все движется пред ним на сцене голубой.

Страшна улыбка уст его землисто-серых.

Сто тысяч храбрых шпаг на ста его галерах.

Вампир оскалился. Он голод утолил,

Позором Англии себя развеселил.

Кто выручит ее? Мир порохом наполнив,

Победу празднуя, он машет связкой молний.

Кто вырвет молнии из этой пятерни?

Он выше Цезаря. Куда там ни взгляни,

Все ждет его суда, все ждет его удара —

От Ганга берегов до башен Гибралтара.

Он скажет: «Я хочу!» — и так тому и быть.

Он за волосы взял победу, чтоб добыть

Ширь океанскую без края, без преграды

Для устрашающей, для праведной армады.

И распахнулся мир! И развернулся путь!

Достаточно ему мизинцем шевельнуть,

Чтоб дальше ринулись плавучие драконы.

Да, он есть властелин единственный, исконный!

Пусть прозвучат ему стоустые хвалы!

Султан Бей-Шифразил, преемник Абдуллы,

Построивший мечеть священную в Каире,

На камне вырезал: «Аллах царит в эфире, —

Я правлю на земле». Для всех веков и стран

Лгут одинаково насильник и тиран.

То, что сказал султан, король подумал втайне.

А между тем бассейн еще хранит блистанье.

Инфанта-девочка целует свой цветок,

Любуется, смеясь, на каждый лепесток.

Но легкий ветерок, чуть слышный, незаметный,

Подул негаданно, запел в листве несметной,

Он воду зарябил, и шевелит тростник,

И легким трепетом в огромный парк проник,

И дерево встряхнул, и, словно ненароком,

Коснулся девочки крылом своим широким,

Дохнул на личико, еще дохнул, — и вот

Шесть алых лепестков плывут по глади вод...

Остался девочке лишь стебель острых терний.

И нагибается она к воде вечерней.

Ей страшно. Как понять, куда цветок исчез?

Так смотрим мы порой на темный свод небес.

Оцепенелые, ждем приближенья бури...

Бассейн волнуется. Он полон был лазури,

Сверкал, как золото, — и, сразу почернев,

Кипит и пенится. В нем пробудился

гнев!

И роза бедная рассыпалась и тонет.

Намокли лепестки. Их ветер дальше гонит,

И вертит медленно, и тянет их на дно.

Их участь решена. Мгновение одно —

И вот пришел конец корабликам несчастным.

Дуэнья хмурится и с видом безучастным

Ребенку говорит: «Власть ваша велика.

Все вам принадлежит — все, кроме ветерка».

НОВЫЕ ДАЛИ

*

Гомер поэтом был. И в эти времена

Всем миром правила владычица-война.

Уверен, в бой стремясь, был каждый юный воин,

Что смерти доблестной и славной он достоин.

Что боги лучшего тогда могли послать,

Чем саван, чтобы Рим в сражениях спасать,

Иль гроб прославленный у врат Лакедемона?

На подвиг отрок шел за отчие законы,

Спеша опередить других идущих в бой,

Им угрожавший всем кончиной роковой.

Но смерть со славою, как дивный дар, манила,

Улисс угадывал за прялкою Ахилла,

Тот платье девичье, рыча, с себя срывал,

И восклицали все: «Пред нами вождь предстал!»

Ахилла грозный лик средь рокового боя

Стал маской царственной для каждого героя.

Был смертоносный меч, как друг, мужчине мил,

И коршун яростный над музою кружил,

В сражении за ней он следовал повсюду,

И пела муза та лишь тел безгласных груду.

Тигрица-божество, ты, воплощенье зла,

Ты черной тучею над Грецией плыла;

В глухом отчаянье ты к небесам взывала,

Твердя: «Убей, убей, умри, убей — все мало!»

И конь чудовищный ярился под тобой.

По ветру волосы — ты врезывалась в бой

Героев, и богов могучих, и титанов.

Ты зажигала ад в рядах враждебных станов,

Герою меч дала, сумела научить,

Как Гектора вкруг стен безжалостно влачить.

Меж тем как смертное копье еще свистело,

И кровь бойца лилась, и остывало тело,

И череп урною могильною зиял,

И дротик плащ ночной богини разрывал,

И черная змея на грудь ее всползала,

И битва на Олимп в бессмертный сонм вступала, —

Был голос музы той неумолим и строг,

И обагряла кровь у губ прекрасных рог.

Палатки, башни, дым, изрубленные латы,

И стоны раненых, и чей-то шлем пернатый,

И вихорь колесниц, и труб военных вой —

Все было в стройный гимн превращено тобой.

А ныне муза — мир... И стан ее воздушный

Объятьем не теснит, сверкая, панцирь душный.

Поэт кричит войне: «Умри ты, злая тень!»

И манит за собой людей в цветущий день.

И из его стихов, везде звучащих звонко,

Блестя, слеза падет на розу, на ребенка;

Из окрыленных строф звезд возникает рой,

И почки на ветвях уже шумят листвой,

И все его мечты — как свет зари прекрасной;

Поют его уста и ласково и ясно.

Напрасно ты грозишь зловещей похвальбой,

Ты, злое прошлое. Покончено с тобой!

Уже в могиле ты. Известно людям стало:

Те козни мерзкие, что ты во мгле сплетала,

Истлели; и войны мы больше не хотим;

И братьям помогать мы примемся своим,

Чтоб подлость искупить, содеянную нами.

Свою судьбу творим своими же руками.

И вот, изгнанник, я без устали тружусь,

Чтоб человек сказал: «Я больше не боюсь.

Надежды полон я, не помню мрачной бури.

Из сердца вынут страх, и тонет взор в лазури».

10 июня 1850 — 11 февраля 1877 г.

ВСЕ СТРУНЫ ЛИРЫ
«ПЯТНАДЦАТЬ СОТЕН ЛЕТ ВО МРАКЕ ЖИЛ НАРОД...»

Пятнадцать сотен лет во мраке жил народ,
И старый мир, над ним свой утверждая гнет,
Стоял средневековой башней.
Но возмущения поднялся грозный вал,
Железный сжав кулак, народ-титан восстал,
Удар — и рухнул мир вчерашний!

И Революция в крестьянских башмаках,
Ступая тяжело, с дубиною в руках,
Пришла, раздвинув строй столетий,
Сияя торжеством, от ран кровоточа...
Народ стряхнул ярмо с могучего плеча, —
И грянул Девяносто Третий!

«СЛОВЕЧКО МОДНОЕ СОДЕРЖИТ ВАШ ЖАРГОН...»

Словечко модное содержит ваш жаргон;

Вы оглашаете им Ганг и Орегон,

Оно звучит везде — от Нила до Тибета:

Цивилизация... Что значит слово это?

Прислушайтесь: о том расскажет вам весь мир.

Взгляните на Капштадт, Мельбурн, Бомбей, Каир,

На Новый Орлеан. Весь свет «цивилизуя»,

Приносите ему вы лихорадку злую.

Спугнув с лесных озер задумчивых дриад,

Природы девственной вы топчете наряд;

Несчастных дикарей из хижин выгоняя,

Преследуете вы, как будто гончих стая,

Детей, что влюблены в прекрасный мир в цвету;

Всю первозданную земную красоту

Хотите истребить, чтоб завладел пустыней

Ущербный человек с безмерною гордыней.

Он хуже дикаря: циничен, жаден, зол;

Иною наготой он безобразно гол;

Как бога, доллар чтит; не молнии и грому,

Не солнцу служит он, но слитку золотому.

Свободным мнит себя — и продает рабов:

Свобода требует невольничьих торгов!

Вы хвалитесь, творя расправу с дикарями:

«Сметем мы шалаши, заменим их дворцами.

Мы человечеству несем с собою свет!

Вот наши города — чего в них только нет:

Отели, поезда, театры, парки, доки...

Так что же из того, что мы порой жестоки?»

Кричите вы: «Прогресс! Кто это создал? Мы!»

И, осквернив леса, священные холмы,

Вы золото сыскать в земном стремитесь лоне,

Спускаете собак за неграми в погоне.

Здесь львом был человек — червем стал ныне он.

А древний томагавк револьвером сменен.

ПОСЛЕДНИЙ СНОП
КУЗНЕЦЫ

Взгляни, вон кузница, и там — два силача
В багровых отсветах пылающего горна.
Как искры сыплются! Не плющат ли сплеча
Два демона звезду на наковальне черной?

Над чем же трудятся два мрачных кузнеца?
То гордый ли клинок иль скромный лемех плуга?
Прислушивается к их молоту округа:
Он пробуждает дух и веселит сердца.

Куют ли меч они или куют орало,
Железо мирное иль боевую сталь, —
Они работают! Над ними солнце встало,

Раскинулась вокруг сияющая даль.

31 октября 1840 г. Дорога из д'Эперне в Шато-Тьери

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ПРИГОВОРЕННОГО К СМЕРТИ

Первому изданию этого произведения, вышедшему без имени автора, были предпосланы только нижеследующие строки:

«Есть всего две возможности истолковать появление этой книги: либо в самом деле существовала пачка пожелтевших листков бумаги разного формата, на которых были записаны последние мысли несчастного страдальца; либо нашелся такой человек, мечтатель, изучающий жизнь в интересах искусства, философ, поэт, словом, человек, который увлекся этой мыслью, или, вернее, эта мысль, однажды придя ему в голову, настолько, увлекла его, что он мог избавиться от нее, лишь изложив ее в книге.

Пусть читатель остановится на том из двух объяснений, которое ему больше по вкусу».

Как явствует из этих строк, в момент выхода книги автор не считал нужным до конца высказать свою мысль. Он предпочел выждать, чтобы ее поняли, и выяснить, поймут ли ее. Ее поняли. И

теперь автор считает своевременным, раскрыть ту политическую и социальную идею, которую он хотел довести до сознания общества а доступной и невинной форме литературного произведения. Итак, он заявляет, или, вернее, открыто признает, что *Последний день приговоренного к смерти* — это прямое или косвенное, считайте, как хотите, ходатайство об отмене смертной казни. Цель его — и он хотел бы, чтобы потомство, если только оно остановит свое внимание на такой малости, так и восприняло это произведение, — цель его не защита какого-то одного определенного преступника, что не так уж сложно осуществить от случая к случаю; нет, это общее ходатайство о всех осужденных настоящих и будущих, на все времена; это коренной вопрос человеческого права, поднятый и отстаиваемый во весь голос перед обществом, как перед высшим кассационным судом; это грозная преграда, abhorrescere a sanguine[9], воздвигнутая навеки перед всеми судебными процессами; это страшная, роковая проблема, которая скрыта в недрах каждого смертного приговора, под тройным слоем трескучего, кровожадного красноречия королевских

[9] Примечания: 9
Ужас перед кровью (*лат.*).

прислужников; это, повторяю, проблема жизни и смерти, открытая, обнаженная, очищенная от мишуры звонких прокурорских фраз, вынесенная на яркий свет, помещенная там, где ее следует рассматривать, в ее подлинной жуткой среде — не в зале суда, а на эшафоте, не у судьи, а у палача.

Вот какова была цель автора. И если будущее покажет, что он достиг ее, на что он не смеет надеяться, то иного венца, иной славы ему не нужно.

Итак, он заявляет и повторяет, что его роль — роль ходатая за всех возможных подсудимых, виновных или невинных, перед всеми судами и судилищами, перед всеми присяжными, перед всеми вершителями правосудия. Книга эта обращена ко всем, кто судит. И для того, чтобы ходатайство соответствовало по масштабам самой проблеме, автор писал *Последний день приговоренного к смерти* так, чтобы в нем не было ничего случайного, частного, исключительного, относительного, изменяемого, эпизодического, анекдотического, никаких фактов, собственных имен, он ограничился (если можно назвать это ограничением) защитой первого попавшегося приговоренного к смерти, казненного в первый попавшийся день, за первое попавшееся пре-

ступление. И он счастлив, если одним только орудием своего слова ему удалось проникнуть в защищенное тройной броней сердце судейского чиновника и сердце это начало кровоточить. Счастлив, если он сделал милосердными тех, кто считает себя справедливыми. Счастлив, если ему выпала удача под оболочкой судьи откопать человека!

Три года тому назад, когда эта книга вышла в свет, некоторые люди нашли нужным оспаривать авторство основной идеи. Одни ссылались на какое-то английское, другие на американское произведение. Странная фантазия искать первоисточники невесть где и доказывать, что ручеек, протекающий вдоль вашей улицы, питается водами Нила. Увы! Ни английские, ни американские, ни китайские труды тут ни при чем. Не из книг вынес автор основную мысль Приговоренного к смерти, не в его обычае ходить за мыслями так далеко, он взял ее там, где все вы могли ее взять, где она и напрашивалась, быть может, у вас (ибо кто мысленно не сочинял или не продумывал *Последний день приговоренного*?) — попросту на Гревской площади. Проходя однажды по роковой площади, он подобрал эту мысль в луже крови, под кровавыми обрубками с гильотины.

И с тех пор всякий раз, как после зловещего четверга в кассационном суде по Парижу во всеуслышание объявлялся смертный приговор, всякий раз, как автор слышал у себя под окнами хриплые крики глашатаев, собиравшие зрителей на Гревскую площадь, — мучительная мысль возвращалась к нему, захватывала его целиком, напоминала ему о жандармах, о палачах, о черни, час за часом рисовала ему предсмертные муки страдальца — вот сейчас его исповедуют, сейчас ему стригут волосы, связывают руки, — побуждала скромного поэта высказать все это обществу, которое спокойно занимается своими делами, пока творится такое чудовищное злодеяние; торопила, толкала его, не давала ему покоя; если он сочинял стихи, все та же мысль изгоняла их из сознания и убивала в зародыше, мешала всем его занятиям, вторгалась повсюду, преследовала, осаждала его, держала в плену. Это была пытка, настоящая пытка, она начиналась с рассветом и длилась, как и терзания несчастного мученика, вплоть до *четырех часов*. И только когда погребальный бой часов оповещал, что страдалец ponens caput expiravif[10], автор мог перевести дух

[10] Примечания: 10
Склонив голову, испустил дух (*лат.*).

и обратить мысли на что-то другое. И наконец как-то, кажется на следующий день после казни Ульбаха, он сел писать настоящую книгу. После этого точно бремя свалилось с его плеч. Когда теперь совершается одно из этих общественных преступлений, именуемых исполнением судебного приговора, совесть говорит ему, что он больше не является соучастником; на своем челе он уже не ощущает той капли крови с Гревской площади, которая падает на головы всех, кого объединяет данный общественный строй.

Однако этого недостаточно. Хорошо умыть руки, но важнее сделать так, чтобы не проливалась человеческая кровь.

И в самом деле, разве есть цель лучше, выше, достойней, чем эта — добиться отмены смертной казни? Поэтому автор всей душой присоединяется к стремлениям и стараниям благородных людей всех наций, уже много лет прилагающих все силы к тому, чтобы свалить виселичные столбы — единственные устои, не свергнутые даже революциями. И он счастлив, что при немощи своей может все-таки глубже всадить топор в надрез, семьдесят лет назад сделанный Беккариа в старой виселице, столько веков возвышающейся над христианским миром.

Мы только что сказали, что эшафот — единственное сооружение, которое не разрушают революции. В самом деле, революциям редко удается не пролить человеческой крови; их назначение — очистить общество, подрезать его ветви и верхушку, и им трудно обойтись без такого орудия очистки, как смертная казнь.

Однако, на наш взгляд, из всех революций наиболее достойна и способна отменить смертную казнь была Июльская революция. Казалось бы, именно этому самому гуманному из народных движений современности скорее всего пристало упразднить варварскую карательную систему Людовика XI, Ришелье и Робеспьера и поставить во главе законов неприкосновенность человеческой жизни. 1830 год вправе был сломать нож гильотины 1793 года.

Был момент, когда мы на это надеялись. В августе 1830 года в воздухе чувствовались великодушные, благодетельные веяния, общество было проникнуто духом просвещения и гуманности, сердца так и раскрывались навстречу светлому будущему, и нам казалось, что смертная казнь будет отменена непременно, немедленно, по молчаливому, единодушному соглашению, как пережиток всего дурного, что мешало нам жить.

Народ устроил потешные огни из лоскутьев старого режима. Этот лоскут был кровавый. Мы решили, что он попал в одну кучу с остальными и тоже сожжен. В течение нескольких недель мы доверчиво уповали, что в будущем и жизнь и свобода станут неприкосновенны.

И в самом деле, не далее как через два месяца была сделана попытка претворить в действительность чудесную утопию Цезаря Бонесана и облечь ее в законную форму. К несчастью, попытка была неловкой, неумелой, пожалуй неискренней, и преследовала отнюдь не общий интерес.

Всем памятно, как в октябре 1830 года палата, несколько дней назад отклонившая предложение похоронить прах Наполеона под Колонной, дружно принялась вопить и стенать. На обсуждение был поставлен вопрос о смертной казни — ниже мы поясним, в какой связи; и тут вдруг, словно по волшебству, сердца законодателей преисполнились милосердия. Все наперебой брали слово, вопияли, воздевали руки к небу. Смертная казнь! Боже, что за ужас! Какой-нибудь генеральный прокурор, поседевший в красной судейской мантии, всю жизнь питавшийся хлебом, смоченным в крови жертв своих обвинительных речей, вдруг строил жалостливую мину и клялся всеми

святыми, что он ярый противник гильотины. В течение двух дней трибуну осаждали слезливые болтуны. Это были сплошные сетования, елейные вздохи, скорбные псалмы, и Super flumina Babylonis[11], и Stabat Mater dolorosa[12], целая симфония в миноре с хором, исполненная оркестром ораторов, украшающих передние скамьи палаты и разливающихся соловьями в дни важных заседаний. Кто басил, кто тянул фистулой. Ничего не было забыто. Все получилось как нельзя более мелодраматично и чувствительно. Вечернее заседание было особенно слащаво и душещипательно, точь-в-точь пятый акт из пьесы Лашоссе. Простодушная публика ничего не понимала и только умилялась до слез[13].

О чем же шла речь? Об отмене смертной казни?

И да, и нет.

---

[11] Примечания: 11

«На реках Вавилонских» (*лат.*) — начальные слова 136-го псалма.

[12] Примечания: 12

«Мать скорбящая стояла» (*лат.*) — начальные слова католического гимна.

[13] Примечания: 13

В наши намерения не входит огульно осмеивать все, что говорилось по этому поводу в палате. Кое-кем были сказаны прекрасные, поистине благородные слова. Мы вместе со всеми рукоплескали строгой, простой речи г-на де Лафайета и построенной совершенно в ином роде блистательной импровизации г-на Вильмена. (*Прим. автора.*).

Вот как было дело.

Четыре светских человека, вполне корректных и благовоспитанных, из тех, с кем встречаешься в гостиных и обмениваешься несколькими учтивыми словами, итак, четыре таких человека предприняли в высших политических сферах дерзкую попытку, которая по Бэкону квалифицируется как «преступление», а по Макиавелли как «предприятие». Так или иначе, закон, одинаково неумолимый для всех, карает это смертью. И вот четверо несчастных оказались пленниками закона, заключенными под пышные своды Венсенского замка, под охраной трехсот трехцветных кокард. Как тут быть? Какой найти выход? Сами понимаете, нельзя же четырех человек, как вы и я, четырех человек из *общества*, отправить на Гревскую площадь, в телеге, унизительно связанными грубой веревкой, спиной к спине с тем служителем закона, которого и назвать-то зазорно. Если бы еще нашлась гильотина из красного дерева!

Ничего не поделаешь! Придется отменить смертную казнь! И палата начинает действовать.

Припомните, господа, что вчера еще вы считали отмену смертной казни утопическими и

теоретическими бреднями, безумной фантазией. Припомните, что не раз уже делалась попытка привлечь ваше внимание к позорной телеге, к толстым веревкам и к гнусной ярко-красной машине. Странно, что все эти отвратительные атрибуты только теперь бросились вам в глаза.

Э! Что там докапываться! Не ради тебя же, народ, отменяем мы смертную казнь, а ради нас самих, депутатов, — ведь каждый из нас может стать министром! Мы не хотим, чтобы машина Гильотена покусилась на высшие классы. Мы предпочитаем сломать ее. Тем лучше, если это пойдет на пользу и остальным, но мы-то думали только о себе. Дворец Укалегона в огне. Надо тушить пожар. Надо немедленно упразднить палача и подчистить уголовный кодекс.

Вот каким образом примесь личных соображений извращает и марает лучшие общественные начинания. Это черная прожилка в белом мраморе; она тянется повсюду и каждый миг обнаруживается под резцом. В результате статую надо делать заново.

Излишне заявлять здесь, что мы не принадлежим к числу тех, кто требовал казни четырех министров. После того, как несчастных арестовали, негодующее возмущение их преступной

попыткой сменилось у нас, как и у всех, глубокой жалостью. Мы вспомнили, какие предрассудки привиты некоторым из них воспитанием, как слабо развит ум их главаря, тупого, неисправимого фанатика, уцелевшего от заговоров 1804 года, раньше времени поседевшего в темноте и сырости государственных казематов; вспомнили, какие обязательства неизбежно налагало на всех занимаемое ими положение, как трудно, даже невозможно, было удержаться на крутом спуске, по которому монархия собственными стараниями стремительно катилась с 8 августа 1829 года, какое влияние имела личность короля, — это обстоятельство мы до тех пор недостаточно принимали в расчет, — а главное, вспомнили, с каким достоинством держался один из заговорщиков, прикрывая им, точно пурпурной мантией, общее несчастье. Мы принадлежим к числу тех, кто искренне желал им сохранения жизни и готов был приложить к этому все усилия. Если бы случилось невероятное и для них на Гревской площади был воздвигнут эшафот, мы не сомневаемся, — а если это заблуждение, то нам хочется сохранить его, — мы не сомневаемся, что произошел бы мятеж, и эшафот был бы свергнут, и автор настоящих строк принял бы участие в этом праведном

мятеже. Ибо надо также сказать, что эшафот, воздвигаемый во время общественно-политических кризисов, самый отвратительный, самый вредоносный, самый пагубный из всех эшафотов, и его надо упразднить во что бы то ни стало.

Такого рода гильотина пускает корни в мостовой и в скором времени дает повсеместно ростки.

Во время революции остерегайтесь снести первую голову. Она разжигает в народе жажду крови.

Итак, мы лично были вполне солидарны с теми, кто хотел спасти четырех министров, солидарны со всех точек зрения, как с гуманистической, так и с политической. Только мы бы предпочли, чтобы палата воспользовалась другим случаем для отмены смертной казни.

Если бы эту долгожданную отмену выдвинули не ради четырех министров, скатившихся из Тюильрийского дворца в Венсенский замок, а ради первого встречного разбойника с большой дороги, ради одного из тех отверженных, которых вы даже не замечаете при встрече на улице, с которыми вы не разговариваете, боясь, как бы не запачкаться от их мимолетного прикосновения; ради одного из тех горемык, которые все свое

нищенское детство месили босыми ногами уличную грязь, дрогли зимой у парапета набережных, грелись под отдушинами кухни того самого г-на Вефура, у которого вы обедаете; в кои-то веки откапывали корочку хлеба из мусорной ямы и обтирали ее, прежде чем съесть; по целым дням ковыряли гвоздем в сточной канаве в надежде найти медяк; не знали других развлечений, кроме двух даровых зрелищ: королевских празднеств и казней на Гревской площади; ради одного из тех обездоленных, которых голод толкает на воровство, а воровство на все прочее; тех пасынков общества, которые в двенадцать лет спознаются с тюрьмой, в восемнадцать — с каторгой, в сорок — с эшафотом; одного из тех обойденных судьбой, которых учение и труд могли бы сделать порядочными, честными, полезными людьми, а вы, не зная, как от них избавиться, сбрасываете их, как бесполезный груз, то в красный муравейник Тулона, то в безмолвную обитель Кламара, отнимаете у них жизнь, лишив их свободы, — вот, если бы ради одного из них вы предложили отменить смертную казнь, о! тогда ваше собрание было бы поистине достойным, почтенным, благородным и величавым. Со времен Тридентских отцов церкви, пригласивших еретиков на все-

ленский собор во имя милосердия господня, per viscera Dei, в надежде обратить их, quoniam sancta sy nodus sperat haereticorum conversionem[14], ни одно собрание не явило бы миру зрелища более доблестного, возвышенного и человеколюбивого. Тем, кто поистине силен и поистине велик, всегда подобало заботиться о слабых и малых. Как прекрасно было бы собрание браминов, берущих под свою защиту интересы париев! А интересы париев — это интересы народа. Если бы вы отменили смертную казнь для блага народа, а не потому, что тут задеты вы сами, это был бы не только политический акт, но и большое общественное; дело.

А теперь это нельзя назвать даже политическим актом, потому что вы пытались отменить смертную казнь не ради самой отмены, а для того, чтобы спасти четырех незадачливых министров, пойманных с поличным при попытке совершить государственный переворот!

И что же получилось? Так как вы были неискренни, к вам отнеслись с недоверием. Увидев, что его хотят обмануть, народ принял в штыки все начинание в целом и — как это ни удиви-

---

[14] Примечания: 14

Потому что священный собор надеется на обращение еретиков (*лат.*).

тельно — встал на защиту смертной казни, хотя все ее бремя полностью падает на него. Ваша собственная неосмотрительность привела к этому. Подойдя к делу окольным, не прямым путем, вы надолго набросили на него тень. Вы разыграли комедию. И ее освистали.

Однако некоторые по доброте своей приняли этот фарс всерьез. Сейчас же после пресловутого заседания министр юстиции, человек прямодушный, отдал прокурорам — приказ не приводить в исполнение смертных приговоров, отсрочив их на неопределенный срок. По всей видимости, это был серьезный шаг. Противники смертной казни вздохнули с облегчением. Но их иллюзии быстро рассеялись.

Суд над министрами закончился. Не знаю? к чему их присудили. Во всяком случае жизнь сохранили всем четверым. Крепость Гам была признана золотой серединой между смертью и свободой. После того как все это было улажено, у государственных деятелей, стоящих у власти, исчез всякий страх, а вместе со страхом испарились и человеколюбивые порывы. Вопрос об отмене смертной казни больше не поднимался; и поскольку он утратил остроту, утопия снова стала утопией, теория — теорией, фантазия —

фантазией.

А между тем в тюрьмах так и осталось несколько осужденных из числа простых смертных: несчастные уже месяцев пять-шесть гуляли по тюремному двору, дышали свежим воздухом, окончательно успокоившись, считая, что им дарована жизнь, принимая отсрочку за помилование. Но не тут-то было.

Правду сказать, палач сильно перетрусил. Услышав в тот знаменательный день разговоры законодателей о человеколюбии, гуманности, прогрессе, он решил, что дело его плохо, и скрылся, забился под свою гильотину. Ему стало не по себе на ярком июльском солнце, как ночной птице — при свете дня. Он старался не напоминать о себе, сидел притаясь, не подавая признаков жизни, заткнув уши, боясь дышать. Целых полгода его не было видно. Но мало-помалу он успокоился в своей норе. Прислушался к тому, что делается в палате, и больше не услышал ни упоминаний своего имени, ни тех громких, звучных слов, которые так напугали его. Прекратились словесные упражнения на тему *О преступлениях и наказаниях*, палата занималась совсем другими, куда более важными общественными делами — прокладкой проселочной дороги, субсидией

Комической опере или кровопусканием в сто тысяч франков из апоплектического полутора-миллиардного бюджета. О нем, о головорезе, не вспоминал больше никто. Увидев это, он окончательно успокоился, высунул из норы голову и огляделся; потом сделал один шаг, второй, совеем как мышь в какой-то из басен Лафонтена, потом осмелел, вылез из-под помоста, вскочил на него и принялся чинить, исправлять, начищать до блеска, оглаживать все сооружение, пускать в ход, смазывать салом старый заржавевший механизм, совсем пришедший в негодность от бездействия; а затем обернулся, наугад, в первой попавшейся тюрьме схватил за волосы одного из тех несчастных, которые рассчитывали, что им дарована жизнь, втащил его к себе, раздел, связал, скрутил, и — казни возобновились как ни в чем не бывало.

Этому страшно поверить, но это правда.

Да, многострадальным узникам дали отсрочку в полгода и тем самым ни за что ни про что усугубили их муки, вселив в них надежду на жизнь; а потом, без всякого основания, безо всякой необходимости, так, здорово живешь, в одно прекрасное утро отсрочку отменили и хладнокровно бросили этих несчастных под нож. Скажите на милость,

чем нам мешали эти люди? Господи боже! Неужто во Франции не хватит воздуха на всех?

Чтобы ни с того ни с сего какой-то чиновнишка из министерства юстиции встал со стула и сказал: «Что ж! Никто больше не заикается об отмене смертной казни. Пора пускать в ход гильотину!» — для этого надо, чтобы сердце человека стало вдруг сердцем зверя.

Следует подчеркнуть, что никогда в самом процессе казни не наблюдалось такой жестокости, как после июльской отсрочки. Никогда Гревская трагедия не обставлялась так омерзительно и не доказывала с большей наглядностью всю гнусность смертной казни. Этот усугубленный ужас по справедливости лежит на совести людей, восстановивших кровавый закон. Пусть сами казнятся делом рук своих. Поделом им.

Приведем два-три примера зверского, безбожного отношения к приговоренным, хотя бы для того, чтобы расстроить нервы супругам королевских прокуроров. Женщина зачастую играет роль совести.

В конце сентября прошлого года на юге Франции — точно мы не можем указать ни место, ни день казни, ни имя приговоренного, но если самый факт будет оспариваться, мы беремся все

это установить, — помнится, дело было в Памье, — итак, в конце сентября в тюрьму к одному заключенному, спокойно игравшему в карты, явились с заявлением, что через два часа он должен умереть; человека охватила дрожь — полгода о нем не вспоминали, и он считал, что страшная кара миновала его; его обстригли, обрили, связали, исповедали, затем посадили на телегу и с четырьмя жандармами по бокам повезли сквозь толпу зевак на место казни. До сих пор все шло, как обычно, как полагается. Около эшафота палач принял страдальца из рук священника, втащил его на помост, привязал к доске, — говоря языком каторги, «заложил в печь», — и спустил нож. Тяжелый железный треугольник с трудом сдвинулся с места, ежесекундно застревая, пополз вниз и — вот где начинается настоящий ужас — не убил, а только поранил несчастного. Услышав его отчаянный крик, палач растерялся, поднял нож и опустил снова. Нож вторично вонзился в шею мученика, но не перерубил ее. К воплям несчастного присоединились крики толпы. Палач опять подтянул нож кверху, рассчитывая, что третий удар окажется успешным. Ничуть не бывало. Кровь в третий раз хлынула из шеи приговоренного, но голова не отлетела.

Короче говоря — пять раз поднимался и опускался нож, пять раз вонзался в шею приговоренного, и после каждого удара приговоренный испускал отчаянный вопль, дергал все еще не снесенной головой и молил о пощаде! Народ, не стерпев этого издевательства, принялся забрасывать палача камнями. Палач соскочил с помоста и спрятался за лошадьми жандармов. Но это еще не все. Осужденный, увидев, что он на эшафоте один, насколько мог поднялся с доски и, стоя так, страшный, залитый кровью, поддерживая наполовину отрубленную голову, которая свешивалась ему на плечо, чуть слышным голосом умолял отвязать его. Толпа, исполнившись сострадания, собралась было оттеснить жандармов и спасти страдальца, пять раз претерпевшего смертную казнь, но в этот миг подручный палача, малый лет двадцати, поднялся на эшафот, велел приговоренному лечь ничком, чтобы удобнее было отвязать его, а сам, воспользовавшись доверчивостью умирающего, вскочил ему на спину и принялся неумело перерезать остаток шеи чем-то вроде кухонного ножа.

Это не выдумка. Этому были очевидцы. Да.

Согласно закону при казни обязан был присутствовать судья. Ему достаточно было сделать

знак, чтобы положить этому конец. Что же делал, забившись в угол кареты, этот человек, пока зверски резали другого человека? Что делал судья, призванный карать убийц, пока среди бела дня, у него на глазах, под самыми окошками его кареты совершалось убийство?

И такого судью не предали суду! Не предали суду и палача! И никто не подумал произвести следствие по поводу такого чудовищного, попирающего все законы, издевательства над священной личностью создания божия!

В семнадцатом веке, при Ришелье и Кристофе Фуке, когда был в силе варварский уголовный кодекс и когда маркиза де Шале казнил в Нанте неумелый солдат, нанесший ему вместо одного удара шпагой тридцать четыре удара[15] бочарным топором, — это все-таки показалось незаконным парижскому парламенту, ввиду чего было наряжено следствие, и хотя Ришелье остался безнаказанным, как безнаказанным остался и Кристоф Фуке, солдат все-таки был наказан. Конечно, это несправедливость, но в основе ее заложено зерно правосудия. Тут же ни намека на правосудие. Дело было после июльского перево-

[15] Примечания: 15

Лапорт говорит, что двадцать два, но Обери утверждает, что тридцать четыре. Де Шале кричал до двадцатого удара. (*Прим. автора.*)

рота, в эпоху прогресса и смягчения нравов, через год после громогласных ламентаций палаты по поводу смертной казни. И что же! Это событие прошло совершенно незамеченным! Парижские газеты забыли о нем, как о незначительном эпизоде. Никто не обеспокоился. Выяснили только, что гильотина была умышленно испорчена кем-то, кто хотел подставить ножку палачу, а именно одним из его подручных. Палач выгнал его, а он придумал такую месть.

Итак, это была просто милая шутка. Дальше.

Три месяца назад в Дижоне казнили женщину. (Женщину!) И на этот раз механизм доктора Гильотена действовал неисправно. Голова не была отрублена сразу. Тогда подручные палача ухватили женщину за ноги, и, под отчаянные вопли несчастной, до тех пор дергали и тянули, пока не оторвали голову от туловища.

У нас в Париже возвращаются времена тайных казней. После июльских дней из страха, из трусости уже не решаются рубить головы публично, на Гревской площади, и поэтому придумали такой выход. Недавно из Бисетра взяли человека, приговоренного к смерти, если не ошибаюсь, некоего Дезандрие; его впихнули в какой-то ящик на двух колесах, закрытый наглухо, за-

пертый на замки и засовы; затем, с жандармом впереди и жандармом позади, без огласки и без сборищ доставили поклажу к пустынной заставе Сен-Жак. Дело происходило в восемь утра, едва светало, но на месте уже ждала только что поставленная гильотина, а публику составляли с десяток мальчишек, взгромоздившихся на груды камней и глазевших на невиданную машину. Приговоренного вытащили из повозки и, не дав ему опомниться, поспешно, постыдно, тайком, отрубили ему голову. И это именуется открытым и торжественным актом высшей справедливости! Гнусное издевательство!

Что же прислужники короля понимают под словом *цивилизация*? До чего мы дошли? Правосудие сведено к махинациям и уловкам! Закон изворачивается, как умеет! Неслыханное дело.

Очевидно, приговоренный к смерти представляет собой опасность, раз общество старается разделаться с ним исподтишка. Однако будем справедливы: казнь не была полностью сохранена в тайне. С утра на парижских перекрестках, как обычно, продавали листки со смертным приговором, громко зазывая покупателей. Значит, есть люди, которые живут с их продажи. Вы слышите? Преступление, совершенное каким-нибудь

несчастливцем, понесенная им кара, его страдания, его предсмертные муки превращаются в товар, в печатную бумажку, которую продают за медяк. Можно ли представить себе что-нибудь страшнее этих монет, протравленных кровью? И кто же те, что их собирают?

Но довольно фактов. С избытком довольно. Разве все они не ужасны? Какие доводы можете вы после этого выставить в защиту смертной казни?

Мы задаем этот вопрос не для красного словца; мы ждем на него ответа; мы задаем его криминалистам, а не болтунам-литераторам. Мы знаем, что есть люди, для которых преимущество смертной казни, как любая другая тема, служит поводом для упражнения в блестящих парадоксах. Есть и такие, что стоят горой за смертную казнь из ненависти к ее противникам. Для них это только вопрос литературной полемики, вопрос определенных имен и лиц. Это попросту завистники, в которых хорошие законоведы, как и большие художники, никогда не терпят недостатка. У Филанджиери всегда найдется свой Джузеппе Гриппа, у Микеланджело — свой Торреджани, у Корнеля — свой Скюдери.

Но мы обращаемся не к ним, а к законникам

в подлинном значении этого слова, к софистам, к умникам, к почитателям смертной казни, видящим в ней красоту, человеколюбие, благородство.

Выслушаем их доводы.

С точки зрения тех, кто судит и осуждает, смертная казнь необходима. Прежде всего потому, что надо изъять из человеческого общества того, кто уже нанес ему вред и может наносить в дальнейшем. Но для этого достаточно и пожизненного заключения. К чему же смерть? Вы говорите, что из тюрьмы можно бежать? Сторожите получше. Если вы не доверяете прочности решеток, как вы решаетесь заводить зверинцы?

Палач ни к чему там, где довольно и тюремщика.

Нам возразят, что общество должно мстить, должно карать. Ни в коем случае. Мстить может отдельный человек, карать может бог.

Общество же занимает промежуточную ступень. Кара — выше его, месть — ниже. Ни такое возвышенное, ни такое низменное дело ему не пристало; его обязанность не «карать, чтобы отомстить», а воспитывать, чтобы исправить. Измените в таком духе формулу криминалистов, и мы поймем и поддержим ее.

Остается третий и последний довод — пресловутая теория примера. Надо показать пример! Надо внушить страх, наглядно показав, какая участь ждет тех, кто вздумал бы подражать преступникам. Вот почти дословно то, что на все лады повторяется во всех обвинительных речах всех пятисот судов Франции. Так вот! Прежде всего мы отрицаем самую идею примера. Мы отрицаем, что зрелище казни оказывает то действие, какого от него ожидают. Оно играет отнюдь не назидательную, а развращающую роль, оно убивает в народе жалость, а следовательно, и все добрые чувства. Мы могли бы привести множество доказательств, если бы не боялись перегрузить наше изложение. Упомянем лишь об одном факте, потому что он имел место совсем недавно, ровно десять дней назад, 5 марта, в последний день карнавала. В Сен-Поле толпа масок затеяла хоровод вокруг гильотины, еще не остывшей после казни некоего поджигателя Луи Камю. Вот и показывайте пример! Разгульный карнавал открыто смеется над вами!

Но если, наперекор действительности, вы все еще цепляетесь за свою закоснелую теорию устрашающего примера, так уж будьте последовательны в деле устрашения, возродите XVI

век, возродите весь арсенал пыток, возродите и Фариначчи и заплечных дел мастеров, возродите виселицу, колесо, костер, дыбу, отрезайте уши, четвертуйте, заживо закапывайте людей в яму, бросайте в кипящий котел, откройте на всех парижских перекрестках, наряду с витринами лавок, витрину страшных трофеев палача, куда постоянно будет поставляться свежее мясо. Возродите Монфокон, его шестнадцать столбов на подпорах из нетесаного камня, его подвалы, полные костей, его брусья, крюки, цепи, остатки скелетов, меловой холм, загаженный воронами, все разновидности виселиц и трупный запах, который разносится по всему Тампльскому предместью, когда ветер дует с северо-востока. Возродите в исконном виде эту гигантскую вотчину парижского палача. Вот уж поистине всем примерам пример! Вот вам смертная казнь, разработанная до тонкости. Вот вам система пыток со всеми должными градациями. Вот ужас, устрашающий по-настоящему.

Или же последуйте английскому образцу. В Англии, стране торговой, захваченного на побережье близ Дувра контрабандиста вешают для примера и для примера же оставляют на виселице; но, дабы труп не пострадал от перемен погоды,

его обертывают в холст, просмоленный для прочности. Вот это коммерческая сметка! В какой другой стране придумают смолить повешенных?

Однако тут все-таки есть подобие логики. Это наиболее гуманное решение теории устрашающего примера.

Но вы-то, неужели вы всерьез думаете о примере, тайком перерезая горло какому-нибудь горемыке в самом безлюдном закоулке внешних бульваров? Пускай уж на Гревской площади, среди белого дня; но у заставы Сен-Жак! И в восемь часов утра! Кто там проходит? Кто там бывает? Кому известно, что вы собрались убивать там человека? И для кого это может быть примером? Очевидно, для деревьев на бульваре.

Неужели вы сами не замечаете, что совершаете публичные казни крадучись, прячась ото всех? Неужели вы не сознаете, что вам страшно и стыдно творить такое дело? Что ваш лепет Discite justitiam moniti[16] смешно слушать, что в сущности вы смущены, растеряны, сбиты с толку, не убеждены в своей правоте, заражены общим сомнением, рубите головы по привычке и сами

---

[16] Примечания: 16

«Учитесь блюсти справедливость» (*лат.*) — 620-й стих 6-й песни «Энеиды» Вергилия: «Не презирайте богов и учитесь блюсти справедливость!».

не понимаете, зачем это делаете? Неужели вы не чувствуете в глубине души, что вами утрачена общественная и нравственная оценка той кровавой миссии, которую предшественники ваши, судьи былых времен, осуществляли с невозмутимо спокойной совестью? Неужели вы по ночам не чаще их ворочаетесь в постели? Те, что раньше вас выносили смертный приговор, были уверены в правоте, справедливости и благодетельности этого приговора. Жувенель дез Юрсен почитал себя судьей; Эли де Торет почитал себя судьей; Лобардемон, Ла Рейни, Лафемас, и те почитали себя судьями; а у вас, в тайниках души, нет уверенности, что вы не убийцы!

Вы сменили Гревскую площадь на заставу Сен-Жак, толпу — на уединение, ясный день — на предрассветную мглу. Вы делаете свое дело, и руки у вас дрожат. Вы прячетесь — посмейте это отрицать!

Итак, все доводы в пользу смертной казни уничтожены, все умствования прокуроров сведены к нулю. Весь сор обвинительных речей обращен в пепел и выметен вон. В свете логики мгновенно рассеиваются все ложные заключения. Так пусть же королевские прислужники не смеют больше требовать от нас, как от присяжных, от нас,

как от людей, вынесения смертных приговоров, медоточивыми голосами заклиная нас во имя безопасности общества, во имя торжества правосудия и ради устрашающего примера. Все это красоты риторики — мыльные пузыри и больше ничего! Достаточно проткнуть их булавкой, и они лопнут в один миг. Под всем этим слащавым красноречием кроется черствость, варварская жестокость, желание выслужиться, необходимость отработать свое жалование. Замолчите, царедворцы! Под бархатной лапкой судьи чувствуются когти палача.

Нельзя хладнокровно говорить о том, что такое королевский прокурор по уголовным делам. Это человек, который зарабатывает себе на жизнь тем, что отправляет других людей на смерть. Это штатный поставщик эшафота. И в то же время это господин, притязающий на образование и литературный слог, а главное, на ораторское красноречие, умеющий к случаю, перед тем как потребовать смертного приговора, ввернуть латинскую цитату, жаждущий произвести впечатление и потешить свое жалкое самолюбие там, где для других решается вопрос жизни; у него есть свои классические образцы, свои недосягаемые идеалы, для него Белар и Маршанжи

то же, что для иного поэта Расин или Буало. Он склоняет судебные прения в сторону гильотины, такова его роль, его должность. Обвинительная речь для него — литературное упражнение, он расцвечивает ее метафорами, уснащает цитатами, заботясь о том, чтобы пленить публику, а главное дам. У него в запасе имеется набор пошлостей, которые воспринимаются неискушенными провинциалами как новинка, он щеголяет изысканными ораторскими приемами, манерностью и жеманством. Ему ненавистна простота и ясность не меньше, чем авторам трагедий, последователям Делиля. Не бойтесь, он не станет называть вещи своими именами. Фи, как это можно! Все понятия, которые в обнаженном виде вас бы покоробили, он умеет ловко замаскировать эпитетами и прилагательными. Он придает г-ну Сансону вполне презентабельный вид. Он окутывает флером нож гильотины, он затушевывает помост, он обвивает гирляндами красноречия кровавую корзину. Получается умильно и пристойно. Вообразите себе, как он сидит вечером у себя в кабинете, кропотливо и тщательно подготовляя такую речь, чтобы через полтора месяца после нее был воздвигнут эшафот. Вообразите себе, как он из кожи вон лезет,

чтобы подвести голову подсудимого под самую зловещую статью уголовного кодекса. Вообразите себе, как он перепиливает шею несчастного с помощью негодного закона. Обратите внимание, как он вводит в мешанину из иносказаний и обещаний две-три ядовитые цитатки, чтобы всеми правдами и неправдами выжать из них письменный приговор другому человеку. Не кажется ли вам, что под письменным столом, в темном уголке у его ног сидит на корточках палач, и он, время от времени, останавливаясь, говорит палачу, как хозяин прожорливому псу:

— Погоди! Погоди! Получишь свою кость!

Впрочем, не исключено, что в частной жизни этот прислужник короля — честнейший человек, хороший отец, хороший сын, хороший муж, хороший друг, как гласят все надписи на нагробных памятниках кладбища Пер-Лашез.

Будем надеяться, что недалек тот день, когда закон упразднит эту гнусную должность. Самый воздух современной цивилизации рано или поздно должен уничтожить смертную казнь.

Временами невольно думается, что защитники смертной казни не отдают себе ясного отчета в том, что это такое. Да сравните вы хоть раз любое преступление с тем возмутительным правом,

которое общество самовластно присвоило себе, с правом отнимать то, чего оно не давало, с этой карой, которая сама по себе является самым непоправимым из всех непоправимых зол!

Одно из двух:

Либо у человека, которого вы караете, нет семьи, нет родных, нет никого близкого на свете. Значит, он не получил ни воспитания, ни образования, никто не позаботился направить на верный путь его ум и сердце. По какому же праву вы убиваете в таком случае этого злосчастного сироту? Вы наказываете его за то, что он с детства прозябал без опоры и поддержки. Вы вменяете ему в вину одиночество, в котором сами же оставили его. Его несчастье вы возводите в преступление! Никто не научил его оценивать свои поступки. Он ничего не знает. Так вините же его судьбу, а не его самого. Не карайте невинного!

Если же у этого человека есть семья, неужели вы думаете, что, нанося ему смертельный удар, вы не задеваете больше никого? Что его отец, мать, дети не пострадают от этого? Нет! Убивая его, вы обезглавливаете целую семью. А значит, и в этом случае вы караете невинных.

Слепой, нелепый закон, при всех обстоятельствах карающий невинных!

Изолируйте преступника, у которого есть семья. Сидя в тюрьме, он будет работать на нее. Из могилы он ведь ничем уже не в силах ей помочь. Как можете вы без содрогания подумать о том, что станется с малолетними детьми, мальчиками и девочками, которых вы лишаете отца, иначе говоря, насущного хлеба? Или вы рассчитываете, что через пятнадцать лет мальчики созреют для каторги, а девочки — для шантана? Невинные страдальцы! Когда в колониях казнят раба, владельцу его выплачивают тысячу франков в возмещение убытков. Так, значит, хозяина вы считаете нужным компенсировать, а семью нет? А разве здесь вы не отнимаете человека у тех, кому он принадлежит по праву? По праву куда более незыблемому, чем раб — своему господину, принадлежит он отцу, является достоянием жены, собственностью детей.

Мы уже уличили ваш закон в убийстве, а теперь уличаем его в грабеже.

Но и этого мало, А душа приговоренного? О ней вы думаете? Знаете вы, что творится в ней? Как же вы смеете так беспечно отправлять ее на тот свет? В прежние времена в народе бытовала какая-то вера. Носившиеся в воздухе религиозные веяния могли в роковую минуту смягчить самого

закоснелого злодея. Приговоренный преступник в то же время был и кающийся грешник. Религия открывала перед ним потусторонний мир в тот миг, когда общество закрывало для него здешний; душой каждый ощущал бога. Эшафот был лишь гранью между землей и небом. А какие же упования можете вы связать с эшафотом теперь, когда в большинстве своем народ перестал веровать? Когда все религии обрастают плесенью, как старые корабли, что гниют в наших гаванях, а раньше, быть может, открывали новые земли? Когда малые дети насмехаются над богом? По какому праву швыряете вы в то неведомое, в котором сомневаетесь сами, темные души осужденных вами, души, ставшие тем, что они есть, по милости Вольтера и Пиго-Лебрена? Вы вверяете их тюремному священнику, спору нет, достойнейшему старцу; но верует ли он сам и может ли вселить веру? Что, если для него эта священная миссия превратилась в докучную повинность? Как можете вы считать духовным пастырем того старичка, который сидит на телеге бок о бок с палачом? Писатель, обладавший большим талантом и чуткой душой, сказал еще до нас: «Жестокое дело — оставить палача, отняв духовника».

Разумеется, все это доводы «сентиментального

порядка», как презрительно выражаются некоторые умники, черпающие свои доводы только из головы, но, на наш взгляд, доводы чувства наиболее убедительны, и мы зачастую предпочитаем их доводам разума. Впрочем, между теми и другими существует неразрывная связь, и этого не следует забывать.

Трактат о преступлениях отпочковался от *Духа законов*. Монтескье породил Беккариа.

Разум за нас, чувство за нас, и опыт тоже за нас. В государствах, которые могут служить образцом и где смертная казнь отменена, количество уголовных преступлений идет на убыль с каждым годом. Задумайтесь над этим.

Однако мы не требуем немедленной и окончательной отмены смертной казни, мы не хотим повторять необдуманный шаг палаты депутатов. Наоборот, мы настаиваем на предварительных пробах, на всяческих предосторожностях, на сугубой осмотрительности. К тому же мы добиваемся не только отмены смертной казни, а коренного пересмотра всех видов наказаний, сверху донизу, от тюремного запора до ножа гильотины, а одним из необходимых условий добросовестного осуществления такого дела является время. Мы собираемся в другом месте подробно изложить,

какой системы в данном случае следовало бы придерживаться. Но независимо от того, будет ли смертная казнь отменена для отдельных родов преступников, как то для фальшивомонетчиков, для поджигателей, для взломщиков и т. д., мы настаиваем, чтобы уже теперь во всех уголовных процессах председателю суда вменялось в обязанность задавать присяжным вопрос:

«Действовал ли обвиняемый в состоянии аффекта или из корыстных побуждений?» И если присяжные ответят, что «обвиняемый действовал в состоянии аффекта», ему не может быть вынесен смертный приговор. Такое решение по крайней мере избавило бы нас от некоторых вопиющих случаев казни. Ульбах и Дебакер были бы спасены. Не стали бы гильотинировать и Отелло.

Кстати, имейте в виду, что вопрос о смертной казни назревает с каждым днем. Недалеко то время, когда общество в целом решит его в том же смысле, что и мы.

Самым упрямым криминалистам следует призадуматься над тем, что за последнее столетие смертная казнь явно вырождается, она становится все мягче. Признак упадка. Признак слабости. Признак близкого конца. Исчезли пытки. Исчез-

ло колесование. Исчезла виселица. Это звучит дико, но сама гильотина является своего рода прогрессом.

Господин Гильотен был филантроп. Да, жестокая, зубастая, прожорливая Фемида Фариначчи и Вуглана, Деланкра и Исаака Луазеля, Оппеда и Машо чахнет на глазах. Она тощает. Она того и гляди испустит дух.

Вот уже и Гревская площадь открещивается от нее. Гревская площадь жаждет реабилитироваться. Старая кровопивица отлично вела себя в июле. Она хочет начать новую жизнь, стать достойной своего благородного поведения. Три столетия кряду она проституировалась всеми видами эшафотов, а теперь вдруг к ней вернулось целомудрие. Она устыдилась своего прежнего ремесла и хочет, чтобы забыли ее позорную репутацию. Она изгоняет палача. Она отмывает свою мостовую.

В настоящее время смертная казнь уже удалена из пределов Парижа. А, скажем смело, очутиться за пределами Парижа — значит очутиться за пределами цивилизации.

Все говорит в нашу пользу. По всем данным, и сама она что-то охает и кряхтит, эта гнусная машина, или, вернее, это чудище из дерева и камня,

которое оказалось для Гильотена тем же, чем Галатея для Пигмалиона. С определенной точки зрения можно рассматривать описанные нами чудовищные казни как весьма благоприятный признак. Гильотина колеблется, неисправно выполняет свои обязанности. Весь старый механизм смертной казни трещит по швам.

Мы надеемся, что мерзкая машина уберется из Франции, и если богу будет угодно, уберется хромая, потому что мы постараемся нанести ей основательный удар.

Пусть ищет пристанища у каких-нибудь варваров, не в Турции, нет, турки приобщаются к цивилизации, и не у дикарей, те не пожелают ее[17] пусть спустится еще ниже с лестницы цивилизации, пусть отправится в Испанию или в Россию.

Общественное здание прошлого держалось на трех опорах: священник, король, палач. Давно уже прозвучал голос: «Боги уходят!». Недавно другой голос провозгласил: «Короли уходят!». Пора, чтобы третий голос произнес: «Палач уходит!».

Так старый строй разрушится камень за камнем; так само провидение довершит гибель

---

[17] Примечания: 17

«Парламент» о. Таити только что отменил смертную казнь. (*Прим. автора.*)

прошлого. В утешение тем, кто жалел об ушедших богах, можно было сказать: остается бог. Тем, кто жалеет о королях, можно сказать: остается отечество. Тем, кто пожалеет о палаче, сказать нечего.

Порядок не исчезнет вместе с палачом — этого вы не бойтесь.

Здание будущего общества не рухнет оттого, что не будет этой постыдной подпоры. Цивилизация не что иное, как ряд последовательных преобразований. И вам предстоит быть свидетелями преобразования уголовного кодекса, который проникнется Христовым законом и озарится его благостным светом. Преступление будет впредь рассматриваться как болезнь, и против этой болезни найдутся свои врачи, которые заменят ваших судей, найдутся больницы, которые заменят вашу каторгу. Свобода уподобится здоровью. Маслом и бальзамом будут врачевать раны, которые прижигали железом и огнем. То зло, на которое ополчались гневом, начнут лечить милосердием. Это будет просто и величаво. Вместо виселицы — крест. Вот и все.

15 марта 1832 г.

КОМЕДИЯ ПО ПОВОДУ ТРАГЕДИИ[18]

Действующие лица

Госпожа де Бленваль.
Шевалье.
Эргаст.
Элегический поэт.
Философ.
Толстый господин.
Тощий господин.
Дамы.
Лакей.

Светская гостиная.

Элегический поэт (*читает*)

. . . . . .

. . . . . .

В лесу был слышен чей-то робкий шаг

---

[18] Примечания: 18

Мы сочли нужным напечатать здесь нижеследующее вступление в форме диалога, которое предшествовало четвертому изданию Последнего дня приговоренного к смерти. Читая его, следует помнить, какими возражениями политического, нравственного и литературного порядка были встречены первые издания этой книги. (Примечание к изданию 1832 г.)

Да над потоком хриплый лай собак;
Когда же вновь печальная Изора,
С тревогой в сердце и тоской во взоре,
На башню древнюю взошла без цели,
Лишь ропот волн услышала она,
Но не звенела нежная струна
Пленительного менестреля!

Слушатели (*хором*). Браво! Прелестно! Чудесно!

Рукоплескания.

Г-жа де Бленваль. В конце есть что-то неуловимо таинственное, от чего хочется плакать.

Элегический поэт (*скромно*). Трагедия окутана флером.

Шевалье (*качая головой*). Струна, менестрель — сплошная романтика!

Элегический поэт. Да, романтика, но романтика рациональная, подлинная романтика. Что поделаешь? Надо идти на уступки.

Шевалье. Идти на уступки! Так можно дойти до безвкусицы. Я лично все романтические стихи отдам за одно это четверостишие:

Бернар-красавчик был разбужен

Известьем с Пинда, что в зеленый грот
Любви искусство вечером придет
К искусству нравиться на ужин.

Вот истинная поэзия! «Любви искусство вечером придет к искусству нравиться»! Это я одобряю! А теперь пошли какие-то «струны», «менестрели». Никто не сочиняет мадригалов. Будь я поэт, я сочинял бы мадригалы. Но, увы, я не поэт.

Элегический поэт. Что ни говорите, а элегии... Шевалье. Нет, сударь, только мадригалы. Какой-то гость (*элегическому поэту*). Разрешите маленькое замечание. Вы пишете «древняя башня». Почему не написать «готическая»?

Элегический поэт. «Готическая» не подходит для стихов.

Тот же гость. Ну, это дело другое.

Элегический поэт (*сел на своего конька*). Видите ли, сударь, надо держать себя в узде. Я не принадлежу к числу тех, кто ломает французский стих и тянет нас назад, к Ронсарам и Бребефам. Я романтик, но умеренный. То же самое и в отношении чувств. Я признаю только нежные чувства, мечтательность, грусть. Никакой крови, никаких ужасов. Трагедию надо окутывать флером. Я знаю, есть такие безумцы, необузданные фан-

тазеры, которые... Кстати, сударыни, вы читали новую книгу?

Дамы. Какую?

Элегический поэт. Последний день...

Толстый господин. Замолчите, сударь. Я знаю, что вы имеете в виду. Одно заглавие расстраивает мне нервы.

Г-жа де Бленваль. Мне тоже. Отвратительная книга. Вот она.

Дамы. Покажите, покажите.

Книга переходит из рук в руки.

Одна из дам (*читает*). Последний день при...

Толстый господин. Сударыня, пощадите!

Г-жа де Бленваль. Ваша правда, это опасная книга. После нее ходишь как в кошмаре, чувствуешь себя разбитым.

Одна из дам (*тихо*). Непременно прочту.

Толстый господин. Приходится признать, что нравы портятся день ото дня. Господи, какая дикая мысль! Проследить, продумать, разобрать одно за другим, не упуская ничего, все физические страдания, все нравственные муки, какие должен испытать приговоренный в самый день казни! Ведь это же ужас! И поверите ли, сударыни, нашелся писатель, которого увлекла эта

мысль. И у такого писателя нашлись читатели.

Шевалье. В самом деле, непостижимая наглость.

Г-жа де Бленваль. А кто автор книги? Толстый господин. Первое издание вышло безыменным.

Элегический поэт. У этого же автора есть еще два романа... Признаюсь, я не запомнил названий. Один начинается в морге, а кончается на Гревской площади. И в каждой главе людоед пожирает младенца.

Толстый господин. Вы сами это читали, сударь?

Элегический поэт. Читал, сударь; действие происходит в Исландии.

Толстый господин. В Исландии! Какой ужас!

Элегический поэт. Кроме того, он сочиняет оды, баллады и еще что-то, где дело касается Бунаберды.

Шевалье (*смеясь*). Белиберды! Воображаю, как это звучит в стихах.

Элегический поэт. Он напечатал также драму — если можно назвать это драмой. Там имеется такая поэтическая строка:

Двадцать пятого июня пятьдесят седьмого года.

Какой-то гость. Вот так поэзия!

Элегический поэт. Гораздо проще изобразить это цифрами. Взгляните, сударыни:

25-го июня 57 года.

(*Смеется*).

Все смеются.

Шевалье. Да, современную поэзию трудно понять.

Толстый господин. Ну, об этом субъекте нечего говорить. Он просто плохой версификатор. Как, бишь, его зовут?

Элегический поэт. Его фамилию не только трудно запомнить, но и произнести трудно. Что-то близкое к готам, вестготам или остготам. (*Смеется.*)

Г-жа де Бленваль. Дурной человек.

Толстый господин. Отвратительный.

Молодая женщина. Мне говорил один его знакомый... —

Толстый господин. Вы знакомы с его знакомым?

Молодая женщина. Да. И этот знакомый говорил, что он тихий, простой человек. Живет уединенно и по целым дням возится со своими детьми.

Поэт. А по ночам он трудится над мрачными стихами. Как странно; у меня сама собой сложилась стихотворная строка:

А по ночам он трудится над мрачными стихами.

И цезура на месте. Остается только найти рифму. Нашел! «Грехами».

Г-жа де Бленваль. Quidquid tentabat dicere, versus erat[19].

Толстый господин. Вы сказали, что у этого писаки есть маленькие дети. Не верю, сударыня! У сочинителя такой книги! Такого гнусного произведения!

Один из гостей. А с какой целью он написал эту книгу?

Элегический поэт. Почем я знаю?

Философ. Он, кажется, думает этой книгой способствовать отмене смертной казни.

Толстый господин. Я же вам говорю, просто безобразие!

Шевалье. Ага! Понимаю! Поединок с палачом.

---

[19] Примечания: 19

«Что ни начнет говорить, все выходило стихом» (*лат.*). Г-жа де Бленваль перефразирует стих из автобиографии Овидия, говорящего о себе (Овидий, «Скорби», кн. 4, элегия 10, стр. 26):

Et quod tentabam scribere versus erat

(«Что ни начну я писать, все выходило стихом»).

Элегический поэт. Он яростно ополчился на гильотину.

Тощий господин. Верно, все высокопарные разглагольствования?

Толстый господин. Не угадали. Смертной казни, как таковой, там посвящено не больше двух строчек. Все остальное — только ощущения.

Философ. Крупная ошибка. По этому вопросу можно многое сказать. А драма или роман отнюдь не убедительны. Кстати, я читал книжку. Плохо написана.

Элегический поэт. Отвратительно! Разве это можно назвать искусством? Это значит перейти все границы и лезть напролом. Если бы еще преступник был какой-нибудь известный. Ничуть не бывало. Что он сделал? Никто не знает. А вдруг это какой-нибудь отпетый мерзавец? Как можно заставлять меня заниматься кем-нибудь, кого я не знаю?

Толстый господин. Никто не имеет права навязывать читателю чисто физические страдания. Когда я смотрю трагедию со всякими смертоубийствами, меня это не трогает. Но от этой книжки у человека волосы шевелятся на голове и мороз подирает по коже, а потом всю ночь мерещатся кошмары. Я два дня был болен после того, как

прочел ее.

Философ. Заметьте вдобавок, что это холодное, рассудочное литературное произведение.

Поэт. Литературное произведение!! Что вы!

Философ. Да, да. Но, как вы правильно изволили заметить, оно лишено подлинной художественности. Меня не волнует голая абстракция, идея в чистом виде. Я не вижу здесь личности, созвучной моей. А в самом слоге нет ни простоты, ни ясности. В нем чувствуется архаический душок. Ведь вы так и говорили?

Поэт. Ну, да, разумеется. Личности здесь ни к чему.

Философ. Приговоренный — совсем неинтересная фигура.

Поэт. Как он может кого-нибудь заинтересовать? Он совершил преступление и не раскаивается. Я бы написал совсем по-иному. Я бы рассказал историю жизни приговоренного. Сын благородных родителей. Отличное воспитание. Любовь. Ревность. Преступление, которое нельзя назвать преступлением. А потом угрызения, угрызения, бесконечные угрызения. Но человеческие законы неумолимы; он должен умереть. И вот тут-то я бы коснулся вопроса о смертной казни! Тут он был бы у места!

Г-жа де Бленваль. Так! Так!

Философ. Простите. В таком виде, как предлагаете вы, сударь, книга ничего бы не доказывала. Нельзя идти от частного к общему.

Поэт. Что ж! Можно придумать лучше; например, сделать героем книги Мальзерба, добродетельного Мальзерба! Описать его последний день, его казнь! Какое возвышенное, назидательное зрелище! Я бы плакал, трепетал, мне бы самому хотелось последовать за ним на эшафот.

Философ. А мне нет.

Шевалье. И мне тоже. В сущности, ваш господин де Мальзерб был революционер.

Философ. И казнь Мальзерба не может служить доводом против смертной казни вообще.

Толстый господин. А зачем заниматься смертной казнью? Какое вам дело до смертной казни? Должно быть, автор книги очень низкого происхождения, если он вздумал досаждать нам этим вопросом.

Г-жа де Бленваль. Да, да, ужасно неделикатный человек!

Толстый господин. Он водит нас по тюрьмам, по каторге, по Бисетру. Сомнительное развлечение. Всем известно, что это клоаки. Но какое до этого дело обществу?

Г-жа де Бленваль. Законы тоже не дети писали.

Философ. Ну, все-таки, если изложить факты правдиво...

Тощий господин. Ага! Именно правды тут и не видно. Откуда поэту быть осведомленным в таких делах? Для этого надо по меньшей мере занимать должность королевского прокурора. Вот, к примеру: в одной газете я прочел выдержки из этой книги; там сказано, что приговоренный не произносит ни слова, когда ему читают смертный приговор; а между тем я собственными глазами видел приговоренного, который в эту минуту громко вскрикнул. Какая же это правда?

Философ. Но позвольте...

Тощий господин. Послушайте, господа, писать о гильотине, о Гревской площади — просто дурной тон. Доказательство налицо: судя по всему, эта книга портит вкусы, не дает читателю чистых, свежих, простодушных радостей. Когда же, наконец, явятся ревнители здоровой литературы? Вот будь я членом Французской академии — к слову сказать, своими обвинительными речами я, пожалуй, и заслужил это право... А вот, кстати, и господин Эргаст, он ведь академик. Интересно узнать его мнение о Последнем дне приговорен-

ного к смерти.

Эргаст. Я его не читал и не собираюсь читать. Вчера на обеде у госпожи де Сенанж я слышал, как маркиза де Мориваль беседовала об этой книжке с герцогом де Мелькуром. Говорят, там есть выпады против судейского сословия и лично против председателя суда д'Алимона. И целая глава там будто бы направлена против религии, а другая — против монархии. Нет, будь я королевским прокурором...

Шевалье. При чем тут прокурор! А хартия? А свобода печати? И все же, согласитесь, это возмутительно, что поэт вздумал отменять смертную казнь. Посмел бы кто-нибудь при прежнем режиме опубликовать книгу против пыток!.. Но после взятия Бастилии все можно писать! Книги — это страшное зло.

Толстый господин. Страшное зло. Судите сами: жили люди спокойно, ни о чем не думая. Время от времени где-нибудь во Франции рубили кому-нибудь голову, не больше чем двум в неделю. Все это тихо, без огласки. Никто не роптал. Никого это не волновало. Так нет же, появляется книга, да такая, от которой только головную боль наживешь.

Тощий господин. Ни один присяжный, прочтя

ее, не станет выносить смертный приговор!

Эргаст. Напрасное смущение умов.

Г-жа де Бленваль. Ах, книги, книги! Кто бы ждал этого от литературного произведения?

Поэт. Ну что вы! Иные книги — сущий яд, они прямо способствуют ниспровержению общественного порядка.

Тощий господин. Не говоря уже о языке, в котором господа романтики тоже пытаются произвести переворот.

Поэт. Позвольте, сударь: романтики романтикам рознь.

Тощий господин. Во всем царит дурной тон.

Эргаст. Вы правы. Дурной тон.

Тощий господин. С этим невозможно спорить.

Философ (*склоняясь над креслом одной из дам*). О таких вещах теперь не говорят даже на улице Муфтар.

Эргаст. Фу! Какая отвратительная книга!

Г-жа де Бленваль. Стойте, не бросайте ее в огонь. Она из библиотеки.

Шевалье. Вспомните, как было в наше время. Как все испортилось с тех пор — и вкусы и нравы! Вы помните, как было в наше время, госпожа де Бленваль?

Г-жа де Бленваль. Нет, не помню.

Шевалье. Какой миролюбивый, веселый и остроумный народ были мы, французы! Пышные празднества, грациозные стихи! Прелестная жизнь! Что может быть изящнее, чем мадригал, написанный господином де Лагарпом по случаю большого бала, который супруга маршала де Мальи дала в тысячу семьсот... в год казни Дамьена!

Толстый господин (*со вздохом*). Блаженные времена! Теперь и нравы стали ужасны и книги не лучше того. Вспомните прекрасную строку из Буало:

> *Упадок искусства идет за падением нравов.*

Философ (*поэту, тихо*). В этом доме кормят ужином?

Элегический поэт. Да, потерпите немножко.

Тощий господин. Подумайте, до чего теперь дошли: задумали отменить смертную казнь и для этого пишут грубые, безнравственные книги, самого дурного тона, вроде этой, как ее: Последний день приговоренного, что ли?

Толстый господин. Прошу вас, друг мой, прекратим разговор об этой ужасной книге. А кстати, раз мне посчастливилось встретить вас, скажите, что вы собираетесь сделать с тем подсудимым,

чью жалобу мы отклонили три недели назад?

Тощий господин. Ради бога, пощадите! Я сейчас в отпуску. Дайте мне вздохнуть свободно. Потерпите до моего возвращения. Однако, если там будут тянуть, я напишу своему заместителю...

Лакей (*входя*). Сударыня, кушать подано.

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ПРИГОВОРЕННОГО К СМЕРТИ

Бисетр

I

Приговорен к смерти!

Пять недель живу я с этой мыслью, один на один с ней; она ни на миг не покидает меня, леденит меня, тяжестью своей пригибает к земле.

Когда-то — мне кажется, с тех пор прошли не недели, а годы, — я был человеком, как все люди. На каждый день, на каждый час, на каждую минуту находилась у меня новая мысль. Мой ум, свежий и молодой, был богат выдумками. Он изощрялся, развертывая их передо мной беспорядочной и бесконечной вереницей, расшивая все новыми узорами грубую и хрупкую ткань жизни. Мелькали там девичьи лица, пышные епископские облачения, выигранные битвы, шумные, горящие огнями театральные залы, и снова девичьи лица и уединенные прогулки в темноте под лапчатыми ветвями каштанов. Пир

моего воображения никогда не иссякал. Я мог думать о чем хотел, я был свободен.

Теперь я пленник. Мое тело заковано в кандалы и брошено в темницу, мой разум в плену у одной мысли. Ужасной, жестокой, неумолимой мысли! Я думаю, понимаю, сознаю только одно: приговорен к смерти!

Что бы я ни делал, жестокая мысль всегда здесь, рядом, точно гнетущий призрак, одна она, лицом к лицу со мной, несчастным, она ревниво гонит прочь все, чем можно отвлечься, и стоит мне отвернуться или закрыть глаза, как ее ледяные пальцы встряхивают меня. Она проскальзывает во все грезы, в которых мое воображение ищет прибежища от нее, страшным припевом вторит всем обращенным ко мне словам, вместе со мной приникает к ненавистным решеткам темницы, не дает мне покоя наяву, подстерегает мой тревожный сон и тут, во сне, предстает мне под видом ножа.

Вот я проснулся в испуге и подумал: «Слава богу, это только сон!» И что же! Не успел я приподнять тяжелые веки и увидеть подтверждение роковой мысли в окружающей меня ужасной яви, в мокрых и осклизлых плитах пола, в тусклом свете ночника, в грубой ткани надетого на

меня балахона, на угрюмом лице стражника, чья лядунка поблескивает сквозь решетку камеры, как уже мне почудился чей-то шепот над самым моим ухом: «Приговорен к смерти!»

II

Это было ясным августовским утром. За три дня до того начался надо мной суд, и три дня подряд туча зрителей собиралась каждое утро на приманку моего имени и моего преступления и располагалась на скамьях зала заседаний, точно воронье вокруг трупа; три дня подряд передо мной непрерывно кружил фантастический хоровод судей, свидетелей, защитников, королевских прокуроров, то карикатурный, то кровожадный, но неизменно мрачный и зловещий. Первые две ночи я не мог заснуть от возбуждения и ужаса; на третью заснул от скуки и усталости. Меня увели в полночь, когда присяжные удалились на совещание. Как только я очутился опять на соломе своей темницы, так сразу же уснул глубоким сном, сном забвения. Это был первый отдых за много дней.

Я был погружен в глубочайшие глубины сна, «когда пришли меня будить. Топот подбитых гвоздями башмаков тюремщика, бренчание связ-

ки ключей, пронзительный скрежет засова не разбудили меня, как обычно; проснулся я, только когда надзиратель грубо потряс меня за плечо и грубо крикнул мне в самое ухо: «Да вставай же!» Я открыл глаза и в испуге привскочил на своей подстилке. В этот миг сквозь высокое и узкое оконце камеры на потолке коридора, заменявшем мне небо, я увидел желтоватый отблеск — признак солнца для тех, кто привык к тюремным потемкам. Я люблю солнце.

— Погода хорошая, — сказал я тюремщику. Он сперва не ответил, как будто не решил, стоит ли потратить на меня хоть одно слово; потом пробурчал нехотя:

— Все может быть.

Я не двигался с места, еще не вполне очнувшись, улыбаясь и не спуская глаз с легких золотистых бликов на потолке.

— Хороший денек, — повторил я.

— Да, — ответил он, — вас там дожидаются. Как паутина пресекает полет мотылька, так эти слова разом вернули меня к беспощадной действительности. Словно при вспышке молнии я увидел мрачный зал заседаний, полукруг судейского стола и на нем груду окровавленных лохмотьев, три ряда свидетелей, их тупые лица, двух жандармов

на двух концах моей скамьи, увидел, как суетятся черные мантии, как проходит зыбь по головам толпы в темной глубине зала, как буравит меня взгляд двенадцати присяжных, которые бодрствовали, пока я спал.

Я поднялся; зубы у меня стучали, дрожащие руки не могли нащупать одежду, ноги подкашивались. На первом же шаге я споткнулся, точно носильщик под непосильным грузом. Тем не менее я пошел за тюремщиком.

У порога камеры меня ждали оба жандарма. Мне опять надели наручники. Там был очень хитрый замочек, который долго запирали. Я стоял безучастно — машинку прилаживали к машине.

Мы прошли через внутренний двор. Свежий утренний воздух подбодрил меня. Я поднял голову. Небо было голубое, жаркие солнечные лучи, пересеченные длинными трубами, ложились огромными треугольниками света поверх высоких и мрачных тюремных стен. Погода в самом деле была хорошая.

Мы поднялись по винтовой лестнице; прошли один коридор, потом второй, третий; потом перед нами раскрылась низкая дверца. Горячий воздух вместе с шумом вырвался оттуда и ударил мне в лицо; это было дыхание толпы в зале заседаний.

Я вошел.

При моем появлении лязгнуло оружие, загудели голоса. С грохотом задвигались скамьи; затрещали загородки; и пока я шел через длинный зал между двумя рядами солдат и толпившимися по обе стороны зрителями, у меня было такое чувство, словно на мне сходятся все нити, которые управляют этими повернутыми в мою сторону лицами с разинутыми ртами.

Только тут я заметил, что кандалов на мне нет; но не мог вспомнить, как и когда их сняли.

Вдруг настала полная тишина. Я дошел до своего места. В тот самый миг, когда улеглась сумятица в зале, улеглась и сумятица в моих мыслях. Я сразу отчетливо понял то, что лишь смутно представлял себе раньше, понял, что настала решительная минута — сейчас мне произнесут приговор.

Как ни странно, но тогда мысль эта не ужаснула меня. Окна были раскрыты, воздух и шум города свободно вливались в них; в зале было светло, как на свадьбе; веселые солнечные лучи чертили тут и там яркие отражения оконных стекол, то вытянутые на полу, то распластанные по столам, то перегнутые по углам стен; от окон, от этих ослепительных прямоугольников, как от

огромной призмы, тянулись по воздуху столбы золотистой пыли.

Судьи сидели впереди с довольным видом — верно, радовались, что дело близится к концу. На лице председателя, мягко освещенном отблеском оконного стекла, было мирное, доброе выражение; а молодой член суда; теребя свои брыжи, почти что весело болтал с хорошенькой дамой в розовой шляпке, по знакомству сидевшей позади него.

Только присяжные были бледны и хмуры — надо полагать, утомились от бессонной ночи, некоторые зевали. Так не ведут себя люди, только что вынесшие смертный приговор; на лицах этих добродушных обывателей я читал только желание поспать.

Напротив меня окно было распахнуто настежь. Я слышал, как пересмеиваются на набережной продавщицы цветов; а у наружного края подоконника из щели в камне тянулся желтенький цветочек и заигрывал с ветерком, весь пропитанный солнечным светом.

Откуда было взяться мрачной мысли посреди таких ласкающих впечатлений? Упиваясь воздухом и солнцем, я мог думать только о свободе; этот сияющий день зажег во мне надежду; и я

стал ждать приговора так же доверчиво, как ждет человек, чтобы ему даровали свободу и жизнь.

Между тем явился мой адвокат. Его дожидались Он только что позавтракал плотно и с аппетитом. Дойдя до своего места, он с улыбкой наклонился ко мне.

— Я надеюсь, — сказал он.

— Правда? — спросил я беспечно и тоже улыбнулся.

— Ну да, — подтвердил он, — их заключения я еще не знаю, но они, несомненно, отвергнут преднамеренность, и поэтому можно рассчитывать на пожизненную каторгу.

— Что вы говорите! — возмутился я. — Тогда уж во сто крат лучше смерть!

«Да, смерть! Кстати, я ничем не рискую, говоря так, — нашептывал мне внутренний голос. — Ведь смертный приговор непременно должны выносить в полночь, при свете факелов, в темном мрачном зале, холодной дождливой зимней ночью. А в ясное августовское утро, да при таких славных присяжных это невозможно!» И я снова стал смотреть на желтенький цветочек, освещенный солнцем.

Но тут председатель, поджидавший только адвоката, приказал мне встать. Солдаты взяли

на караул; словно электрический ток прошел по залу — все как один поднялись. Невзрачный плюгавый человечек, сидевший за столом пониже судейского стола, очевидно, секретарь, стал читать приговор, вынесенный присяжными в мое отсутствие. Холодный пот выступил у меня по всему телу; я прислонился к стене, чтобы не упасть.

— Защитник! Имеете ли вы что-либо возразить против применения наказания? — спросил председатель.

Я-то мог бы возразить против всего, только не находил слов. Язык прилип у меня к гортани.

Защитник встал. Я понял, что он старается смягчить заключение присяжных и подменить вытекающую из него кару другой, той, о которой он мне говорил только что, а я даже слушать не захотел.

Как же сильно было мое возмущение, если оно пробилось сквозь все противоречивые чувства, волновавшие меня! Я хотел вслух повторить то, что раньше сказал защитнику: во сто крат лучше смерть! Но у меня перехватило дыхание, я только дернул адвоката за рукав и судорожно выкрикнул:

— Нет!

Прокурор оспаривал доводы адвоката, и я слушал его с глупым удовлетворением. Потом судьи удалились, а когда вернулись, председатель прочитал мне приговор.

— Приговорен к смерти! — повторила толпа; и когда меня повели прочь, все эти люди ринулись мне вслед с таким грохотом, будто рушилось здание. Я шел как пьяный, как оглушенный. Во мне произошел полный переворот. До смертного приговора я ощущал биение жизни, как все, дышал одним воздухом со всеми; теперь же я почувствовал явственно, что между мной и остальным миром выросла стена. Все казалось мне не таким, как прежде. Широкие, залитые светом окна, чудесное солнце, безоблачное небо, трогательный желтый цветочек — все поблекло, сделалось белым, как саван. И живые люди, мужчины, женщины, дети, теснившиеся на моем пути, стали похожи на привидения.

Внизу у подъезда меня ждала черная, замызганная карета с решетками. Прежде чем сесть в нее, я окинул площадь беглым взглядом.

— Смотрите! Приговоренный к смерти! — кричали прохожие, сбегаясь к карете. Сквозь пелену, словно вставшую между мной и миром, я различил двух девушек, впившихся в меня жадными

глазами.

— Отлично! — воскликнула та, что помоложе, и захлопала в ладоши. — Это будет через шесть недель!

III

Приговорен к смерти!

Ну что тут такого? «Все люди, — помнится, прочел я в какой-то книге, где больше ничего не было примечательного, — все люди приговорены к смерти с отсрочкой на неопределенное время». Значит, ничто особенно не изменилось в моем положении. С той минуты, как мне прочли приговор, сколько умерло людей, располагавших прожить долгую жизнь! Сколько опередило меня молодых, свободных, здоровых, собиравшихся в урочный день посмотреть, как мне отрубят голову на Гревской площади! И сколько таких, которые еще гуляют, дышат свежим воздухом, уходят и приходят когда им вздумается и все же, может быть, опередят меня!

Да и о чем особенно жалеть мне в жизни? В самом деле, полумрак и черный хлеб темницы, ковшик Жидкой похлебки из арестантского котла, грубость обращения для меня, приученного к

изысканной вежливости, ругань тюремщиков и надсмотрщиков, ни единого человека, который пожелал бы перемолвиться со мной словом, непрерывное внутреннее содрогание при мысли, что сделал я и что за это сделают со мной, — вот почти единственные блага, которые может отнять у меня палач.

Нет! Все равно это ужасно!

IV

Черная карета доставила меня сюда, в этот гнусный Бисетр.

На расстоянии он имеет довольно величественный вид. Расположено все здание по гребню холма, и когда оно высится вдалеке, на горизонте, в нем еще чувствуется что-то от горделивой пышности королевского замка. Но чем ближе, тем явственнее дворец превращается в лачугу. Выщербленные кровли оскорбляют глаз. На царственном фасаде лежит клеймо постыдного упадка; стены словно изъедены проказой. В окнах не осталось ни зеркальных, ни простых стекол; они забраны толстыми железными решетками, к переплетам которых то тут, то там льнет испитое лицо каторжника или умалишенного.

Такова жизнь, когда видишь ее вблизи.

V

Сейчас же по приезде я попал в железные тиски. Были приняты чрезвычайные меры предосторожности; за едой мне не полагалось ни ножа, ни вилки. На меня надели «смирительную рубашку», нечто вроде мешка из парусины, стеснявшего движения рук; тюремные надзиратели отвечали за мою жизнь. Я подал кассационную жалобу. Значит, им предстояло промучиться со мной недель шесть-семь, чтобы целым и невредимым сохранить меня до Гревской площади.

Первые дни мне выказывали особую предупредительность, нестерпимую для меня. Забота тюремщика отдает эшафотом. По счастью, через несколько дней давние навыки взяли верх: со мной начали обращаться так же грубо, как с остальными арестантами, перестав выделять меня и отбросив непривычную вежливость, поминутно напоминавшую мне о палаче. Положение мое улучшилось не только в этом. Моя молодость, покорность, заступничество тюремного священника, а главное, несколько слов по-латыни, сказанных мною привратнику и не

понятых им, возымели свое действие: меня стали раз в неделю выпускать на прогулку вместе с другими заключенными и избавили от смирительной рубахи, сковывавшей меня. Кроме того, после долгих колебаний мне разрешили иметь чернила, бумагу, перья и пользоваться ночником.

Каждое воскресенье после обедни, в назначенный для прогулки час, меня выводят на тюремный двор. Там я разговариваю с заключенными. Иначе нельзя. К тому же эти горемыки — славные малые. Они рассказывают мне свои проделки, от которых можно прийти в ужас, но я знаю, что они просто бахвалятся. Они учат меня говорить на воровском жаргоне, «колотить в колотушку», по их выражению. Это самый настоящий язык, наросший на общенародном языке, точно отвратительный лишай или бородавка. Иногда он достигает своеобразной выразительности, живописности, от которой берет жуть: «На подносе пролит сок» (кровь на дороге), «жениться на вдове» (быть повешенным), как будто веревка на виселице — вдова всех повешенных. Для головы вора имеется два названия: «Сорбонна», когда она замышляет, обдумывает и подсказывает преступление, и «чурка», когда палач отрубает

ее; иногда в этом языке обнаруживается игривый пошиб: «ивовая шаль» — корзина старьевщика. «врун» — язык; но чаще всего, на каждом шагу, попадаются непонятные, загадочные, безобразные, омерзительные слова, неведомо откуда взявшиеся: «кат» — палач, «лузка» — смерть. Что ни слово — то будто паук или жаба. Когда слушаешь, как говорят на этом языке, кажется, будто перед тобой вытряхивают грязное и пыльное тряпье.

И все-таки эти люди — единственные, кто жалеет меня. Надзиратели, сторожа, привратники, те говорят, и смеются, и рассказывают обо мне при мне, как о неодушевленном предмете, и я на них не обижаюсь.

VI

Я решил так:

Раз у меня есть возможность писать, почему мне не воспользоваться ею? Но о чем писать? Я замурован в четырех голых холодных каменных стенах; я лишен права передвигаться и видеть внешний мир, все мое развлечение — целый день безотчетно следить, как медленно перемещается по темной стене коридора белесый прямоугольник — отблеск глазка в моей двери

и при этом, повторяю, я все время один на один с единственной мыслью, с мыслью о преступлении и наказании, об убийстве и смерти! Что же после этого я могу сказать, когда мне и делать-то больше нечего на свете? Что достойного быть записанным могу я выжать из своего иссушенного, опустошенного мозга?

Ну что ж! Пусть вокруг меня все однообразно и серо, зато во мне самом бушует буря, кипит борьба, разыгрывается трагедия. А неотступно преследующая меня мысль каждый час, каждый миг является мне в новом обличье, с каждым разом все страшней и кровожадней по мере приближения назначенного дня. Почему бы мне в моем одиночестве не рассказать себе, самому обо всем жестоком и неизведанном, что терзает меня? Материал, без сомнения, богатый; и как ни короток срок моей жизни, в ней столько еще будет смертной тоски, страха и муки от нынешнего и до последнего часа, что успеет исписаться перо и иссякнут чернила. Кстати, единственное средство меньше страдать — это наблюдать собственные муки и отвлекаться, описывая их.

А затем то, что я тут запишу, может оказаться небесполезным. Дневник моих страданий от часа к часу, от минуты к минуте, от пытки к

пытке, если только я найду в себе сил довести его до того мгновения, когда мне будет *физически* невозможно продолжать, эта повесть, неизбежно неоконченная, но исчерпывающая, мне кажется, послужит большим и серьезным уроком. Сколько поучительного для тех, кто выносит приговор, будет в этом отчете о смертном томлении человеческого разума, в этом непрерывном нарастании мучений, в этом, так сказать, духовном вскрытии приговоренного! Быть может, прочтя мои записки, они с меньшей легкостью решатся в следующий раз бросить на так называемые весы Правосудия голову мыслящего существа, человеческую голову? Быть может, они, бедняги, ни разу не задумались над тем, какой длительный ряд пыток заключен в краткой формуле смертного приговора. Хоть на миг случалось ли им вникнуть в несказанный ужас той мысли, что у человека, которого они обезглавливают, есть разум; разум, предназначенный для жизни, и душа, не мирившаяся со смертью? Нет. Они во всем этом видят только падение по отвесу треугольного ножа и не сомневаются, что для приговоренного ничего нет ни до того, ни после. Эти строки доказывают противное. Если когда-нибудь их напечатают, они хоть в малой доле помогут осознать муки со-

знания — о них-то судьи и не подозревают. Судьи гордятся тем, что умеют убивать, не причиняя телесных страданий. Это еще далеко не все. Как ничтожна боль физическая по сравнению с душевной болью! И как жалки, как позорны такого рода законы! Настанет день, когда, быть может, эти листки, последние поверенные несчастного страдальца, окажут свое действие... А может статься, после моей смерти ветер развеет по тюремному двору эти вывалянные в грязи клочки бумаги или привратник заклеит ими треснувшее окно сторожки и они сгниют на дожде.

VII

Пусть то, что я пишу, когда-нибудь принесет пользу другим, пусть остановит судью, готового осудить, пусть спасет других страдальцев, виновных или безвинных, от смертной муки, на которую обречен я, — к чему это, зачем? Какое мне дело? Когда падет моя голова, не все ли мне равно, будут ли рубить головы другим?

Как мог я додуматься до такой нелепости? Уничтожить эшафот после того, как сам я взойду на него, — скажите на милость, мне-то какая от этого корысть! Как! Солнце, весна, усеянные цветами

луга, птицы, пробуждающиеся по утрам, облака, деревья, природа, воля, жизнь — все это уже не для меня? Нет! Меня надо спасти, меня! Неужели же это непоправимо и мне придется умереть завтра или даже сегодня, неужели исхода нет? Господи! От этой мысли можно голову себе размозжить о стену камеры!

VIII

Подсчитаем, сколько мне осталось жить.

Три дня после вынесения приговора на подачу кассационной жалобы.

Неделя на то, чтобы так называемые судопроизводственные акты провалялись в канцелярии суда, прежде чем их направят министру.

Две недели они пролежат у министра, который даже не будет знать об их существовании, однако же предполагается, что по рассмотрении он передаст их в кассационный суд.

Там их рассортируют, зарегистрируют, пронумеруют; спрос на гильотину большой и раньше своей очереди никак не попадешь.

Две недели на проверку, чтобы в отношении вас не был нарушен закон.

Наконец, кассационный суд собирается обыч-

но по четвергам, оптом отклоняет до двадцати жалоб и отсылает их министру, министр, в свою очередь, отсылает их генеральному прокурору, а тот уж отсылает их палачу. На это уходит три дня.

На четвертый день помощник прокурора, повязывая утром галстук, спохватывается: «Надо же закончить это дело». И тут, если только помощник секретаря не приглашен приятелями на завтрак, приказ о приведении приговора в исполнение набрасывают начерно, проверяют, перебеляют, отсылают, и назавтра на Гревской площади с раннего утра раздается стук топоров, сколачивающих помост, а на перекрестках во весь голос кричат осипшие глашатаи.

В общем шесть недель. Та девушка верно сказала.

А сижу я здесь, в Бисетре, уже пять, если не все шесть — боюсь подсчитать, — мне кажется, что три дня тому назад был четверг.

IX

Я написал завещание.

Зачем, собственно? Меня присудили к уплате судебных издержек, и все мое достояние едва

покроет их. Гильотина — это большой расход.

После меня останется мать, останется жена, останется ребенок.

Трехлетняя девочка, прелестная, нежненькая, розовая, с большими черными глазами и длинными каштановыми кудрями.

Когда я ее видел в последний раз, ей было два года и один месяц.

Итак, когда я умру, три женщины лишатся сына, мужа, отца; осиротеют, каждая по-своему, овдовеют волею закона.

Допустим, я наказан по справедливости; но они-то, они, невинные, ничего не сделали. Все равно; они будут опозорены, разорены. Таково правосудие.

У меня болит душа не о старушке матери; ей шестьдесят четыре года, она не переживет удара. А если и протянет несколько дней, так ей было бы только немножко горячей золы в ножной грелке, она все примет безропотно.

Не болит у меня душа и о жене; у нее и так подорвано здоровье и расстроен ум. Она тоже скоро умрет, если только окончательно не лишится рассудка. Говорят, сумасшедшие долго живут; но тогда они хоть не сознают своего несчастья. Сознание у них спит, оно словно умерло.

Но моя дочка, мое дитя, бедная моя крошка Мари сейчас играет, смеется, поет, ничего не подозревая, и о ней-то у меня надрывается душа!

X

Вот подробное описание моей камеры.

Восемь квадратных футов. Четыре стены из каменных плит, под прямым углом сходящихся с плитами пола, который на ступеньку поднят над наружным коридором. Когда входишь, направо от двери нечто вроде ниши — пародия на альков. Там брошена охапка соломы, на которой полагается отдыхать и спать узнику, летом и зимой одетому в холщовые штаны и тиковую куртку.

Над головой у меня — вместо балдахина — черный, так называемый стрельчатый свод, с которого лохмотьями свисает паутина.

Во всей камере ни окна, ни отдушины. Только дверь, где дерево сплошь закрыто железом.

Впрочем, я ошибся: посреди двери, ближе к потолку, проделано отверстие в девять квадратных дюймов с железными прутьями крест-накрест; на ночь сторож при желании может закрыть его. Камера выходит в довольно длинный коридор, который освещается и проветривается через

узкие окошечки под потолком; весь этот коридор разделен каменными перегородками на отдельные помещения, сообщающиеся между собой через низенькие сводчатые дверцы и служащие чем-то вроде прихожих перед одиночными камерами, подобными моей. В такие камеры сажают каторжников, присужденных смотрителем тюрьмы к дисциплинарным взысканиям. Первые три камеры отведены для приговоренных к смерти, потому что они ближе к квартире смотрителя, что облегчает ему надзор.

Только эти камеры сохранились в нетронутом виде от старого бисетрского замка, построенного в XV веке кардиналом Винчестерским, тем самым, что послал на костер Жанну д'Арк. Об этом я узнал из разговоров «любопытствующих», которые на днях приходили сюда и смотрели на меня издали, как на зверя в клетке. Надзиратель получил пять франков за то, что пустил их.

Забыл сказать, что у двери моей камеры днем и ночью стоит караульный, и когда бы я ни поднял глаза на квадратное отверстие в двери, они встречаются с его глазами, неотступно следящими за мной.

Однако же считается, что в этом каменном мешке достаточно воздуха и света.

XI

Пока до рассвета еще далеко, на что убить ночь? Мне пришла в голову одна мысль. Я встал и принялся водить ночником по стенам камеры. Все четыре стены испещрены надписями, рисунками, непонятными изображениями, именами, которые переплетаются между собой и заслоняют друг друга. Должно быть, каждому приговоренному хотелось оставить по себе след, хотя бы здесь. Тут и карандаш, и мел, и уголь, черные, белые, серые буквы; часто попадаются глубокие зарубки в камне, кое-где буквы побурели, как будто их выводили кровью. Если бы я не был поглощен одной думой, меня, конечно, заинтересовала бы эта своеобразная книга, страница за страницей раскрывающаяся перед моим взором на каждом камне каземата. Мне любопытно было бы соединить в целое обрывки мыслей, разбросанных по плитам; из каждого имени воссоздать человека; вернуть смысл и жизнь этим исковерканным надписям, разорванным фразам, отсеченным словам, обрубкам без головы, подобным тем, кто их писал.

Над моим изголовьем изображены два пламе-

неющих сердца, пронзенных стрелой, а сверху надпись:

«Любовь до гробовой доски». Бедняга брал на себя обязательство не на долгий срок.

Рядом неумело нарисована маленькая фигурка в подобии треуголки, а под ней написано: «Да здравствует император! 1824».

Потом опять пламенеющие сердца с надписью, типичной для тюрьмы: «Люблю, боготворю Матье Данвена. Жак».

На противоположной стене фамилия: «Папавуан». Заглавное «П» разукрашено всякими завитушками.

Куплет непристойной песенки. Фригийский колпак, довольно глубоко врезанный в камень, а под ним: «Бориес. Республика». Так звали одного из четверых ларошельских сержантов. Бедный юноша! Какая гнусность эти пресловутые требования политики! За идею. За фантазию, за нечто отвлеченное — жестокая действительность, именуемая гильотиной! Как же жаловаться мне, окаянному, когда я совершил настоящее преступление, пролил кровь! Нет, больше не буду заниматься изысканиями. Я только что увидел сделанный мелом рисунок, от которого мне стало страшно, — рисунок изображал эшафот, быть

может, именно сейчас воздвигающийся для меня. Ночник едва не выпал у меня из рук.

XII

Я бросился на свое соломенное ложе, уткнулся головой в колени. Но мало-помалу детский мой ужас прошел, и болезненное любопытство побудило меня продолжать чтение этой стенной летописи.

Возле имени Папавуана я смахнул густую, окутанную пылью паутину, затянувшую весь угол. Под этой паутиной обнаружилось много имен, но от большинства из них на стене остались одни пятна, только четыре или пять можно было прочесть без труда. «Дотен, 1815. — Пулен, 1818. — Жан Мартен, 1821. — Кастень, 1823». Жуткие воспоминания связаны с этими именами: Дотен — имя того, кто разрубил на части родного брата, а потом ночью блуждал по Парижу и бросил голову в водоем, а туловище — в сточную канаву. Пулен убил жену; Жан Мартен застрелил старика отца, когда тот открывал окно; Кастень — тот самый врач, что отравил своего друга: под видом лечения он подбавлял ему отравы; и рядом с этими четырьмя — страшный безумец Папавуан,

убивавший детей ударом ножа по черепу. «Вот какие у меня были здесь предшественники», — содрогаясь всем телом, подумал я. Стоя тут, где стою я, эти кровожадные убийцы додумывали свои последние думы! В тесном пространстве под этой стеной они, как дикие звери, метались в последние часы! Промежутки между их пребыванием были очень короткие; по-видимому, этой камере не суждено пустовать. По их непростывшему следу сюда явился я. И я в свой черед последую за ними на Кламарское кладбище, где растет такая высокая трава!

Я человек несуеверный и не склонный к галлюцинациям. Возможно, что такие мысли довели меня до лихорадки; только в то время как я был поглощен ими, мне вдруг почудилось, что роковые имена выведены на темной стене огненными буквами. В ушах зазвенело, глаза заволокло кровавым маревом, и вслед за тем мне померещилось, что камера полна людей, странных людей, которые держат собственную голову в левой руке, поддев ее за губу, потому что волос ни у кого нет. И все грозят мне кулаком, кроме отцеубийцы. Я в ужасе зажмурился, но от этого все стало еще явственнее.

Не знаю, был ли то сон, фантазия или действи-

тельность, но я, несомненно, сошел бы с ума, если бы меня вовремя не отрезвило какое-то непонятное ощущение. Я уже близок был к обмороку, как вдруг почувствовал у себя на голой ноге ползущие мохнатые лапы и холодное брюшко — потревоженный мною паук удирал прочь. Это окончательно отрезвило меня. Ах, какие страшные призраки! Да нет же, то был просто дурман, порождение моего опустошенного, истрадавшегося мозга. Химера в духе Макбета! Мертвые мертвы, эти же тем более. Они накрепко замурованы в могиле, в тюрьме, из которой не убежишь. Как же я мог так испугаться? Двери гроба не открываются изнутри.

XIII

На днях я видел омерзительное зрелище.

Не успело еще рассвести, как тюрьма наполнилась шумом. Хлопали тяжелые двери, скрежетали засовы, щелкали висячие замки, звякали связки ключей у пояса надзирателей, сверху донизу сотрясались лестницы под торопливыми шагами, и голоса перекликались по длинным коридорам из конца в конец. Соседи мои по каземату, отбывавшие наказание, были веселее обычного. Казалось,

весь Бисетр смеется, поет, суетится, пляшет.

Я один, безмолвный среди общего гама, недвижный среди общей беготни, внимательно и удивленно прислушивался.

Мимо прошел надзиратель. Я решился окликнуть его и спросить, не праздник ли сегодня в тюрьме.

— Пожалуй, что и праздник! — отвечал он. — Сегодня будут надевать кандалы на каторжников, которых завтра отправляют в Тулон. Хотите поглядеть? Малость развлечетесь.

В самом деле, одинокий узник рад любому зрелищу, даже самому отвратительному. Я согласился. Приняв, как полагается, меры, исключающие возможность побега, надзиратель отвел меня в маленькую пустую камеру безо всякой мебели с забранным решеткой окном, но с окном настоящим, из которого было видно небо.

— Ну вот, — сказал надзиратель, — отсюда все видно и слышно. Тут вы будете, как король в своей ложе.

Уходя, он запер меня на ключ, на засов и на замок.

Окно выходило на обширный квадратный двор, со всех четырех сторон, точно стеной, огороженный огромным каменным зданием в семь

этажей. Какое безрадостное зрелище представлял собой этот обветшалый, голый четырехсторонний фасад, с множеством забранных решетками окон, к которым на всех этажах прижимались испитые, мертвенно бледные лица, одно над другим, словно камни в стене, и каждому служили своего рода рамкой железные переплеты решетки. Это были заключенные, зрители той церемонии, участниками которой они станут рано или поздно. Так, должно быть, души грешников льнут к окошкам чистилища, выходящим в ад.

Все молча смотрели во двор, пока еще безлюдный.

Все ждали. Среди хмурых лиц и тусклых взглядов изредка попадались зоркие, живые, горящие, как уголь, глаза.

Прямоугольник тюремных строений, окружающих двор, замкнут не наглухо. В одном крыле (в том, что обращено на восток) есть посередине проем, загороженный железной решеткой. За решеткой находится второй двор, поменьше первого, но тоже обнесенный стенами с потемневшими вышками.

Вокруг всего главного двора, вдоль стен тянутся каменные скамьи. А посредине врыт железный столб с изогнутым в виде крюка концом, на кото-

рый полагается вешать фонарь.

Пробило полдень. Большие ворота, скрытые под сводом, внезапно распахнулись. Громыхая железом, во двор грузно вкатилась телега под конвоем неопрятных, отталкивающего вида солдат в синих мундирах с красными погонами и желтыми перевязями. Это стража привезла кандалы. Грохот телеги сразу же вызвал ответный шум во всей тюрьме; зрители, до той минуты молча и неподвижно стоявшие у окон, разразились улюлюканьем, угрозами, ругательствами, — все это вперемежку с куплетами каких-то песенок и взрывами хохота, от которого щемило сердце. Вместо лиц — дьявольские хари. Рты перекосились, глаза засверкали, каждый грозил из-за решетки кулаком, каждый что-то вопил. Я был потрясен, увидев, сколько непогасших искр таится под пеплом.

Тем временем полицейские, среди которых затесалось несколько зевак из Парижа, приметных по опрятному платью и перепуганному виду, невозмутимо принялись задело. Один из них взобрался на телегу и стал швырять остальным цепи, шейные кольца для дороги и кипы холщовых штанов. Затем они поделили работу: одни раскладывали на дальнем конце двора длинные

цепи, называя их на своем жаргоне «бечевками», другие разворачивали прямо на земле «шелка», иначе говоря штаны и рубахи; а наиболее опытные, под надзором своего начальника, приземистого старикашки, проверяли железные ошейники, испытывали их прочность, выбивая ими искры из каменных плит. Язвительные возгласы заключенных перекрывал громкий смех каторжников, для которых все это готовилось и которые сгрудились у окон старой тюрьмы, выходивших на малый двор.

Когда приготовления были закончены, господин в расшитом серебром мундире, которого величали «господин инспектор», отдал какое-то распоряжение смотрителю тюрьмы; не прошло и минуты, как из двух или трех низеньких дверей одновременно во двор с воем хлынула орава ужасающих оборванцев. При их появлении улюлюканье из окон стало еще громче. Некоторых из них — прославленных представителей каторги — встречали приветственными криками и рукоплесканиями, а они принимали это как должное, с горделивым достоинством. Многие из каторжников нарядились в самодельные, сплетенные из тюремной соломы шляпы необычайной формы, чтобы, проезжая через города, шляпами привле-

кать к себе внимание. Обладатели шляп снискали еще большее одобрение. Особый взрыв восторга вызвал юноша лет семнадцати с девическим лицом. Он только что отсидел неделю в карцере и там сплел себе из соломенной подстилки полный костюм; во двор он вкатился колесом, показав змеиную гибкость. Это был уличный гимнаст, осужденный за кражу. Его приветствовали бурей рукоплесканий и восторженных криков. Каторжники отвечали такими же криками, и от этого обмена любезностями между каторжниками настоящими и каторжниками будущими вчуже становилось страшно.

Хотя общество и присутствовало здесь в лице тюремных надзирателей и перепуганных зевак, преступные отщепенцы нагло бросали ему вызов, превращая жестокое наказание в семейный праздник.

По мере появления осужденных, их гнали через два ряда стражников во второй двор, где им предстоял врачебный осмотр. И тут каждый делал последнюю попытку избежать отправки на каторгу, ссылался на какой-нибудь изъян: на больные глаза, на хромоту, на повреждение руки. Но почти во всех случаях их признавали годными для каторжных работ; и каждый беспечно

покорялся, сразу же забывая о мнимом недуге, от которого якобы страдал всю жизнь.

Решетчатые ворота в малый двор распахнулись снова; один из стражников начал выкликать имена в алфавитном порядке; каторжники выходили один за другим, и каждый становился в дальнем углу большого двора рядом с тем, кого судьба назначила ему в товарищи только потому, что их фамилии начинаются с одной буквы. Таким образом, каждый предоставлен самому себе; каждый обречен нести свою цепь бок о бок с чужим человеком; и если судьба даровала каторжнику друга — цепь их разлучит. Это предел невзгод!

Когда набралось человек тридцать, ворота закрыли. — Полицейский выровнял весь ряд палкой и бросил перед каждым рубаху, куртку и штаны из грубой холстины, после чего, по его знаку, все начали раздеваться. По непредвиденной случайности это унижение превратилось в пытку.

До той минуты погода была сносная; правда, резкий октябрьский ветер нагонял холод, однако он же время от времени разрывал серую пелену туч, и сквозь просвет проглядывало солнце. Но едва только каторжники сбросили тюремное тряпье и предстали голыми перед бдительным оком

надзирателей и любопытствующими взглядами посторонних, которые осматривали их со всех сторон и особенно интересовались плечами, небо внезапно потемнело и хлынул холодный осенний дождь, заливая потоками воды прямоугольник двора, непокрытые головы и обнаженные тела каторжников и убогую их одежду, разостланную на земле.

В один миг на тюремном дворе не осталось никого, кроме осужденных и стражников. Парижские зеваки спрятались под навесами над дверьми.

А ливень не унимался. На залитых водой плитах двора стояли теперь только голые, вымокшие до костей каторжники. Угрюмое молчание сменило шумный задор. Несчастные дрожали, у них зуб на зуб не попадал, их костлявые ноги и узловатые колени стукались; мучительно было смотреть, как они пытались прикрыть свои посиневшие тела насквозь мокрыми рубахами, куртками и штанами. Нагота была бы менее жалка.

Только один старик пытался еще зубоскалить. Утираясь промокшей рубахой, он заявил, что «это не входило в программу», потом громко расхохотался и погрозил кулаком небу.

Когда они оделись в дорожное платье, их раз-

били на группы в двадцать — тридцать человек и повели на другой конец двора, где оковы уже лежали наготове. Оковы представляют собой длинную и крепкую цепь, к которой через промежутки в два фута припаяны другие, поперечные, цепи покороче, заканчивающиеся четырехугольным железным ошейником; открывается ошейник с помощью шарнира, находящегося в одном его углу, запирается в противоположном углу железным болтом, который заклепывают на шее каторжника на все время пути.

Разостланные на земле оковы очень напоминают рыбий скелет.

Каторжников заставили сесть прямо в грязь на залитые водой плиты и примерили им ошейники; потом два тюремных кузнеца, вооруженных переносными наковальнями, закрепили болты холодной клепкой, изо всей силы колотя по ним железным брусом. Это страшное испытание, от которого бледнеют самые отважные. При каждом ударе молота по наковальне, прижатой к спине мученика, у него отчаянно дергается подбородок: стоит ему чуть отклонить голову, и череп его расколется, точно ореховая скорлупа.

После этой операции все пали духом. Теперь слышалось только звяканье цепей да временами

чей-то крик и глухой удар палкой по спине непокорного. Некоторые плакали: старики дрожали всем телом и кусали губы. Я с содроганием смотрел на страшные профили в железной оправе.

Итак, после врачебного осмотра — осмотр тюремщиками, а после этого — заковка в цепи. Три действия трагедии.

Выглянуло солнце и как будто зажгло ореол вокруг голов арестантов. Все прикованные к пяти цепям поднялись сразу, одним судорожным движением. И все взялись за руки, так что вокруг фонарного столба вдруг сомкнулся огромный хоровод. Они кружились так, что рябило в глазах. И при этом пели песню каторжников, воровской романс, и напев был то жалобный, то бесшабашно-веселый; время от времени слышались взвизгивания, отрывистый, хриплый хохот вперемежку с загадочными словами; потом вдруг поднимался яростный крик, и размеренно звякавшие цепи вторили этому пению, режущему слух сильнее, чем лязг железа. Если бы я задумал описать шабаш, то изобразил бы его именно таким — не лучше и не хуже.

Во двор внесли огромный чан. Стражники палками разогнали хоровод и повели арестантов к этому чану, где какая-то зелень плавала в дымя-

щейся грязной жидкости. Они принялись за еду.

Поев, они выплеснули на землю остатки похлебки, бросили корки пеклеванного хлеба и возобновили пение и пляску. Говорят, им разрешают петь и плясать весь день и всю ночь, после того как их закуют в кандалы.

Я наблюдал это необычайное зрелище с таким жадным, с таким трепетным и страстным интересом, что даже забыл о себе. Мне до глубины души было жаль их, а когда они смеялись, мне хотелось плакать.

И вдруг, сквозь глубокую задумчивость, овладевшую мной, я заметил, что орущий хоровод остановился и замолчал. Все взгляды обратились к моему окну...

— Смертник! Смертник! — хором завопили все, — указывая на меня пальцами, и радостный рев поднялся с удвоенной силой.

Я замер на месте. Не имею понятия, откуда они знали меня и как они могли меня узнать.

— Добрый день! Добрый вечер! — глумливо кричали они мне.

Один из них, совсем молодой парнишка с потным, прыщавым лицом, приговоренный к пожизненной каторге, с завистью посмотрел на меня и сказал:

— Хорошо ему! *Чик* и готово! Прощай, товарищ!

Невозможно описать, что происходило во мне. В самом деле — я их товарищ. Гревская площадь сродни Тулону. Вернее, я ниже их: они снисходят до меня. Я содрогнулся.

Да, их товарищ! Через несколько дней я сам мог бы доставить им не худшее зрелище.

Я застыл у окна, без сил, без движения, как парализованный. Но когда все пять цепей надвинулись, ринулись на меня с возгласами непрошеного, ненавистного мне дружелюбия, когда лязг кандалов и топота послышались под самым моим окном, мне показалось, что этот рой бесов сейчас взберется сюда, в мою беззащитную каморку, и я с отчаянным криком бросился к двери, стал изо всех сил трясти ее, но дверь не поддавалась. Засовы были задвинуты снаружи. Я стучал, я звал на помощь. А тем временем страшные вопли каторжников еще как будто приблизились. Мне, почудилось, что их дьявольские рожи заглядывают в мое окно, я вскрикнул еще раз и упал без; чувств.

XIV

Когда я очнулся, было темно. Я лежал на убогой койке; мерцавший под потолком фонарь освещал другие койки, стоявшие в ряд по обе стороны от моей. Я понял, что меня перенесли в лазарет.

Несколько мгновений я лежал с открытыми глазами, ни о чем не думал и не вспоминал, только наслаждался тем, что нахожусь в постели. Конечно, в былое время я бы с омерзением и обидой отшатнулся от такой больничной, тюремной постели; но теперь я стал другим человеком. Простыни были сероватые и шершавые, одеяло дырявое и тощее; сквозь жидкую ткань тюфяка выпирала солома, — все равно! Тело мое отдыхало и нежилось на грубых простынях, а как ни тонко было одеяло, под ним впервые за долгое время я перестал ощущать нестерпимый пронизывающий холод. Я снова уснул.

Разбудил меня сильный шум; только что начало светать. Шум доносился со двора; койка моя стояла у окна, я привстал посмотреть, что случилось.

Окно выходило на большой тюремный двор. Двор был полон народа; выстроившаяся в два

ряда инвалидная команда с трудом сдерживала напор толпы, чтобы освободить узкий проезд через весь двор. Между шпалерами солдат медленно двигались, трясясь на булыжниках, пять длинных телег, набитых людьми, — это увозили каторжников.

Телеги были без навеса. На каждую цепь приходилось по телеге. Каторжники сидели боком, по обоим ее бортам, прислонясь друг к другу; их разделяла общая цепь, которая тянулась во всю длину телеги, а на конце стоял вооруженный стражник. Звякали кандалы, при каждом толчке дергались головы и мотались свисавшие ноги.

Мелкий ледяной дождь пронизывал людей насквозь, холщовые штаны из бурых стали черными и прилипли к коленям. С длинных бород и обритых голов стекала вода; лица посинели; видно было, что несчастные дрожат и скрипят зубами от ярости и холода. При этом они были лишены возможности даже пошевелиться. После того как человека закуют, он становится частью страшного механизма, именуемого общей цепью, где все двигаются как один. Разумное начало теряет право существовать, железный ошейник обрекает его на смерть; остается животное, которому разрешено утолять свои потребности и

нужды только в определенные часы. Так, сидя без движения, беспомощно свесив ноги, полуголые люди с непокрытыми головами начинали двадцатипятидневное путешествие на тех же телегах и в той же одежде — ив июльский зной, и в ноябрьское ненастье. Человечество как будто стремится, чтобы небо разделяло с ним карательные функции.

Между толпой и сидевшими в телегах шел своеобразный диалог: поношения с одной стороны, похвальбы с другой и ругань с обеих сторон; но начальник конвоя сделал знак, и палочные удары без разбора посыпались на всех, кто сидел в телегах, на их головы и плечи, и вскоре видимость спокойствия, которая именуется *порядком*, была восстановлена. Однако в глазах несчастных отщепенцев горела жажда мести, а лежавшие на коленях кулаки яростно сжимались.

Пять телег, конвоируемых пешими стражниками и конными жандармами, одна за другой скрылись под высоким сводом тюремных ворот; за ними последовала еще одна, шестая, на которой были вперемежку свалены котлы, миски и запасные цепи. Несколько запоздавших стражников выбежали из харчевни и бросились догонять свой отряд. Толпа рассеялась. Все сразу исчезло,

как фантастическое видение. В воздухе постепенно растаял грохот колес и стук копыт по мощеной дороге на Фонтенбло, щелканье бичей, бряцание кандалов и рев толпы, желавшей каторжникам несчастливого пути.

И это для них только начало! О чем толковал мне адвокат? О галерах! Нет, нет, во сто крат лучше смерть! Лучше эшафот, чем неволя, лучше небытие, чем ад; лучше подставить шею под нож Гильотена, чем под железное ярмо каторги. Боже правый, только не галеры!

XV

К несчастью, я не был болен. На другой день меня взяли из лазарета и снова заперли в темнице.

Не болен! Нет, я молод, здоров и силен. Кровью свободно течет у меня в жилах; все мышцы повинуются всем моим прихотям; я крепок духом и телом, создан для долгой жизни; все это несомненно; и тем не менее я болен, смертельно болен, и болезнь моя — дело рук человеческих.

С тех пор как я вышел из лазарета, меня терзает, сводит с ума одна мысль, безумная мысль, что я мог бы бежать, если бы меня оставили там. И врачи и сестры милосердия проявляли ко мне

явный интерес. Такой молодой и обречен на такую смерть! Казалось, им жаль меня, так они суетились возле моей постели. Э! Что там! Просто любопытство! И потом эти целители обязаны исцелять от болезней, но не от смертного приговора. А как бы им это было легко! Только открыть дверь! Такое пустое дело!

Теперь уж ни малейшей надежды. Жалоба моя будет отклонена, потому что все делалось по закону; свидетели свидетельствовали правильно, защитники защищали правильно, судьи судили правильно. На это я не рассчитываю, разве что... Нет, вздор! Нечего надеяться! Кассационная жалоба — это веревка, которая держит человека над пропастью и ежеминутно грозит порваться, пока не оборвется в самом деле. Будто нож гильотины занесен над головой шесть недель подряд.

А вдруг меня помилуют? Помилуют! Но кто? Почему? И как?.. Не могут меня помиловать. Говорят, нужно показать пример.

Мне осталось всего три этапа: Бисетр, Консьержери, Гревская площадь.

XVI

За тот короткий срок, что меня продержали в лазарете, я успел посидеть у окна на солнце — оно показалось снова, — вернее, — пол учить от солнца то, что пропускали решетки на окне.

Я сидел, опустив отяжелевшую и одурманенную голову на руки, которым не под силу была их ноша, локтями опирался на колени, а ноги поставил на перекладину стула, ибо я так подавлен, что все время сгибаюсь и съеживаюсь, как будто в теле моем не осталось ни костей, ни мышц.

Спертый воздух тюрьмы душил меня больше, чем когда-либо, в ушах все еще звучал лязг кандалов, Бисетр стал мне нестерпим. Господь бог, думал я, мог бы сжалиться надо мной и послать мне хоть птичку, чтобы она попела немножко на крыше напротив окна.

Не знаю, господь или дьявол услышал меня, только почти в ту же минуту под моим окном зазвучал голос, — не птички, нет, гораздо лучше: чистый, свежий, нежный голос пятнадцатилетней девушки. Я встрепенулся, поднял голову и стал жадно вслушиваться. Напев был медлительный и томный, похожий на грустное и жалобное

воркование; вот слова песни:

На улице Дю-Майль
Зашился я в капкан.
Жандармы поймали,
Связали по рукам.

Не могу выразить, как горько я был разочарован; а голос все пел:

Надели наручники,
И кончен разговор.
Спасибо, на дороге
Стоял знакомый вор.
Товарищ, товарищ,
С тобой поговорю,
Скажи моей девчонке,
Что я сыграл игру.
Скажи моей девчонке,
Пусть денег не шлет,
Убил я человека
За толстый кошелек.
За часики с цепочкой
За шляпу и пальто,
За темную ночку,

За черт знает что.
Пускай в Версаль поедет,
Попросит короля,
Не даст ли снисхожденье
Убийце, тру-ля-ля.
Пускай подаст прошенье.
За это, мой гонец,
Я подарю ей туфли
И ленту на чепец.
Король читать не станет.
Велит перед зарей
Плясать мне мой танец
Меж небом и землей[20].

Дальше я не слышал и не в силах был слушать. Наполовину внятный, а наполовину скрытый смысл этой омерзительной песенки о борьбе разбойника с жандармами, о встрече с вором, которого он посылает к жене со страшной вестью: я убил человека, и меня поймали, «зашился я в капкан»; о женщине, которая поспешила в Версаль с прошением, и о короле, который разгневался и велит преступнику «плясать свой танец меж

---

[20] Примечания: 20
Перевод Павла Антокольского.

небом и землей»; и при этом нежнейшая мелодия, пропетая нежнейшим голоском, когда-либо баюкавшим человеческий слух!.. Я оцепенел, я был подавлен, уничтожен... Противоестественны были такие гнусные слова на румяных и свежих устах. Точно след слизняка на лепестке розы.

Я не в силах передать свои чувства; мне было и больно и сладко слушать язык вертепа и каторги, жестокий и живописный говор, грязный жаргон в сочетании с девичьим голоском, прелестным переходом от голоса ребенка к голосу женщины! Слышать эти уродливые, исковерканные слова в плавных переливчатых звуках песни!

Ох, какая подлая штука — тюрьма! Своим ядом она отравляет все. Все в ней замарано — даже песенка пятнадцатилетней девушки! Увидишь там птичку — на крыле у нее окажется грязь; сорвешь красивый цветок — от него исходит зловоние.

XVII

Ах, если бы мне удалось вырваться отсюда, как бы я побежал в поля!

Нет, бежать не следует. Это привлечет внимание, наведет на подозрения. Надо, наоборот, идти m спеша, подняв голову, напевая песню. Хорошо

бы добыть старый фартук, синий в красных разводах. В нем легче проскользнуть незамеченным. Все окрестные огородники ходят в таких.

Подле Аркейля есть густой лесок, а рядом болото, куда я, когда учился в коллеже, каждый четверг ходил с друзьями-школьниками ловить лягушек. Там я могу укрыться до вечера.

Когда совсем стемнеет, я пойду дальше. В Венсен. Нет, туда не пробраться из-за реки. Ну так я пойду в Арпажон. — Лучше было бы свернуть на Сен-Жермен и добраться до Гавра и оттуда отплыть в Англию. — Ах, не все ли равно! Допустим, я очутился в Лонжюмо. Проходит жандарм; спрашивает у меня паспорт. — Все погибло!

Эх ты, злосчастный мечтатель! Сломай сперва стены в три фута толщиной, в которых ты заточен. Нет, смерть! Смерть!

Подумать только, что я совсем ребенком приезжал сюда, в Бисетр, смотреть на большой колодезь и на умалишенных!

XVIII

Пока я все это писал, свет лампы потускнел, настал день, на часах тюремной колокольни пробило шесть.

Что это значит? Дежурный надзиратель только что был у меня в камере; войдя, он снял картуз, попросил извинения, что потревожил меня, и спросил, сколько возможно смягчив свой грубый голос, чего я желаю на завтрак...

Дрожь охватила меня. Неужели это будет сегодня?

XIX

Это будет сегодня!

Сейчас ко мне пожаловал сам смотритель тюрьмы. Он спросил, чем может быть мне полезен или приятен, так как ему желательно, чтобы у меня не было поводов жаловаться на него или на его подчиненных, участливо осведомился, как я себя чувствую и как провел ночь; на прощание он назвал меня «сударь».

Это будет сегодня!

XX

Мой тюремщик считает, что у меня нет поводов жаловаться на него и на его помощников. Он прав. С моей стороны было бы дурно жаловаться

на них — они исполняли свою обязанность, зорко стерегли меня; и потом они были учтивы при встрече и прощании. Чего же мне еще надобно?

Добродетельный тюремщик с благодушной улыбкой, с медоточивыми речами, со взглядом льстеца и шпиона, с большими мясистыми руками — это олицетворение тюрьмы. Это Бисетр в образе человека. Вокруг меня всюду тюрьма; я вижу тюрьму во всех возможных обличиях, в человеческом облике и в виде решеток и запоров. Вот стена — это тюрьма, выраженная в камне; вот дверь — это тюрьма, выраженная в дереве; а надзиратели — это тюрьма, претворенная в плоть и кровь. Тюрьма — страшное чудовище, незримое и по-своему совершенное, в котором человек дополняет здание. И я его жертва; оно схватило меня, обвило всеми своими щупальцами. Оно держит меня в своих гранитных стенах, под своими железными замками, и сторожит своими зоркими глазами, глазами тюремщика.

О господи, что ждет меня, горемычного? Что они сделают со мной?

XXI

Я успокоился. Все кончено, кончено бесповоротно. Я поборол жестокое смятение, в которое поверг меня приход смотрителя. Сознаюсь, тогда я еще надеялся. Теперь, благодарение Творцу, я больше не надеюсь.

Вот что за это время произошло. В ту минуту, когда часы били половину седьмого — нет, без четверти семь, — дверь камеры открылась снова. Вошел седовласый старик в коричневом рединготе. Он распахнул редингот. Я увидел сутану и брыжи. Это был священник.

Но не тюремный священник. Зловещий признак.

Патер сел напротив меня, приветливо улыбаясь; потом покачал головой и возвел глаза к небу, вернее к потолку темницы. Я понял его.

— Сын мой, вы приготовились? — спросил он. Я ответил ослабевшим голосом:

— Я не приготовился, но я готов.

И в то же время в глазах у меня потемнело, холодный пот выступил по всему телу, в висках застучало, в ушах начался шум.

Пока я, как сонный, качался на стуле, привет-

ливый старик говорил. По крайней мере мне так казалось; насколько я припоминаю, он шевелил губами, размахивал руками, поблескивал глазами.

Дверь отворилась еще раз. Грохот засовов вывел меня из оцепенения и прервал его речь. В сопровождении смотрителя появился приличного вида господин в черном фраке и отвесил мне глубокий поклон. Лицо этого человека, как лица факельщиков, выражало казенную скорбь. В руках он держал свернутую бумагу.

— Сударь, — с учтивой улыбкой обратился он ко мне, — я судебный пристав при парижском королевском суде. Имею честь доставить вам послание от господина генерального прокурора.

Первое потрясение прошло. Присутствие духа полностью вернулось ко мне.

— Помнится, господин генеральный прокурор настойчиво требовал моей головы, — ответил я. — Весьма польщен, что он ко мне пишет. Надеюсь, моя смерть доставит ему истинное удовольствие. Иначе мне обидно было бы думать, что он с таким жаром добивался ее, а на самом деле ему это безразлично.

Вслед за тем я потребовал твердым голосом:

— Читайте, сударь!

Он принялся читать длинный документ, нараспев заканчивая каждую строку и запинаясь на каждом слове. Из документа явствовало, что моя жалоба отклонена,

— Приговор будет приведен в исполнение на Гревской площади, — добавил он, кончив читать и не поднимая глаз от гербовой бумаги. — Ровно в половине восьмого мы отправимся в Консьержери. Милостивый, государь! Надеюсь, вы не откажете в любезности последовать за мной?

Я с некоторых пор перестал слушать. Смотритель разговаривал со священником; судебный пристав не отрывал глаз от бумаги; а я смотрел на дверь, оставшуюся полуоткрытой... «Несчастный фантазер! В коридоре четверо вооруженных солдат!»

Судебный пристав повторил свой вопрос и на этот раз посмотрел на меня.

— К вашим услугам! Когда пожелаете! — ответил я.

Он поклонился мне:

— Через полчаса я позволю себе явиться за вами. После этого меня оставили одного. Господи, только бы убежать, убежать каким угодно способом! Я должен вырваться отсюда, должен не медля ни минуты. Через двери, через окна,

через крышу, даже оставляя клочья мяса на стропилах!

О бессилье; проклятье, дьявольская насмешка! Месяцы нужны, на то, чтобы пробить эту стену хорошим Я инструментом, а у меня нет ни гвоздя, ни часа времени!

XXII

Из Консьержери

Говоря языком официальных бумаг, я переведен сюда.

Однако путешествие мое стоит описать. Едва пробило половину восьмого, как судебный пристав снова появился на пороге камеры.

— Сударь, я жду вас, — заявил он.

Увы! Меня ждал не только он!

Я встал, сделал шаг; мне казалось, что на второй у меня не хватит сил, — такую тяжесть я ощущал в голове и слабость в ногах. Немного погодя я овладел собой и пошел к двери довольно твердой поступью. С порога я бросил последний взгляд на свою убогую камеру. Она стала мне дорога. Я вышел, оставив ее пустой и незапертой. Непривычный вид для темницы.

Впрочем, она недолго будет пустовать. Сторо-

жа говорили, что сегодня вечером ждут нового постояльца, которого в настоящую минуту суд присяжных спешит приговорить к смерти. За поворотом коридора нас нагнал тюремный священник. Он кончал завтрак.

При выходе из тюрьмы смотритель сердечно пожал мне руку и усилил мой конвой четырьмя инвалидами.

Какой-то умирающий старик крикнул мне с порога лазарета:

— До свидания!

Когда мы очутились во дворе, я вздохнул полной грудью, и мне стало лучше.

Но нам недолго пришлось идти по свежему воздуху. В первом дворе стояла запряженная почтовыми лошадьми карета, та самая, что доставила меня сюда, — это была двуколка продолговатой формы, разделенная поперек проволочной загородкой, частой, как вязание. В каждом отделении есть дверцы, в одном — впереди, в другом — позади. А все в целом до того грязно, засалено, пропылено, что похоронные дроги для бедняков покажутся коронационной каретой по сравнению с этой колымагой.

Прежде чем меня поглотил этот склеп на двух колесах, я окинул двор прощальным взглядом,

полным такого отчаяния, от которого должны бы сокрушиться стены. Во двор, представлявший собою небольшую площадку, обсаженную деревцами, набилось еще больше зевак, чем в тот день, когда увозили каторжников. И тут уже толпа! Как и тогда, моросил осенний дождь, мелкий и холодный; он идет и сейчас, пока я пишу эти строки, и, наверно, будет идти весь день, который кончится после меня.

Дороги были размыты, двор — весь в лужах. Мне доставило удовольствие смотреть, как толпа топчется в грязи.

Мы сели, судебный пристав и один из жандармов — в первое отделение, я вместе со священником и другим жандармом — во второе. Четыре конных жандарма окружили карету. Итак, не считая кучера, восемь человек ради одного.

Садясь в карету, я слышал, как старуха с выцветшими глазами говорила в толпе:

— Это куда забавнее, чем каторжники.

Я ее понимаю. Это зрелище, которое схватываешь сразу, одним взглядом. Оно так же занимательно, но смотреть на него удобнее. Ничто не отвлекает и не рассеивает внимания. Тут один лишь участник, и в нем одном сосредоточено столько несчастья, сколько во всех каторжниках,

вместе взятых. Это сгущенный и потому особенно пряный настой.

Повозка тронулась. Она гулко прокатилась под сводом главных ворот, потом выехала на аллею, и тяжелые створки Бисетра захлопнулись за ней. Я застыл в оцепенении и только чувствовал, что меня везут, как человек, впавший в летаргический сон, чувствует, что его хоронят заживо, и не может ни пошевелиться, ни крикнуть. Я смутно слышал, как отрывисто звякают связки бубенцов на шее у почтовых лошадей, как колеса грохочут по камням или стукаются об кузов на ухабах, как цокают вокруг повозки копыта жандармских коней, как щелкает бич. Все это сливалось в один вихрь, уносивший меня.

Сквозь прутья окошечка, проделанного напротив меня, я увидел надпись, высеченную крупными буквами над главными воротами Бисетра, и машинально прочел ее: «Убежище для престарелых».

«Вот как, — подумал я, — оказывается, тут люди доживают до старости».

И как бывает в полудремоте, мой мозг, скованный страданием, занялся этой мыслью, стал передумывать ее на все лады. Но тут карета свернула с аллеи на проезжую дорогу, и картина в

окошечке изменилась. В нем возникли теперь башни Собора Богоматери, чуть синевшие, полустертые в дымке, окутавшей Париж. И сразу же, механически следуя за движением кареты, изменились мои мысли. Теперь я думал не о Бисетре, а о башнях Собора Богоматери. «Тем, кто заберется на башню, где поднят флаг, будет очень хорошо видно», — сказал я себе, бессмысленно улыбаясь.

Кажется, именно в эту минуту священник опять заговорил со мной. Я терпеливо слушал его. В ушах у меня и без того громыхали колеса, стучали копыта, щелкал бич. А теперь прибавился еще лишний шум, только и всего.

Я молча терпел этот однотонный поток слов, которые усыпляли мой мозг, как журчание фонтана, и скользили мимо меня, как будто бы разные и в то же время одинаковые, подобно искривленным вязам вдоль дороги, как вдруг скрипучий, заикающийся голос судебного пристава вывел меня из забытья.

— Что скажете, господин аббат, что слышно новенького? — почти веселым тоном обратился он к священнику.

Тот сам что-то неумолчно говорил мне и, не расслышав его слов из-за грохота колес, ничего не ответил.

— Вот проклятая таратайка! — во весь голос рявкнул пристав, стараясь заглушить громыхание повозки. В самом деле — проклятая.

— А все ухабы, — продолжал он, — трясет так, что самого себя не слышишь. О чем, бишь, я говорил? Будьте так добры, господин аббат, напомните мне, о чем я говорил? Да, знаете последнюю парижскую новость?

Я вздрогнул всем телом, словно речь шла обо мне.

— Нет, — ответил священник, наконец услышавший его, — я не успел с утра прочесть газеты. Прочитаю вечером. Когда у меня весь день занят, как сегодня, я прошу привратника сохранить мне газеты и, вернувшись, просматриваю их.

— Что вы! Быть не может, чтобы до вас не дошла такая новость! Свежая парижская новость! Тут я вступил в разговор:

— Мне кажется, я знаю ее. Судебный пристав посмотрел на меня.

— Вы? В самом деле! И каково же ваше мнение?

— Вы чересчур любопытны.

— Почему? — возразил судебный пристав. — У каждого свои политические убеждения. Я настолько уважаю вас, что не сомневаюсь — у

вас они тоже имеются. Я лично всецело стою за восстановление националы ной гвардии. Я был сержантом в роте, и, право же, приятно вспомнить о тех временах.

— Я думал, что речь идет совсем о другом, — перебил я.

— О чем же еще? Вы говорили, что знаете последнюю новость,

— Я подразумевал другую новость, которая тоже занимает сегодня Париж.

Дурак не понял меня: любопытство его разгорелось.

— Другую? Какой же черт сообщает вам последние новости? Ради бога. скажите, что это за новость? А вы, господин аббат, не знаете? Может быть, вы осведомлены лучше меня? Умоляю вас, поделитесь со мной. Я так люблю новости. Я развлекаю ими господина председателя.

Он еще долго молол что-то в таком роде. И при этом оборачивался то ко мне, то к священнику, а я в ответ только пожимал плечами.

— Скажите на милость, о чем вы задумались? — рассердился он.

— Я задумался о том, что сегодня вечером уже не буду думать, — ответил я.

— Ах, вот о чем! — протянул он. — Полноте,

нечего грустить! Господин Кастень — тот все время беседовал.

Помолчав немного, он заговорил опять:

— Господина Папавуана я тоже сопровождал; он был в бобровой шапке и курил сигару. Ларошельские молодые люди, те разговаривали только между собой. А все-таки разговаривали!

Он еще помолчал и начал снова:

— Сумасброды! Фантазеры! Послушать их, так они презирали всех на свете. А вот вы, молодой человек, зря задумываетесь.

— Молодой человек! Нет, я старше вас; каждые уходящие четверть часа старят меня на год, — ответил я.

Он обернулся, несколько минут смотрел на меня с тупым недоумением, потом грубо захохотал.

— Да вы смеетесь! Старше меня! Я вам в дедушки гожусь.

— И не думаю смеяться! — очень серьезно ответил я.

Он открыл табакерку.

— Не надо обижаться, милостивый государь! Угоститесь табачком и не поминайте меня лихом.

— Не бойтесь, долго мне не придется поминать.

Протягивая мне табакерку, он наткнулся на раз-

делявшую нас сетку. От толчка табакерка сильно стукнулась о сетку и раскрытой покатилась под ноги жандарму.

— Проклятая сетка! — воскликнул судебный пристав.

И обратился ко мне:

— Подумайте, какая беда! Весь табак растерял.

— Я теряю больше вашего, — с улыбкой ответил я. Он попытался собрать табак, ворча сквозь зубы:

— Больше моего! Легко сказать! До самого Парижа изволь сидеть без табака. Каково это, а?

Тут священник обратился к нему со словами утешения. Не знаю, может быть я плохо слушал, но мне показалось, что он продолжает те же увещевания, которые сначала изливались на меня. Мало-помалу между священником и приставом завязался разговор; я предоставил им говорить свое, а сам думал свои думы.

Когда мы подъезжали к городу, я, хоть и был поглощен своими мыслями, однако заметил, что Париж шумит сильнее обычного. Карета задержалась у заставы. Сборщики городских пошлин заглянули в нее. Если бы на убой везли быка или барана, пришлось бы раскошелиться; но за человеческую голову сборов не платят. Нас

пропустили.

Проехав бульвар, повозка быстро покатила старинными кривыми переулками предместья Сен-Марсо и острова Сите, которые извиваются и пересекаются, как бесчисленные ходы в муравейнике. В этих тесных уличках грохот колес по камням раздавался так громко, что шум извне перестал доходить до меня. Когда я взглядывал в квадратное окошечко, мне казалось, что поток прохожих останавливается при виде кареты, а стаи ребятишек бегут за ней следом. Еще мне казалось, будто кое-где не перекрестках стоит оборванец или старуха в лохмотьях, а иногда и оба вместе, и будто они держат стопки печатных листков, из-за которых прохожие дерутся между собой, широко раскрывая рты, — верно, кричат что-то.

В ту минуту, как мы въехали во двор Консьержери, на часах Дворца правосудия пробило половину девятого. При взгляде на широкую лестницу, на мрачную часовню и зловещие сводчатые двери кровь застыла у меня в жилах. Когда карета остановилась, мне показалось, что сердце мое тоже остановится сейчас.

Я собрал все силы; дверца стремительно распахнулась, я выскочил из этой темницы на колесах

и между двумя рядами солдат быстрым шагом прошел в ворота. Однако толпа уже успела скопиться на моем пути.

XXIII

Проходя по галереям для публики во Дворце правосудия, я чувствовал себя почти что свободным и независимым, но вся моя бодрость исчезла, как только передо мной открылись низенькие дверцы, потайные лестницы, внутренние переходы, глухие, замкнутые коридоры, куда имеют доступ лишь судьи и осужденные.

Судебный пристав не покидал меня, священник ушел, пообещав вернуться через два часа, — он был занят своими делами.

Меня привели в кабинет смотрителя тюрьмы, которому судебный пристав сдал меня с рук на руки, в порядке обмена. Смотритель попросил его подождать минутку, потому что у них сейчас будет новая «дичь», которую придется немедленно обратным рейсом везти в Бисетр. По всей вероятности, речь шла о том, кого должны приговорить сегодня и кто нынешней ночью будет спать на охапке соломы, которую я не успел до конца обмять.

— Вот и отлично, — сказал пристав смотрителю, — я обожду, и мы заодно составим оба протокола.

Пока что меня поместили в каморку, примыкающую к кабинету смотрителя. Тут меня оставили одного за крепкими запорами.

Не знаю, о чем я думал и сколько времени пробыл так, когда неожиданно громкий взрыв смеха вывел меня из задумчивости.

Я вздрогнул и поднял голову. Оказалось, что я не один. В камере, кроме меня, находился мужчина лет пятидесяти пяти, среднего роста, сгорбленный, морщинистый, с проседью, с бесцветными глазами, глядевшими исподлобья, с гримасой злобного смеха на лице. Весь грязный, полуголый, в лохмотьях, он самым своим видом внушал омерзение. Значит, дверь открыли и снова заперли, втолкнув его; а я ничего не заметил. Если бы смерть пришла так же!

Несколько мгновений мы в упор смотрели друг на друга. Новый пришелец — все с тем же хриплым, похожим на стон, смехом, а я — с удивлением и с испугом.

— Кто вы такой? — наконец спросил я.

— Вот так вопрос! — ответил он. — Как кто? Испеченный!

— Испеченный! Что это значит? От моего вопроса он захохотал еще пуще.

— Это значит, что кат скосит мою сорбонну через шесть недель, как твою чурку через шесть часов, — ответил он сквозь смех. — Эге! Видно, смекнул!

В самом деле, я побледнел, волосы поднялись у меня на голове. Это и был второй смертник, приговоренный сегодня, тот, кого ждали в Бисетре, мой преемник.

Он продолжал:

— Ничего не попишешь! Вот я тебе расскажу мою жизнь. Отец мой был славный маз[21]; жаль, что Шарло[22] не пожалел труда и затянул на нем галстук. Это случилось в те поры, когда милостью божьей царила виселица. В шесть лет я остался круглым сиротой; летом я ходил колесом в пыли, по обочине дороги, чтобы мне бросили медяк из окошка почтовой кареты; зимой шлепал босиком по грязи и дул на пальцы, красные от холода; через прорехи в штанах виднелись голые ляжки.

---

[21] Примечания: 21
Вор. (*Прим. автора.*)

[22] Примечания: 22
Палач. (*Прим. автора.*)

С девяти лет я пустил в дело грабли[23], научился очищать ширманы[24], случалось мне свистнуть и одежу, к десяти годам я стал ловким воришкой. Потом попал в компанию: в семнадцать лет я был уже заправский громила — умел и лавку обчистить и ключ подделать. Меня сцапали и как совершеннолетнего отправили плавать на галерах» Тяжкое дело — каток спишь на голых досках, пьешь чистую воду, ешь черный хлеб, без всякой пользы волочишь за собой тяжеленное ядро — получаешь то солнечный удар, то палочные удары. Вдобавок каторжников бреют наголо, а у меня как на грех были хорошие русые кудри! Как-никак, я свой срок отбыл. Пятнадцать лет — не шутка. Мне минуло тридцать два года, когда я получил подорожную и шестьдесят шесть франков — все, что я заработал за пятнадцать лет каторги, трудясь шестнадцать часов в день, тридцать дней в месяц и двенадцать месяцев в году. Все равно, с этими шестьюдесятью шестью франками я хотел начать честную жизнь, и под моими отрепьями скрывались такие благородные чувства, каких

---

[23] Примечания: 23
Руки. (*Прим. автора.*)

[24] Примечания: 24
Карманы. (*Прим. автора.*)

не сыщешь под кабаньей рясой[25]. Вот только треклятый паспорт! Он был желтого! цвета, и на нем стояла надпись: *каторжник, отбывший срок.* Эту штуковину надо было показывать дорогой в каждом городишке, а потом каждую неделю являться с ней к мэру того местечка, где меня водворили на жительство. Недурная аттестация. Каторжник! Я был пугалом — ребятишки бросались от меня врассыпную, двери захлопывались передо мной. Никто не хотел дать мне работу. Шестьдесят шесть франков пришли к концу. Как жить дальше? Я показывал, какие у меня крепкие рабочие руки, а передо мной захлопывали двери. Я предлагал работать за пятнадцать, за десять, за пять су в день. Все напрасно. Что делать? Однажды голод одолел меня. Я разбил локтем витрину булочной и схватил хлеб, а булочник схватил меня. Хлеба мне не дали съесть, зато приговорили к пожизненной каторге и выжгли на плече три буквы. Хочешь — покажу потом. По-судейски это называется рецидив. Значит, стал я *обратной кобылкой*[26]. Я решил бежать. Для этого нужно было пробуравить три стены и перепилить две цепи, а

---

[25] Примечания: 25
Рясой священника. (*Прим. автора.*)

[26] Примечания: 26
Снова отправлен на каторгу. (*Прим. автора.*)

у меня ничего не было, кроме гвоздя. И я бежал. Вдогонку дали сигнал из пушки; наша братия все равно что римские кардиналы: мы тоже одеты в красное, и когда мы отчаливаем, тоже стреляют из пушек. Однако порох пустили на ветер. На этот раз я ушел без желтого билета, но и без денег. Я встретил товарищей — одни отбыли срок, другие дали тягу. Их главарь предложил мне работать заодно, а работали они ножом на большой дороге. Я согласился и стал убивать, чтобы жить. То на дилижанс нападешь, то на почтовую карету, то на верхового — торговца скотом. Деньги забирали, коня или упряжку отпускали на все четыре стороны, а убитого зарывали под деревом и только смотрели, чтобы не торчали ноги. Потом плясали на могиле, чтобы утоптать землю. Так вот я и состарился — ютился где-нибудь в чащобе, спал под открытым небом, и хоть меня травили и гнали из леса в лес, а все-таки был я вольная птица, сам себе хозяин. Однако же всему приходит конец. В одну прекрасную ночь шнурочники[27] накрыли нас. Фанандели[28] мои скрылись, а я был старше всех и попался в лапы этих самых котов в шляпах

---

[27] Примечания: 27
Жандармы. (*Прим. автора.*)

[28] Примечания: 28
Товарищи. (*Прим. автора.*)

с галунами. Меня доставили сюда. Я прошел все ступени, кроме последней. И теперь уж не имело значения, украл ли я носовой платок, или убил человека — разве что мне пришили бы лишний рецидив. Мне осталось только пройти через руки косаря[29]. Дело мое провернули мигом. И правду сказать, стар я уже стал, не годен ни на что путное. Мой отец женился на вдове[30], а я удалюсь в обитель всех скорбящих радости[31]! Так-то, брат!

Я был ошеломлен его рассказом. Он захохотал громче прежнего и попытался взять меня за руку. Я в ужасе отпрянул.

— Видно, ты, приятель, не из храбрых, — сказал он: — Смотри, не раскисни перед курносой. Что и говорить, несладко стоять на помосте, да зато недолго! Я бы рад пойти с тобой и показать, как лучше кувырнуться. Да я, ей-богу, не подал бы на кассацию, если бы нас скосили сегодня вместе. Кстати попа позвали бы одного на двоих; с меня хватило бы и твоих объедков. Видишь, какой я покладистый. Ну, отвечай? Согласен? От чистого

---

[29] Примечания: 29
Палача. (*Прим. автора.*)

[30] Примечания: 30
Был повешен. (*Прим. автора.*)

[31] Примечания: 31
На гильотину. (*Прим. автора.*)

сердца предлагаю!

Он подошел еще ближе.

— Благодарю вас, — ответил я, отстраняя его.

В ответ — новый взрыв хохота.

— Эге-ге! Ваша милость, видно, из маркизов, не иначе как из маркизов!

— Друг мой, не трогайте меня, мне хочется побыть наедине с самим собой, — прервал я его.

Он сразу притих и задумался, покачивая седой, плешивой головой. Потом почесал ногтями свою волосатую грудь, видневшуюся из-под раскрытой рубахи, и сквозь зубы пробормотал;

— Понятно, тут не без кабана[32]... — После минутного молчания он добавил почти робким тоном: — Послушайте, хоть вы и маркиз, однако же на что вам такой добротный сюртук? Все равно палач заберет его. Лучше отдали бы мне. Я его спущу и куплю себе табаку.

Я снял сюртук и отдал ему. Он обрадовался, как ребенок, и захлопал в ладоши. Но, заметив, что на мне одна рубашка и что я весь дрожу, он сказал:

— Вы замерзли. Вот, наденьте это, иначе промокнете, дождь идет. И потом, в телеге надо иметь приличный вид.

---

[32] Примечания: 32
Священника. (*Прим. автора.*)

Он снял с себя толстую куртку из серой шерсти и надел на меня. Я не прекословил, но тотчас же поспешил отодвинуться к самой стене. Трудно описать, какие чувства вызывал у меня этот человек. Он рассматривал, мой сюртук и каждую секунду восторженно восклицал:

— Карманы целехоньки! Воротник совсем не потертый! Меньше пятнадцати франков ни за что не возьму. На все шесть недель запасусь табачком! Вот счастье-то!

Дверь опять отворилась. Пришли за нами обоими. За мной — чтобы отвести в комнату, где приговоренные ждут урочного часа, за ним — чтобы отправить в Бисетр. Он встал на свое место посреди конвоя и, смеясь, сказал жандармам:

— Только не ошибитесь. Мы с этим кавалером поменялись шкурами. Смотрите, не прихватите меня вместо него. Но теперь — шалишь! Я не согласен, раз у меня будет табак!

XXIV

Я и не думал отдавать сюртук этому старому разбойнику, он отнял его у меня, а взамен оставил мне свою гнусную куртку. На кого я буду похож в этом рванье?

Вовсе не из беспечности или жалости допустил я, чтобы он взял мой сюртук; нет, попросту он был сильнее. Если бы я отказался, он избил бы меня своими кулачищами.

Еще что — жалость! Злоба клокотала во мне. Я готов был задушить собственными руками, растоптать этого старого вора.

Душа моя полна гнева и горечи. Должно быть, желчь разлилась у меня. Смерть делает злым.

XXV

Меня привели в камеру, где, кроме четырех голых стен, нет ничего, не считая, понятно, бесчетных железных прутьев на окне и бессчетных запоров на двери.

Я потребовал себе стол, стул и письменные принадлежности. Мне все принесли.

Затем я потребовал кровать. Надзиратель поглядел на меня удивленным взглядом, ясно говорившим: «К чему это?»

Тем не менее в углу поставили складную кровать. Но одновременно в этом помещении, которое именуют «моей комнатой», водворился жандарм. Верно, боятся, что я удушу себя тюфяком.

XXVI

Сейчас десять часов.

Бедная моя доченька! Через шесть часов меня не станет! Я превращусь в ту падаль, которую расшвыряют по холодным столам анатомического театра. Здесь будут снимать слепок с головы, там будут вскрывать тело, остатками набьют гроб и все вместе отправят на Кламарское кладбище.

Вот что сделают люди с твоим отцом, а между тем ни один из них не питает ко мне ненависти, все меня жалеют, и все могли бы спасти. А они убьют меня. Понимаешь, Мари? Убьют хладнокровно, по всем правилам, во имя торжества правосудия. Боже правый!

Бедняжечка! Убьют твоего отца, того, кто так любил тебя, кто целовал твою нежную, ароматную шейку, кто без устали перебирал твои пушистые кудри, кто ласкал твое милое личико, кто качал тебя на коленях, а по вечерам складывал твои ручки для молитвы!

Кто приголубит тебя теперь? Кто будет тебя любить? У всех твоих маленьких сверстников будет отец, только не у тебя. Как отвыкнешь ты, детка моя, от новогодних подарков, от красивых

игрушек, от сластей и поцелуев? Как отвыкнешь ты, горемычная сиротка, пить и есть досыта?

Ах, если бы присяжные увидели ее, мою милую Мари, они бы поняли, что нельзя убивать отца трехлетней крошки!

А когда она вырастет, если ей суждено выжить, что станется с нею? Парижская чернь запомнит ее отца. И ей, моей дочери, придется краснеть за меня, за мое имя, ее будут презирать, унижать, будут ею гнушаться, из-за меня, из-за меня, любящего ее всей силою, всей нежностью своей души. Любимая моя крошка! Моя Мари! Неужто в самом деле память обо мне будет для тебя постыдна и ненавистна? Какое же преступление совершил я, окаянный, и на какое преступление толкаю общество!

Боже! Неужто правда, что я умру до вечера? Я, вот этот самый я? И глухой гул голосов, доносящийся со двора, и оживленные толпы уже спешащих людей на набережных, и жандармы, которые снаряжаются у себя в казармах, и священник в черной рясе, и человек, чьи руки красны от крови, — все это из-за меня? И умереть должен я! Я, тот я, что находится здесь, живет, движется, дышит, сидит за столом, похожим на любой другой стол в любом другом месте; тот

я, наконец, которого я касаюсь и ощущаю, чья одежда ложится такими вот складками!

XXVII

Хотя бы знать, как оно устроено, как умирают под ним! Ужас в том, что я не знаю. Самое название страшно, — не, понимаю, как мог я писать и произносить его.

Эти девять букв будто нарочно подобраны так, чтобы своим видом, своим обликом навести на жестокую мысль; проклятый врач, изобретатель этой штуки, носил поистине роковое имя.

У меня с этим ненавистным словом связано очень неясное и неопределенное, но тем более страшное представление. Каждый слог — точно часть самой машины. И я мысленно без конца строю и разрушаю чудовищное сооружение.

Я боюсь расспрашивать, но не знать, какая она и как это делается, — вдвойне нестерпимо. Говорят, она действует с помощью рычага, а человека кладут на живот. Господи! Голова у меня поседеет, прежде чем ее отрубят!

XXVIII

Однако я как-то мимолетно видел ее.

Я проезжал в карете по Гревской площади часов в одиннадцать утра. Карета вдруг остановилась. Я высунулся в окошко. Толпа запрудила площадь и набережную, весь парапет был занят женщинами и детьми. Над головами виднелся помост из красноватых досок, который сколачивали три человека.

В тот день должны были казнить кого-то, приговоренного к смерти, и для него готовили машину. Я поспешно отвернулся, чтобы не видеть ее.

Возле кареты женщина говорила ребенку:

— Вот погляди! Чтобы нож лучше ходил, они смажут пазы свечным салом.

Этим они, верно, заняты и сейчас. Только что пробило одиннадцать. Должно быть, они смазывают салом пазы.

Нет, сегодня мне, несчастному, не отвернуться.

XXIX

Ах, только бы меня помиловали! Только бы по-

миловали! Может быть, меня помилуют. Король не гневается на меня. Позовите моего адвоката. Позовите скорее! Я согласен на каторгу. Пусть приговорят к пяти годам или к двадцати, пусть приговорят к пожизненной каторге, пусть заклеймят. Только бы оставили жизнь!

Ведь каторжник тоже ходит, движется, тоже видит солнце.

XXX

Опять пришел священник. Он белый как лунь, приветливый, почтенный и кроткий на вид; он и в самом деле достойный, добросердечный человек. Сегодня утром я видел, как он роздал заключенным все, что у него было в кошельке. Почему же голос его не волнует и в нем не чувствуется волнения? Почему он до сих пор не сказал ни одного слова, которое задело бы за живое мой ум или, сердце?

Сегодня утром я был как потерянный. Я почти не слушал его. И все-таки мне показалось, что он говорит ненужные слова, и они не трогали меня; они скользили мимо, как этот холодный дождь по запотевшему стеклу. Но сейчас его приход подействовал на меня умиротворяюще. Из всех

этих людей он один остался для меня человеком, — подумал я. И мне страстно захотелось послушать слова любви и утешения.

Мы сели — он на стул, я на кровать. Он сказал:

— Сын мой...

И сердце мое раскрылось навстречу ему.

— Сын мой, вы веруете в бога? — спросил он.

— Верую, отец мой, — ответил я.

— Веруете вы в святую апостольскую римскую католическую церковь?

— Готов веровать, — ответил я.

— Вы как будто сомневаетесь, сын мой, — заметил он.

И снова заговорил. Он говорил долго; он произнес много слов; потом, решив, что все сказано, он поднялся, впервые с начала своей речи посмотрел на меня и спросил:

— Что же вы мне ответите?

Клянусь, сначала я слушал его жадно, потом внимательно, потом смиренно. Я тоже встал.

— Прошу вас, оставьте меня одного, — сказал я. Он осведомился:

— Когда, мне прийти?

— Я позову вас.

Он вышел, не рассердившись, а только покачав головой, как будто сказал про себя:

— Нечестивец!

Нет, хотя я пал очень низко, однако нечестивцем не стал, бог мне свидетель — я верую в него. Но что сказал мне этот старец? Ничего прочувствованного, выстраданного, выплаканного, исторгнутого из души, ничего, что шло бы от сердца к сердцу, только от него ко мне. Напротив, все было как-то расплывчато, безлично, применимо к кому и к чему угодно, — высокопарно там, где нужна глубина, пошло там, где должно быть просто; словом, чувствительная проповедь или богословская элегия. И на каждом шагу вкраплены латинские изречения из святого Августина, из святого Григория, из кого-то еще. А главное, казалось, он в двадцатый раз повторяет один и тот же урок, настолько затверженный, что смысл его успел стереться. И все это без малейшего выражения во взгляде, без малейшего оттенка в голосе, без малейшего жеста.

Да и как может быть иначе? Ведь он состоит в должности тюремного священника. Его обязанность — утешать и увещевать, он этим живет. Каторжники и смертники входят в круг его красноречия. Он исповедует и напутствует их по долгу службы. Он состарился, провожая людей на смерть. У него давно уже вошло в привычку

то, от чего содрогаются другие; волосы его, белые как снег, уже не шевелятся от ужаса, каторга и эшафот — для него вещи обыденные. Его не поразишь ими. Должно быть, у него заведена тетрадка: на одной странице — каторжники, на другой — приговоренные к смерти. Накануне ему сообщают, что завтра в таком-то часу надо утешить кого-то. Он спрашивает кого — каторжника или приговоренного к смерти? И прежде чем идти, прочитывает соответствующую страницу. Таким образом, те, кого отправляют в Тулон, и те, кого отправляют на казнь, стали для него чем-то безличным, а он безразличен им.

Нет, пусть пойдут наугад в первый попавшийся приход за каким-нибудь молодым викарием или стареньким кюре и, застав его врасплох за чтением книги у камелька, скажут ему:

— Есть человек, который должен умереть, и надо, чтобы вы, только вы, сказали ему слова утешения; чтобы вы присутствовали при том, как ему свяжут руки и остригут волосы; чтобы вы, держа в руках распятие, сели с ним в телегу и заслонили от него палача; чтоб вы вместе с ним тряслись по булыжной мостовой до самой Гревской площади; чтобы вы вместе с ним прошли сквозь жестокую, жаждущую крови толпу; что бы

вы поцеловали его у подножия эшафота и не уходили, пока голова его не отделится от туловища.

И пусть тогда его приведут ко мне, потрясенного, трепещущего, пусть толкнут меня в его объятия, к его ногам; и он будет плакать, и мы поплачем вместе, и он найдет нужные слова, и я буду утешен, и он сердцем разделит скорбь моего сердца и примет мою душу, а я приму его бога.

А что для меня этот добросердечный старец? Что: я для него? Субъект из породы несчастных, одна из многих теней, прошедших мимо него, единица, которую надо прибавить к числу казненных.

Быть может, я не прав, что отталкиваю его; он-то не плох, плох я сам. Что поделать! Я не виноват. Мое дыхание, дыхание смертника, пятнает и портит все.

Мне принесли еду; верно, решили, что я проголодался. Кушанья все тонкие, изысканные — кажется цыпленок и что-то еще. Я попытался есть, но выплюнул первый же кусок, — таким он мне показался горьким и зловонным!

XXXI

Только что сюда входил господин; он не снял шляпы, даже не взглянул на меня; достав складной фут, он принялся сверху донизу измерять стены, приговаривая вслух: «Тут как надо», или же: «А тут нет».

Я спросил у жандарма, кто он такой. Оказалось, что он состоит чем-то вроде младшего архитектора при тюрьме.

Он в свою очередь заинтересовался мною. Обменявшись несколькими словами с привратником, сопровождавшим его, он на мгновение остановил на мне взгляд, беззаботно тряхнул головой и снова принялся обмерять стены и приговаривать вслух.

Окончив свое дело, он подошел ко мне и произнес зычным голосом:

— Знаете, приятель, через полгода тюрьма будет неузнаваема.

Выразительный жест его при этом говорил: «Жаль, вы ею не воспользуетесь». Еще немного, и он бы улыбнулся. Я ждал, что он того и гляди начнет подтрунивать надо мной, как подтрунивают над новобрачной в свадебный вечер.

Мой жандарм, старый солдат с нашивками, ответил за меня:

— Сударь, в комнате покойника не принято так громко говорить.

Архитектор удалился.

Я же застыл на месте, как те камни, которые он обмерял.

XXXII

Дальше со мной произошел комический случай.

Доброго старика жандарма пришли сменить, а я в своей черствой неблагодарности даже не пожал ему руки. Его место занял другой: низколобый человек с глазами навыкате и глупой физиономией.

Впрочем, я не обратил на него ни малейшего внимания. Я сидел за столом, спиной к двери, и старался охладить лоб ладонью; ум мой мутился от осаждавших меня мыслей.

Но вот меня тихонько тронули за плечо, и я обернулся. Это оказался новый жандарм; мы с ним были одни.

Он обратился ко мне примерно с такими словами:

— Преступник! Вы добрый человек?

— Нет, — сказал я.

Такой прямолинейный ответ, видимо, смутил его. Тем не менее он заговорил опять, менее уверенно:

— Сам по себе никто злым не бывает.

— Почему не бывает? — возразил я. — Если у вас нет ко мне другого дела, оставьте меня в покое. Что вам надобно?

— Уж вы меня простите, господин преступник. Всего два словечка. Скажем, вы можете принести счастье бедному человеку и оно для вас ничего не составит, неужто вы откажетесь?

Я пожал плечами.

— Вы что, из Шарантона явились? Странный источник счастья вы себе присмотрели. Как я могу кому-нибудь принести счастье!

Он понизил голос и принял таинственный вид, совсем не вязавшийся с его глупой физиономией.

— Да, да, преступник, и счастье и богатство. Все ко мне может прийти через вас. Вот послушайте. Я бедный жандарм. Хлопот много, а дохода мало; один конь чего стоит, он у меня собственный. Чтобы свести концы с концами, я ставлю в лотерею. Надо же чем-нибудь промышлять. Все бы

ничего, да номера до сих пор выходили не те. Как я ни стараюсь угадать номер, каждый раз попадаю рядом. Ставлю на семьдесят шесть, а выходит семьдесят семь. Уж сколько я на них просадил, а все понапрасну... Потерпите маленечко, я сейчас договорю. Тут ведь случай мне прямо в руки идет. Не в обиду вам будь сказано, преступник, говорят, вы сегодня помрете. А всем доподлинно известно, что покойники, которых таким манером отправляют на тот свет, заранее знают, какой номер выйдет в лотерею. Не сочтите за труд, явитесь мне завтра вечером и назовите три номера, самых верных, ладно? Вам это ничего не стоит. А я привидений не боюсь, на этот счет не сомневайтесь. Вот вам мой адрес: Попенкурские казармы, подъезд А, номер двадцать шесть, в конце коридора. Вы ведь меня в лицо узнаете, правда? Приходите хоть сегодня, если вам так удобнее.

Я бы не стал даже отвечать этому болвану, но безумная надежда вдруг вспыхнула у меня в мозгу. В таком безвыходном положении, как мое, минутами кажется, что можно волоском перетереть цепи.

— Послушай, — сказал я, решив разыграть комедию, насколько это возможно на пороге

смерти, — я в самом деле могу сделать тебя богаче короля. Я помогу тебе выиграть миллионы. Но при одном условии...

Он вытаращил глаза.

— На каком? Скажите, на каком? Я рад вам служить, чем прикажете, господин преступник.

— Обещаю назвать тебе не три номера, а целых четыре. Но сперва поменяйся со мной одеждой.

— Если только за этим дело! — воскликнул он и уже принялся расстегивать мундир.

Я встал со стула. Я следил за каждым его движением. Сердце у меня отчаянно билось. Мне уже виделось, как перед жандармским мундиром раскрываются двери, как площадь, и улица, и Дворец правосудия остаются позади!

Но тут он обернулся с видом сомнения.

— А на что вам это? Может, чтобы уйти отсюда? Мне стало ясно, что все погибло. Однако я сделал последнюю попытку, совершенно ненужную и нелепую.

— Ну да, зато твое благополучие обеспечено, — ответил я.

Он меня перебил:

— Э, нет! Постойте! А номера-то мои как же? Чтобы они были верные, вам надо быть покойником.

Я снова сел, еще сильнее подавленный безнадежностью от вспыхнувшей на миг надежды.

XXXIII

Я зажмурил глаза, прикрыл их ладонями и попытался забыться, уйти в прошлое от настоящего. И вот в мечтах одно за другим возникают воспоминания детства и юности, милые, мирные, веселые, точно цветущие островки среди водоворота черных, беспорядочных мыслей, кружащихся у меня в голове.

Видится мне, как я, ребенком, веселым, румяным школьником, вместе с братьями играю и бегаю по большой зеленой аллее запущенного сада, где прошли мои ранние годы; это бывшие монастырские владения, над ними возвышается свинцовая шапка мрачного собора Валь-де-Грас.

Спустя четыре года я снова там, все еще мальчиком, но уже мечтательным и пылким. В пустынном саду со мною вместе девочка-подросток.

Маленькая испаночка с большими глазами и длинными косами, с вишневыми губами и нежным румянцем на золотисто-смуглом личике, четырнадцатилетняя андалузка Пепа.

Наши мамы послали нас побегать, а мы чин-

но гуляем по саду. Нас послали резвиться, а мы беседуем. Мы дети одного возраста, но не одного пола.

А между тем еще год назад мы бегали, боролись Друг с другом. Я старался отнять у Пепиты лучшее яблоко с яблони; я дрался с ней из-за птичьего гнезда. Она плакала, а я говорил: «Так тебе и надо!» Потом мы оба шли жаловаться мамам, и они вслух сердились, а потихоньку умилялись.

Теперь она опирается на мою руку, а я и горд и смущен. Мы ходим медленно, мы разговариваем шепотом. Она роняет платочек, я его поднимаю. Руки у нас вздрагивают, соприкасаясь. Она говорит о птичках, о звездочке, которая мерцает вон там, вдали, об алом закате за стволами деревьев, о пансионских подругах, о платьях и лентах. Мы разговариваем на самые невинные темы и оба при этом краснеем. Девочка превратилась в девушку.

В тот вечер — то был летний вечер — мы гуляли под каштанами в самом конце сада. После долгого молчания, которым теперь были заполнены наши уединенные прогулки, она вдруг выпустила мою руку и сказала: «Бежим наперегонки!».

Как сейчас вижу ее: она была вся в черном, в трауре по бабушке. Ребяческая фантазия пришла

ей в голову. Пепа снова стала Пепитой и сказала мне: бежим наперегонки!

И она понеслась вперед: я видел ее тонкий, как у пчелки, стан, стройные ножки, мелькавшие из-под платья, я догонял ее, она убегала; черная пелеринка раздувалась от быстрого бега и обнажала смуглую молодую спину.

Я не помнил себя, я настиг ее у старого развалившегося колодца; по праву победителя я схватил ее за талию и усадил на дерновую скамью; она не противилась; она смеялась, с трудом переводя дух; а мне было не до смеха, я вглядывался в ее черные глаза под завесой черных ресниц.

— Сядьте рядом, — сказала она. — Еще совсем светло, можно почитать. У вас есть какая-нибудь книжка?

Со мной был второй том *Путешествий Спалланцани*. Я раскрыл его наугад и придвинулся к ней, она оперлась плечом о мое плечо, и мы стали читать вместе, каждый про себя. Всякий раз ей приходилось дожидаться меня, чтобы перевернуть страницу. Ум у нее был быстрее моего.

— Кончили? — спрашивала она, когда я только успевал начать.

А головы наши соприкасались, волосы смешивались, дыхание все сближалось, и вдруг

сблизились губы.

Когда мы надумали читать дальше, все небо было в звездах.

— Ах, мама, мамочка! Если бы ты видела, как мы бежали! — говорила она, возвратясь. А я не говорил ни слова.

— Что же ты молчишь? И вид у тебя какой-то понурый, — заметила моя мать.

На душе у меня было как в раю. Этот вечер я буду помнить всю жизнь.

Всю жизнь!

XXXIV

Только что пробили часы. Не знаю сколько раз, — я плохо слышу их бой. В ушах у меня стоял гул как от органа. Это жужжат мои последние мысли.

В торжественные минуты благоговейного паломничества в прошлое я с ужасом наталкиваюсь на свое преступление; но мне кажется, я раскаиваюсь недостаточно. До приговора угрызения совести были сильнее; с тех пор мысли о смерти вытеснили все остальное. А я хотел бы каяться еще и еще.

Я забылся на миг, перебирая все, что было в мо-

ей жизни, а когда мысли мои вернулись к удару топором, который сейчас оборвет ее, я содрогнулся, будто узнал об этом впервые. Чудесное мое детство! Чудесная юность! Златотканый ковер, конец которого омочен в крови. Между прошлым и настоящим пролегла река крови — крови его и моей.

Кто бы ни прочел когда-нибудь повесть моей жизни, никто не поверит, чтобы после стольких лет беспорочного счастья мог наступить этот страшный год который начался преступлением и кончается казнью. Он никак не вяжется с остальными годами. Все же — подлые законы и подлые люди, — я не был дурным человеком!

О господи! Умереть через несколько часов, сознавая, что в этот самый день год назад я был свободен и безвинен, совершал прогулки и бродил под деревьями по опавшей осенней листве.

XXXV

Вот сейчас, в эту минуту, совсем рядом со мной, в домах, окружающих Дворец правосудия и Гревскую площадь, и во всем Париже люди приходят и уходят разговаривают и смеются, читают газету, обдумывают свои дела: лавочники торгуют,

девушки готовят к вечеру бальные платья, матери играют с детьми!

XXXVI

Как-то в детстве я ходил смотреть большой колокол Собора Богоматери.

Голова кружилась у меня уже от подъема по темной винтовой лестнице, от перехода по хрупкой галерее, соединяющей обе башни, от зрелища Парижа подо мной, когда я очутился в клетке из камня и бревен, где висит большой колокол с языком весом в тысячу фунтов. Весь дрожа, ступал я по плохо пригнанному дощатому полу, издали разглядывая знаменитый колокол, который так славится среди ребят и простого народа; при этом я с ужасом убедился, что покатые шиферные кровли, окружающие колокольню, находятся на уровне моих ног. В просветы я видел, так сказать с птичьего полета, площадь перед собором и прохожих ростом не больше муравьев.

И вдруг гигантский колокол зазвонил, мощный звук потряс воздух, грузная башня дрогнула. Дощатый настил затрясся, заходил ходуном на балках. А я чуть не упал навзничь от внезапного грохота; я покачнулся и еле удержался, чтобы не

покатиться по наклонной шиферной кровле. От испуга я лег на доски и крепко обхватил их обеими руками, у меня отнялся язык и перехватило дыхание, а в ушах раздавался оглушительный звон и перед глазами где-то глубоко, как бездна, зияла площадь, по которой с завидной безмятежностью сновали прохожие.

И вот сейчас я будто снова в башне большого колокола. Голова у меня кружится, в глазах темнеет, каждая извилина моего мозга сотрясается, как от колокольного звона; а та ровная мирная стезя жизни, с которой я свернул и по которой совершают свой путь другие люди, виднеется где-то вдали, сквозь расселины бездны.

XXXVII

Парижская ратуша — мрачное здание с островерхой, крутой кровлей, с неожиданно тоненькой колоколенкой, с огромным белым циферблатом, с рядом мелких колонн в каждом этаже, с бесчисленными окнами, с лестницами, истертыми от шагов, с двумя арками направо и налево; недаром на Гревскую площадь обращен ее зловещий, источенный старостью фасад, такой темный, что даже на солнце он не становится светлее.

В дни казней все ее двери ломятся от жандармов, все окна смотрят на приговоренного.

А вечером ее циферблат, показавший урочный час, продолжает светиться на черном фасаде.

XXXVIII

Пробило четверть второго.

Вот что я ощущаю сейчас:

Жестокую головную боль, озноб в спине и жар в висках. Всякий раз, как я встаю или наклоняюсь, мне кажется, будто в голове у меня переливается какая-то жидкость и мозг мой бьется о стенки черепа.

Судорожная дрожь проходит по всему телу, и перо часто выпадает из рук, как от гальванического толчка.

Глаза словно разъедает дым. Локти ломит.

Еще два часа и три четверти, и я буду исцелен.

XXXIX

Говорят, в этом ничего нет страшного, при этом не страдают, это спокойный конец, и смерть таким способом очень облегчена.

А чего стоит шестинедельная агония и целый день предсмертной муки? Чего стоит томление этого невозвратного дня, который тянется так медленно и проходит так быстро? Чего стоит эта лестница пыток, ступень за ступенью приводящая к эшафоту?

По-видимому, это не считается страданием. А неизвестно, что мучительнее — чтобы кровь уходила капля за каплей или чтобы сознание угасало мысль за мыслью.

И откуда у них такая уверенность, что при этом не страдают? Кто это им сказал? Слышал ли кто-нибудь, чтобы отрубленная голова, вся в крови, выглянула из корзины и крикнула в толпу: «Это совсем не больно!»?

Кто из умерших по их рецепту приходил выразить им благодарность и заявить: «Изобретение хоть куда, лучшего не ищите, механизм действует исправно»?

Уж не Робеспьер ли? Или Людовик XVI?

Ничего страшного! Полминуты, нет — полсекунды, и все кончено. А тот, кто так говорит, поставил ли себя даже мысленно на место человека, на которого падает тяжелое лезвие и впивается в тело, разрывает нервы, крушит позвонки?.. Как же! Полсекунды! Боль не чувству-

ется... Какой ужас!

Непонятно, почему мысль о короле не покидает меня. Как я ни уговариваю себя, как ни отмахиваюсь, внутренний голос непрерывно нашептывает мне:

«В этом же городе, в это же время, недалеко отсюда, в другом дворце находится человек, чьи двери тоже охраняются часовыми, человек, как и ты, не имеющий себе равного в глазах народа с той разницей, что он первый, а ты последний из людей. Каждая минута его жизни полна торжества, величия, упоения и услады. Его окружает любовь, почет, благоговение. В беседе с ним самые громкие голоса становятся тихими и склоняются самые горделивые головы. Взгляд его ласкают золото и атлас. В этот час он, верно, совещается с министрами, и все согласны с его мнением, или же думает о завтрашней охоте, о сегодняшнем бале, не сомневаясь, что празднество состоится вовремя, и возлагая на других заботу об его увеселениях. А ведь он такой же человек, из плоти и крови, как ты! — И чтобы сию минуту рухнул проклятый эшафот, чтобы тебе было возвращено все — жизнь, свобода, состояние, семья, — достаточно, чтобы он вот этим пером начертал под листком бумаги четыре буквы своего имени,

достаточно даже, чтобы его карета встретилась с твоей телегой. И он ведь добрый и, может быть, рад бы все сделать, но ничего этого не будет!

XLI

Ну что ж! Соберем все мужество перед лицом смерти и прямо взглянем ей в глаза. Пусть ответит нам, что она такое и чего от нас хочет, со всех сторон рассмотрим эту жестокую мысль, постараемся расшифровать загадку и заранее заглянуть в могилу. Когда глаза мои закроются, я увижу, мне кажется, яркое сияние, бездны света, в которых будет вечно парить мой дух. Небо, мне кажется, засветится само по себе, а звезды будут на нем темными пятнами, не золотыми блестками на черном бархате, как в глазах живых, а черными точками на золотой парче.

Или же мне, окаянному, откроется глубокая, страшная пропасть, со всех сторон окутанная мраком, и я буду вечно падать в нее и видеть, как во мгле шевелятся призраки.

А может быть, после того, как это свершится, я очнусь на плоской сырой поверхности и буду ползать в темноте, вращаясь, как вращается скатившаяся голова. Мне кажется, сильный ветер

будет гнать меня и сталкивать с другими катящимися головами. Местами мне будут попадаться болота и ручьи, наполненные неизвестной тепловатой жидкостью, такой же черной, как все кругом. Когда во время вращения глаза мои обратятся вверх, они увидят сумрачное небо, все в тяжелых, низко нависающих тучах, а дальше, в глубине, огромные клубы дыма, чернее самого мрака. Еще увидят они мелькающие во тьме красные точки, которые вблизи обернутся огненными птицами. И это будет длиться вечность. Возможно также, что в памятные даты гревские мертвецы собираются темными зимними ночами на площади, по праву принадлежащей им. К толпе этих бледных окровавленных теней примкну и я. Ночь безлунная, все говорят шепотом. И перед нами снова обветшалый фасад ратуши, ее облупленная крыша и циферблат, который был неумолим ко всем нам. На площади воздвигнута адская гильотина, где черт должен казнить палача. Произойдет это в четыре часа утра, и теперь уж мы будем толпиться вокруг.

Допустим, что так оно и есть. Но если мертвецы возвращаются, в каком же облике возвращаются они? Что они сохраняют от своего урезанного, изувеченного тела? Что предпочитают? Голова

или туловище становится призраком?

А что делает смерть с нашей душой? Какой природой наделяет ее? Что берет у нее или придает ей? Куда девает ее? Возвращает ли ей хоть изредка телесные очи, чтобы смотреть на землю и плакать?

О, найдите, найдите мне священника, который знал бы это! Мне нужен священник, мне нужно приложиться к распятию!

Господи, опять тот же самый!

XLII

Я сказал ему, что хочу спать, и бросился на постель.

От сильного прилива крови к голове я и в самом деле уснул. В последний раз я спал таким, а не иным сном.

И мне приснилось, будто сейчас ночь. Будто я сижу в своем кабинете с двумя-тремя друзьями, не помню уж с кем.

Жена легла спать и вместе с собой уложила ребенка.

Мы с друзьями шепотом разговариваем о чем-то страшном.

Вдруг мне слышится шум где-то, в соседних

комнатах. Слабый, непонятный, неопределенный шум.

Друзья тоже услышали его. Мы прислушиваемся; кажется, кто-то осторожно открывает замок и потихоньку перепиливает засов.

В этом есть что-то жуткое — мы холодеем от страха. Не иначе как воры забрались ко мне в такой поздний час. Мы решаем пойти посмотреть. Я встаю и беру свечу. Друзья идут за мной следом.

Мы проходим через спальню. Жена и ребенок спят.

Мы в гостиной. Ни души. Портреты неподвижно висят в золоченых рамах на красных обоях. Мне показалось, что дверь из гостиной в столовую приотворена.

Мы входим в столовую; осматриваем ее. Я иду первым. Дверь на лестницу заперта, окна тоже. Подойдя к печке, я заметил, что бельевой шкаф открыт и что его распахнутая дверца заслоняет угол комнаты.

Это меня озадачило. Мы подумали, что за дверцей кто-то прячется.

Я потянул рукой дверцу; она не поддалась. Я удивился и дернул сильнее; дверца захлопнулась, и мы увидели сгорбленную старуху, стоящую неподвижно, с опущенными руками, с закры-

тыми глазами, словно приклеенную к углу. В этом было что-то невыразимо страшное, волосы и сейчас, при одном воспоминании, встают у меня дыбом.

Я спросил старуху:

— Что вы тут делаете? Она не ответила. Я спросил:

— Кто вы?

Она не ответила, не пошевелилась, не открыла глаз.

Друзья решили:

— Наверно, она сообщница тех, кто пришел сюда с дурными намерениями; остальные, услышав наши шаги, убежали, а она не успела и спряталась в углу.

Я снова принялся допрашивать ее — она не отвечала, не двигалась, не глядела.

Кто-то из нас толкнул ее — она упала.

Она рухнула, как кусок дерева, как безжизненный предмет.

Мы попытались сдвинуть ее ногой, потом двое из нас подняли ее и снова приставили к стене. Она не подавала признаков жизни. Ей кричали прямо в ухо. Она оставалась нема, словно ничего не слышала. Мы уже стали терять терпение, к ужасу примешивалась злоба. Кто-то посоветовал

мне:

— Поднесите ей под нос свечу. Я поднес зажженный фитилек к ее лицу. Она полуоткрыла один глаз, тусклый, страшный, незрячий. Я отвел свечу и сказал:

— Ага! Наконец-то! Будешь теперь отвечать, старая колдунья? Кто ты?

Глаз закрылся, будто сам собой.

— Ну это уж наглость! — хором закричали мои друзья. — Давайте, давайте еще свечу! Заставьте ее отвечать!

Я снова поднес свечу к лицу старухи.

И вот она медленно открыла оба глаза, по очереди оглядела нас всех, потом, внезапно нагнувшись, задула свечу, дохнув на нее ледяным дыханием. В ту же секунду три острых зуба в темноте вонзились мне в руку.

Я проснулся, весь дрожа, обливаясь холодным потом.

Добрый священник сидел в ногах моей кровати и читал молитвы.

— Долго я спал? — спросил я.

— Вы проспали час, сын мой, — ответил он. — К вам привели дочку. Она дожидается в соседней комнате. Я не позволил вас будить.

— Моя дочка здесь! — вскричал я. — Приведите

ее ко мне.

XLIII

Она такая свеженькая, розовенькая, у нее огромные глаза, она красотка!

На нее надели платьице, которое очень ей к лицу.

Я схватил ее, поднял на руки, посадил к себе на колени, целовал ее головку.

Почему она без мамы? — Мама больна, бабушка тоже больна. Так я и думал.

Она удивленно смотрела на меня и безропотно терпела ласки, объятия, поцелуи, только время от времени с беспокойством поглядывала на свою няню, которая плакала в уголке.

Наконец я нашел в себе силы заговорить.

— Мари! Крошка моя Мари! — прошептал я и крепко прижал ее к груди, из которой рвались рыдания. Она слабо вскрикнула.

— Мне больно, не надо так, дядя, — жалобно сказала она.

Дядя! Бедная детка, она почти год не видела меня. Она забыла мое лицо, интонации голоса; да и как меня узнать, обросшего бородой, бледного, в такой одежде? Значит, она уже не помнит

меня! А ведь только в ее памяти мне и хотелось бы жить! Значит, я уже не отец! Мне не суждено больше слышать это слово детского языка, такое нежное, что оно не может перейти в язык взрослых, — слово «папа»!

Только бы еще раз, один раз услышать его из этих уст — вот все, чего я прошу за сорок лет жизни, которые отнимают у меня!

— Ну посмотри же, Мари, разве ты меня не помнишь. — спросил я, соединяя обе ее ручонки в своих руках.

Она подняла на меня прекрасные черные глазки и сказала:

— Совсем не помню!

— Посмотри получше, — настаивал я. — Неужели ты не знаешь, кто я?

— Знаю, вы чужой дядя.

Как это ужасно, когда единственное существо на свете, которое любишь беззаветно, любишь всей силой своей любви, смотрит на тебя, говорит с тобой, отвечает тебе и не узнает тебя! Ты жаждешь утешения только от него, а от него одного скрыто, что ты нуждаешься в утешении, потому что ты должен умереть!

— У тебя есть папа, Мари? — спросил я.

— Есть, — ответила девочка.

— Где же он?

Ее большие глаза удивленно посмотрели на меня.

— А вы разве не знаете? Он умер.

Она опять вскрикнула — я едва не уронил ее.

— Умер! — повторил я. — А ты знаешь. Мари, что значит — умер?

— Знаю, он в земле и на небе. — И добавила от себя: — Я каждое утро и каждый вечер молюсь за него боженьке у мамы на коленях.

Я поцеловал ее в лоб.

— Скажи мне, как ты молишься. Мари.

— Нельзя, дядя. Днем не молятся. Приходите к нам сегодня вечером, тогда я вам скажу молитву. Это было выше моих сил. Я перебил ее:

— Мари, я — твой папа.

— Ну-у! — протянула она. Я настаивал:

— Хочешь, чтобы я был твой папа? Девочка отвернулась.

— Нет, мой папа был красивее. Я осыпал ее поцелуями, облил слезами. Она пыталась высвободиться и кричала:

— У вас борода колючая!

Я снова усадил ее на колени и, не спуская с нее глаз, принялся расспрашивать:

— Ты умеешь читать. Мари?

— Умею, — ответила она. — Мама учит меня читать буквы.

— Ну-ка почитай, — предложил я, показывая на бумагу, которую она комкала в своих ручонках.

Она покачала прелестной головкой.

— Ну нет! Я умею читать только сказки.

— Попробуй. Почитай.

Она развернула бумагу и принялась, водя пальчиком, разбирать по складам:

— П, Р, И, при; Г, О, го; В, О, Р, вор — приговор...

Я вырвал у нее бумажку. Она читала мой смертный Я приговор. Нянька купила его за медяк. Мне-то он стоил дороже.

Словами не выразишь, что я испытывал. Мое резкое движение испугало Мари; она чуть не расплакалась и вдруг потребовала:

— Не трогайте бумагу, слышите! Это моя игрушка.

Я передал девочку няньке.

— Унесите ее.

А сам, опустошенный, полный мрачного отчаяния, снова упал на стул. Пусть скорее приходят; я больше ничем не дорожу; последняя нить, связывавшая меня с жизнью, порвана. Я готов к тому, что со мной собираются сделать.

XLIV

Священник — добрый человек, жандарм тоже. Кажется, они пролили слезу, когда я велел унести моего ребенка.

С этим покончено. Теперь мне надо собрать все душевные силы и заставить себя спокойно думать о палаче, о телеге, о жандармах, о зеваках на мосту, о зеваках на набережной, о зеваках у окон и о том, что воздвигнуто в мою честь на зловещей Гревской площади, которую можно вымостить головами, скатившимися на ней.

Кажется, у меня остался еще час, чтобы освоиться с этими мыслями.

XLV

Все эти толпы будут смеяться, хлопать в ладоши, ликовать. А среди стольких людей, свободных и незнакомых тюремщикам, с восторгом бегущих смотреть на казнь, среди этого моря голов, которое затопит площадь, не одной голове предопределено рано или поздно последовать за моей в кровавую корзину. Не один из тех, что пришел

ради меня, придет сюда ради самого себя.

Для этих отмеченных роком людей есть на Гревской площади роковая точка, центр притяжения, ловушка. Они кружат вокруг, пока не попадут в нее.

XLVI

Крошка моя Мари! Она возвращается к своим забавам. Из окна фиакра она смотрит на толпу и уже совсем не думает о чужом дяде.

Может быть, я успею написать несколько страничек для нее, чтобы она прочла их в свое время и через пятнадцать лет оплакала то, над чем не плакала сегодня.

Да, она от меня должна узнать мою историю, должна знать, почему имя, которое я завещаю ей, запятнано кровью.

XLVII

Моя история

Примечание издателя. До сих пор не удалось отыскать соответствующие страницы. По-видимому, как можно заключить из последующих,

приговоренный не успел их написать. Эта мысль возникла у него слишком поздно.

XLVIII

Из комнаты в ратуше

Из ратуши!.. Итак, я здесь. Страшный путь пройден. Площадь там, внизу, и ненавистная толпа под окном вопит и ждет меня и хохочет.

Как ни старался я быть стойким и неуязвимым, силы мне изменили. Когда я увидел поверх голов, между двумя фонарями набережной, эти поднятые кверху красные руки с черным треугольников конце, силы мне изменили. Я попросил, чтобы мне дали возможность сделать последнее заявление. Меня отвели сюда и послали за одним из королевских прокуроров. Я жду его; как-никак — выигрыш времени.

Вот как это было.

Пробило три часа, и мне пришли сказать, что пора. Я задрожал так, словно последние шесть часов, шесть недель, шесть месяцев думал о чем-то другом. Меня это поразило как нечто неожиданное. Они заставили мен идти по их коридорам, спускаться по их лестницам. Они втолкнули меня через одну, потом вторую дверцу нижнего

этажа в мрачное сводчатое тесное помещение, куда едва проникал свет дождливого, туманного дня. Посередине был поставлен стул. Мне велели сесть; я сел.

Возле двери и у стен стояли какие-то люди, кроме священника и жандармов, и еще в комнате находилось трое мужчин.

Первый, краснощекий, толстый, выше и старше остальных, был одет в сюртук и продавленную треуголку. Это был он.

Это был палач, слуга гильотины, а двое других его слуги.

Едва я сел, как те двое по-кошачьи подкрались мне сзади; я внезапно почувствовал холод стали в волосах и услышал лязганье ножниц.

Волосы мои, обстриженные кое-как, прядями падали мне на плечи, а мужчина в треуголке бережно смахивал их своей ручищей.

Кругом переговаривались вполголоса.

Снаружи слышался глухой гул, словно набегавший волнами. Я было подумал, что это река; но по взрывам смеха понял, что это толпа.

Молодой человек у окна, что-то отмечавший карандашом в записной книжке, спросил у одного из тюремщиков, как называется то, что происходит.

— Туалет, приговоренного. — ответил тюремщик.

Я понял, что завтра это будет описано в газетах.

Вдруг один из подручных стащил с меня куртку, а другой взял мои опущенные руки, отвел их за спину, я почувствовал, как вокруг моих запястий обвивается веревка. Тем временем второй снимал с меня галстук. Батистовая сорочка, — единственный клочок, уцелевший от того, кем я был прежде, — на миг привела его в замешательство; потом он принялся срезать с нее ворот.

От этой жуткой предусмотрительности, от прикосновения к шее холодной стали локти мои дернулись и приглушенный вопль вырвался у меня. Рука палача дрогнула.

— Простите, сударь! — сказал он. — Неужели я задел вас?

Палачи — люди обходительные.

А толпа снаружи ревела все громче.

Толстяк с прыщавым лицом предложил мне понюхать платок, смоченный уксусом.

— Благодарю вас, я чувствую себя хорошо, — ответил я, стараясь говорить твердым голосом.

Тогда один из подручных нагнулся и надел мне на ноги петлю из тонкой бечевки, стянув ее

настолько, чтобы я мог делать мелкие шажки. Конец этой веревки он соединил с той, которой были связаны руки. Потом толстяк накинул мне на плечи куртку и связал рукава у подбородка.

Все, что полагалось сделать, было пока что сделано.

Тут ко мне приблизился священник с распятием.

— Идемте, сын мой, — сказал он.

Помощники палача подхватили меня под мышки. Я встал и пошел. Ноги у меня были как ватные и подгибались, словно в каждой было два колена.

В этот миг наружная дверь распахнулась. Бешеный рев, холодный воздух и дневной свет хлынули ко мне. Из-под темного свода я, сквозь сетку дождя, сразу увидел все: тысячеголовую орущую толпу, запрудившую большую лестницу Дворца правосудия; направо, в уровень со входом, ряд конных жандармов, — низенькая дверца позволяла мне видеть только лошадиные ноги и груди; напротив — взвод солдат в боевом порядке; налево — задняя стенка телеги с приставленной к ней крутой лесенкой. Страшная картина, и тюремная дверь была для нее достойной рамой.

Этой минуты я боялся и для нее берег все свои

силы. Я прошел три шага и появился на пороге.

— Вот он! Вот! Выходит! Наконец-то! — завопила толпа.

И те, кто был поближе, захлопали в ладоши. При всей любви к королю его бы не встретили так восторженно.

Телега была самая обыкновенная, запряженная чахлой клячей, а на вознице был синий в красных разводах фартук, какие носят огородники в окрестностях Бисетра.

Толстяк в треуголке взошел первым.

— Здравствуйте, господин Сансон! — кричали ребятишки, взгромоздившиеся на решетку. За ним последовал один из подручных.

— Здорово, Вторник! — опять закричали ребятишки.

Оба они сели на переднюю скамейку.

Наступил мой черед. Я взошел довольно твердой поступью.

— Молодцом держится! — заметила женщина, стоявшая около жандармов.

Эта жестокая похвала придала мне силы. Священник сел рядом со мной. Меня посадили на заднюю скамейку, спиной к лошади. Такая заботливость привела меня в содрогание.

Они и здесь стараются щегольнуть человеколю-

бием. Мне захотелось посмотреть, что делается кругом. Жандармы впереди, жандармы позади, а дальше толпы, толпы и толпы; одни сплошные головы на площади.

Пикет конной жандармерии ожидал меня у ограды Дворца правосудия. Офицер скомандовал. Телега вместе с конвоем тронулась в путь, вой черни как будто подталкивал ее.

Мы выехали из ворот. В ту минуту, когда телега свернула к мосту Менял, площадь разразилась криками от мостовой до крыш, а набережные и мосты откликнулись так, что, казалось, вот-вот сотрясется земля.

На этом повороте конный пикет присоединился к конвою,

— Шапки долой! Шапки долой! — кричали тысячи голосов. Прямо как для короля.

Тут и я рассмеялся горьким смехом и сказал священнику:

— С них — шапки, с меня — голову.

Телега ехала шагом.

Набережная Цветов благоухала — сегодня базарный день. Продавщицы ради меня побросали свои букеты.

Напротив, немного подальше квадратной башни, образующей угол Дворца правосудия, рас-

положены кабачки; верхние помещения их были заполнены счастливцами, получившими такие хорошие места. Особенно много было женщин. У кабатчиков сегодня удачный день.

Люди платили за столы, за стулья, за доски, за тележки. Все кругом ломилось от зрителей. Торговцы человеческой кровью кричали во всю глотку:

— Кому место?

Злоба против этой толпы овладела мной. Мне захотелось крикнуть:

— Кому уступить мое?

А телега все подвигалась. Позади нас толпа рассеивалась, и я помутившимся взглядом смотрел, как она собирается снова на дальнейших этапах моего пути.

При въезде на мост Менял я случайно посмотрел направо и на противоположном берегу заметил над домами черную башню, которая стояла одиноко, ощетинясь скульптурными украшениями, а на верхушке ее мне были видны в профиль два каменных чудовища. Сам не знаю, почему я спросил у священника, что это за башня.

— Святого Якова-на-Бойнях, — ответил вместо него палач.

Не могу постичь, каким образом, несмотря на

туман и частый мутный дождь, заволакивавший воздух точно сеткой паутины, до мельчайших подробностей видел все, что происходило вокруг. И каждая подробность была мучительна по-своему. Есть переживания, для которых не хватает слов.

Около середины моста Менял, настолько запруженного толпой, что при всей его ширине мы едва плелись, мною овладел безудержный ужас. Я испугался, что упаду в обморок, — последний проблеск тщеславия! И постарался забыться, ни на что не смотреть, ни к чему не прислушиваться, кроме слов священника, которые едва долетали до меня сквозь шум и крик.

Я потянулся к распятию и приложился.

— Господи, смилуйся надо мной! — прошептал я, стараясь углубиться в молитву.

Но от каждого толчка телеги меня встряхивало на жестком сиденье. Потом вдруг я ощутил пронизывающий холод, одежда промокла на мне насквозь, дождь поливал мою остриженную голову.

— Вы дрожите от холода, сын мой? — спросил священник.

— Да, — ответил я.

Увы! Я дрожал не только от холода. Когда мы свернули с моста, какие-то женщины пожалели

мою молодость.

Мы выехали на роковую набережную. Я уже почти ничего не видел и не слышал. Беспрерывные крики, бесчисленные головы в окнах, в дверях, на порогах лавок, на фонарных столбах, жестокое любопытство зевак; толпа, в которой все меня знают, а я не знаю никого; человеческие лица подо мной и вокруг меня. Я был как пьяный, как безумный, я застыл как в столбняке. Нестерпимое бремя — столько упорных, неотступных взглядов.

Я трясся на скамейке, не замечая ни священника, ни распятия.

В окружающем меня шуме я не отличал уже возгласов жалости от возгласов злорадства, смеха — от вздохов, слов — от гама; все сливалось в общий гул, от которого голова у меня гудела, как медный инструмент.

Я бессознательно пробегал глазами вывески на лавках.

Один раз странное любопытство побудило меня обернуться и посмотреть на то, к чему я приближался. Это было последнее дерзание рассудка. Но тело не повиновалось, шея у меня точно окостенела, точно отмерла заранее.

Мне только удалось увидеть сбоку, слева на том

берегу одну из башен Собора Богоматери, ту, на которой флаг, — вторая скрыта за ней. Там было много народа — оттуда, верно, все видно.

А телега все подвигалась и подвигалась, лавки проплывали мимо, вывески, писаные, рисованные, золоченые, сменяли одна другую, чернь зубоскалила и топталась в грязи, и я подчинялся всему, как спящие — воле сновидения.

Вдруг ряд лавок, по которому я скользил взглядом, оборвался на углу какой-то площади; рев толпы стал еще громче, пронзительнее, восторженнее; телега неожиданно остановилась, и я едва не упал ничком на дно. Священник удержал меня.

— Мужайтесь! — шепнул он.

К задней стенке телеги приставили лесенку; священник помог мне, я спустился, сделал шаг, повернулся, чтобы сделать второй, и не мог. Между двумя фонарями набережной я увидел страшную штуку.

Нет, это был не сон!

Я зашатался, словно мне уже нанесли удар.

— Мне надо сделать последнее заявление, — слабым голосом выкрикнул я.

Меня привели сюда.

Я попросил, чтобы мне разрешили написать

мою последнюю волю. Мне развязали руки, но веревка тут; наготове, как и остальное там, внизу.

XLIX

Какое-то должностное лицо, не то судья, не то пристав, только что приходил ко мне. Я просил у него помилования, сложив руки, как на молитве, и ползая перед ним на коленях. А он с саркастической усмешкой заметил, что ради этого не стоило его звать.

— Добейтесь, добейтесь помилования! — твердил я. — Или, ради Христа, подождите хоть пять минут!

Кто знает? Помилование еще может прийти! Слишком страшно так умирать в мои годы! Не раз случалось, что помилование приходило в последнюю минуту. А кого ж и миловать, сударь, если не меня?

Безжалостный палач! Он подошел к судье и сказал, что казнь должна состояться в определенный час и час этот приближается, что он отвечает за все, а вдобавок идет дождь и механизм может заржаветь.

— Ради Христа, подождите еще минутку, пока придет помилование, а то я не дамся, я буду

кусаться!

Судья и палач вышли. Я один — один с двумя жандармами.

О эта гнусная чернь! Она воет, как гиена. А вдруг я ускользну от нее? Вдруг я буду спасен? Помилован?.. Не могут меня не помиловать!

Проклятые! Я слышу на лестнице их шаги...

Четыре часа.

1829 г.

КЛОД ГЕ

Лет семь или восемь тому назад в Париже жил бедный рабочий по имени Клод Ге. Жил он вместе со своей возлюбленной, от которой имел ребенка. Я описываю только то, что было в действительности, пусть ход событий раскроет читателю нравоучительный смысл этой истории. Рабочий этот, умный, способный, дельный человек, был лишен образования, но щедро одарен природой; он не умел читать, но умел мыслить. Как-то зимой он очутился без работы. В его лачуге не было ни хлеба, ни огня. Мужчина, женщина и ребенок мерзли и голодали. И тогда он украл. Не знаю, что он украл, и не знаю, где он украл. Знаю лишь одно: после этой кражи женщина и ребенок три дня были сыты и жили в тепле, а он был приговорен к пяти годам тюрьмы.

Отбывать наказание рабочего послали в Центральную тюрьму Клерво. Клерво — это монастырь, превращенный в острог, келья, превращенная в темницу, алтарь, превращенный в позорный столб. Вот каким образом иные люди понимают прогресс и как претворяют его в жизнь.

Вот какой смысл придают они этому слову.

Однако продолжаю.

В тюрьме его на ночь запирали в камеру, а на день переводили в мастерскую. Но, разумеется, не работу в мастерской я порицаю.

Клод Ге, некогда честный рабочий, а ныне вор, обладал строгой, благородной внешностью. Он был еще молод, но морщины уже избороздили его высокий лоб, а в черных волосах проступала седина; у него были добрые, глубоко сидевшие глаза, красиво изогнутые брови, резко очерченные ноздри, решительный подбородок, презрительно сжатый рот. Словом, прекрасная голова. Дальше мы увидим, что с ней сделало общество.

Речь его была немногословна, движения сдержанны. Какая-то внутренняя сила заставляла людей ему повиноваться; выражение его лица было задумчивое и скорее серьезное, чем страдальческое. А ведь страдал он в жизни не мало.

В тюрьме, куда заточили Клода Ге, был старший надзиратель, своего рода тюремный чиновник. Это сторож и подрядчик одновременно: он раздает заключенным заказы как рабочим и следит за ними как за арестантами, вручает им инструмент и заковывает их в кандалы. Старший надзиратель в Клерво, один из представителей

такой породы людей, был резкий, жестокий, ограниченный человек, любивший проявлять свою власть; однако при случае он мог принять вид простака, доброго малого, даже благосклонно шутил и смеялся. Скорее упрямый, чем твердый, он не терпел никаких рассуждений и сам не любил рассуждать. Вероятно, он был неплохим отцом и супругом, но по обязанности, а не из добродетели; в общем — человек не злой, но и не хороший. Он был одним из тех, в ком нет ни чуткости, ни отзывчивости, кого не волнуют никакие мысли и переживания, кто испытывает холодную злобу, мрачную ненависть, кто подвержен вспышкам ярости без душевного волнения, кто горит, но не согревается, ибо не способен на теплые чувства. Таких людей можно сравнить с деревом, которое пылает с одного конца, оставаясь холодным с другого. Главной и основной чертой характера этого человека было упорство. Он гордился своим упорством и сравнивал себя с Наполеоном. Но это был только обман. Тем не менее есть люди, которых это вводит в заблуждение и которые на известном расстоянии принимают упрямство за силу воли, а пламя свечи за звезду. Когда он утверждал или совершал какую-нибудь глупость, то, несмотря на все разумные доводы, он до конца

отстаивал свое мнение, желая доказать этим силу своего характера. Безрассудное упрямство — это дурь, граничащая с глупостью и переходящая в нее. Такое упрямство может завести очень далеко. И в самом деле, когда происходит какая-либо общественная или личная катастрофа и мы по следам обломков пытаемся установить причины совершившегося несчастья, то мы почти всегда узнаем, что эта катастрофа произошла по вине какого-нибудь самодовольного, ничтожного и упрямого человека, заблуждающегося и уверенного в своей правоте. На свете много таких мелких самодуров, считающих свою волю роком, а себя — провидением.

Вот таким-то и был старший надзиратель мастерских Центральной тюрьмы Клерво. Таково было огниво, которым общество ежедневно высекало искры из заключенных.

Искра, выбитая огнивом из кремней подобного рода, нередко вызывает пожары.

Мы уже говорили, что по прибытии в Клерво Клод Ге был зачислен в мастерскую и прикреплен к определенной работе. Старший надзиратель мастерских, познакомившись с Клодом и убедившись, что этот рабочий знает свое дело, обращался с ним не плохо. Однажды, будучи в

хорошем настроении и видя, что Клод Ге очень грустен и не перестает вспоминать ту, которую называл своей женою, надзиратель мимоходом, весело, как бы желая утешить его, сообщил, что эта несчастная сделалась продажной женщиной. Клод сдержанно спросил, что же сталось с ребенком. Но этого никто не знал.

Прошло несколько месяцев, Клод свыкся с тюрьмой и, казалось, ни о чем больше не вспоминал. Суровое спокойствие, свойственное его натуре, снова овладело им.

Приблизительно в это же время Клод стал пользоваться каким-то особым влиянием среди своих товарищей. Словно по некоему молчаливому уговору, причем никто, даже он сам, не знал почему, эти люди начали советоваться с ним, слушаться его, восхищаться им и подражать ему, что является уже высшей степенью восхищения. Немалая честь заставить повиноваться всех этих непокорных. Клод и не помышлял о такой чести. Причиной этой власти, по всей вероятности, было выражение его глаз. В глазах человека всегда отражаются его мысли. А если человек мыслящий попадает в среду людей не умеющих мыслить, то через некоторое время все темные умы благодаря непреодолимой силе притяжения

начнут смиренно и с благоговением тянуться к уму более светлому. Есть люди, притягивающие к себе других людей, как магнит притягивает железо. Таким магнитом и был Клод Ге.

Не прошло и трех месяцев, как Клод сделался законодателем, властелином и любимцем мастерской. Его слово было законом. Порою он сам даже недоумевал: кто же он — король или пленник? Он был словно папа, захваченный в плен вместе со своими кардиналами.

Естественным следствием такого положения вещей, присущего всем слоям общества, явилось то, что Клода, столь сильно любимого заключенными, возненавидели тюремщики. Так бывает обычно. Популярность всегда сопровождается немилостью. Любовь рабов удваивает ненависть хозяев.

Клод Ге много ел. Это было особенностью его организма. Желудок его был устроен так, что ему едва хватало пищи, достаточной для двух человек. Господин де Котадилья обладал подобным аппетитом и очень этим забавлялся; но то, что веселит испанского гранда и герцога, обладателя пятисот тысяч баранов, крайне обременительно для простого рабочего, для арестанта же — сущая беда.

Прежде, когда Клод Ге был свободен и трудился весь день у себя на чердаке, он зарабатывал достаточно для того, чтобы купить себе четыре фунта хлеба, которые и съедал. В тюрьме Клод Ге также трудился весь день, но уже получал за свой труд только полтора фунта хлеба и одиннадцать унций мяса. Этот рацион не подлежал увеличению. Потому в тюрьме Клер во Клод Ге был постоянно голоден.

Он был голоден, вот и все. Но он молчал об этом, ибо не в его характере было жаловаться.

Как-то раз Клод, быстро покончив со своим скудным обедом, первым принялся за работу, надеясь хоть этим заглушить голод. Остальные арестанты еще продолжали весело есть. Вдруг какой-то молодой узник, бледный и слабый, подошел к Клоду. В руках он держал нож и свою порцию, до которой еще не дотрагивался. Он встал около Клода с таким видом, будто хочет, но не решается с ним заговорить. Вид этого человека, его хлеб и мясо — все было неприятно Клоду.

— Что тебе надо? — резко спросил он.

— Окажи мне услугу, — робко попросил его юноша.

— Что ты хочешь? — повторил Клод.

— Помоги мне съесть мою порцию. Мне этого

слишком много.

Слезы выступили на гордых глазах Клода. Он достал нож, разрезал паек на две равные части, взял себе половину и принялся за еду.

— Спасибо, — сказал молодой арестант. — Если ты хочешь, мы будем так делать всегда.

— Как тебя зовут? — спросил Клод Ге.

— Альбеном.

— За что ты попал сюда?

— За кражу.

— Я — тоже, — сказал Клод.

С этого времени они стали делить свою еду ежедневно. Клоду Ге было тридцать шесть лет, но порой ему можно было дать все пятьдесят, настолько он был серьезен. Альбену же было двадцать, но ему обыкновенно давали не больше семнадцати, так простодушно наивен был взгляд этого вора. Между ними завязалась тесная дружба; скорее дружба отца с сыном, чем брата с братом. Ведь Альбен был почти ребенком, а Клод — почти стариком.

Они работали в одной мастерской, спали под одной крышей, вместе гуляли на тюремном дворе, ели один и тот же хлеб. Каждый был для другого целым миром. Казалось, они были счастливы.

Мы уже говорили о начальнике мастерских.

Заключенные ненавидели его, и потому нередко, чтобы заставить их слушаться, ему приходилось обращаться за помощью к Клоду Ге, который был любим всеми. Не раз, когда нужно было предупредить какую-нибудь вспышку недовольства или бунт, неписанная власть Клода Ге помогала официальной власти старшего надзирателя. И действительно, десять слов Клода скорее могли обуздать арестантов, нежели десять жандармов. Клод неоднократно оказывал подобные услуги своему надзирателю. Поэтому последний и возненавидел его всем сердцем. Он завидовал этому вору. В нем родилась глубокая, тайная, неумолимая ненависть к Клоду, ненависть законного правителя к правителю фактическому, ненависть власти мирской к власти Духовной.

Нет ничего ужаснее подобной ненависти!

Но Клод очень любил Альбена, а о старшем надзирателе и не думал.

Однажды утром, когда тюремные сторожа переводили попарно арестантов из камер в мастерские, один из тюремщиков подозвал к себе Альбена, шедшего рядом с Клодом, и сообщил ему, что его требует к себе старший надзиратель.

— Зачем ты ему понадобился? — удивился Клод.

— Не знаю, — ответил Альбен.

Тюремщик увел Альбена.

Прошло утро, Альбен не вернулся в мастерскую. Когда наступил час отдыха, Клод решил, что встретит Альбена на тюремном дворе. Но и во дворе Альбена не оказалось. Возвратились в мастерскую, Альбен так и не появился. Прошел день. Вечером, когда арестантов разводили по камерам, Клод всюду искал глазами Альбена, но его нигде не было видно. Вероятно, Клод очень страдал, потому что заговорил с тюремщиком, чего раньше никогда не делал.

— Уж не захворал ли Альбен? — спросил его Клод.

— Нет, — ответил тюремщик.

— Почему же он не вернулся? — продолжал Клод.

— Его перевели в другое отделение, — небрежно ответил сторож.

Свидетели, которые впоследствии давали на суде показания, говорили, что они заметили, как в этот миг дрогнула рука Клода, державшая зажженную свечу. Тем не менее он спокойно спросил:

— Кто дал этот приказ?

Тюремщик ответил.

— Господин Д.

Так звали старшего надзирателя мастерских.

Следующий день прошел так же, как и предыдущий, — без Альбена.

Вечером, после окончания работ, старший надзиратель мастерских г-н Д. делал свой ежедневный обход. Клод, еще издали заметив его, снял свой колпак из грубой шерсти и тщательно застегнул серую куртку — печальную одежду арестанта, ибо в тюрьме считается проявлением особого почтения к начальству, когда куртка арестанта аккуратно застегнута на все пуговицы, и встал с колпаком в руке около своей скамьи, поджидая прохода старшего надзирателя. Надзиратель прошел мимо.

— Господин старший надзиратель! — обратился к нему Клод.

Надзиратель остановился и слегка повернулся к Клоду.

— Господин старший надзиратель, — повторил Клод, — правда ли, что Альбена перевели в другое отделение?

— Да, — ответил тот.

— Сударь, — продолжал Клод, — я жить не могу без Альбена.

И прибавил:

— Вы же знаете, что мне нехватает моего пайка и что Альбен делился со мной хлебом.

— Это его дело, — сказал начальник.

— Неужели никак нельзя вернуть Альбена в нашу мастерскую?

— Невозможно. Так решено.

— Кем?

— Мною.

— Господин Д., для меня это вопрос жизни и смерти, и все зависит от вас.

— Я никогда не меняю своих решений.

— Сударь, разве я чем-нибудь провинился перед вами?

— Нет.

— Так почему же вы разлучаете нас с Альбеном? — спросил Клод.

— Потому... — ответил надзиратель.

И дав такое объяснение, он прошел дальше.

Клод опустил голову и ничего не возразил. Бедный лев в клетке, у которого отняли его друга — щенка!

Приходится все же сказать, что горе, причиненное этой разлукой, нисколько не уменьшило невероятного, пожалуй даже болезненного, аппетита арестанта. Впрочем, никаких видимых изменений в нем, казалось, не произошло. Ни

с кем из товарищей он не говорил об Альбене. Только на прогулке шагал теперь один по тюремному двору и всегда был голоден. Больше ничего.

Однако те, кто хорошо знал его, замечали, как все мрачнее и тревожнее становилось выражение его лица. Впрочем, никогда он не был так кроток.

Многие предлагали делиться с ним своим пайком, но он с улыбкой отказывался.

Каждый вечер, с тех пор как он впервые объяснился с начальником, он позволял себе одну и ту же странную выходку, удивительную для такого серьезного человека.

Когда надзиратель в урочное время проходил, совершая свой обычный обход, мимо Клода, тот поднимал глаза и, пристально глядя на надзирателя, голосом полным тоски и гнева, в котором звучали одновременно и мольба и угроза, произносил следующие слова:

— Как же с Альбеном?

Начальник делал вид, будто ничего не слышит, или уходил, пожимая плечами.

Напрасно он пожимал плечами, так как для всех, кто видел эти странные сцены, было очевидно, что Клод Ге что-то задумал. Вся тюрьма с беспокойством ждала, чем же кончится борьба

между упрямством и твердо принятым решением.

Однажды слышали, как Клод сказал надзирателю:

— Послушайте, сударь, верните моего товарища. Вы поступите благоразумно, уверяю вас. Заметьте, что я вас предупредил.

В другой раз, дело было в воскресенье, Клод просидел неподвижно, не меняя положения, несколько часов во дворе на камне, упершись локтями о колена и положит голову на руки. Один из арестантов, по имени Файет, подошел к нему и, смеясь, крикнул:

— Клод, какого чорта ты здесь делаешь?

Тогда Клод медленно повернулся к нему лицом и мрачно ответил:

— Выношу приговор.

Наконец вечером 25 октября 1831 года, в то время, когда старший надзиратель мастерских производил обход, Клод с треском раздавил ногой стекло от часов, найденное им утром в коридоре. Начальник спросил, что за шум,

— Пустяки, — сказал Клод, — это сделал я. Господин старший надзиратель, верните моего товарища.

— Невозможно, — ответил тот.

— Однако это необходимо, — тихо, но решительно заявил Клод и, глядя прямо в лицо начальнику, прибавил: — Подумайте хорошенько. Сегодня двадцать пятое октября. Даю вам срок до четвертого ноября.

Тюремный сторож обратил внимание г-на Д. на то, что Клод угрожает ему и что за это полагается карцер.

— Обойдемся без карцера, — с презрительной усмешкой возразил старший надзиратель, — с этим народом следует поступать по-хорошему.

На следующий день арестант Перно подошел к Клоду, который задумчиво расхаживал один по двору в стороне от остальных арестантов, столпившихся на противоположном конце двора, на небольшой площадке, залитой лучами солнца.

— О чем ты все думаешь, Клод? Почему такой грустный?

— Боюсь, как бы с нашим добрым начальником, господином Д., не случилось бы вскоре несчастия, — ответил Клод.

От 25 октября по 4 ноября целых девять дней. И все эти девять дней Клод Ге неизменно повторял г-ну Д., что он все сильней и сильней страдает из-за разлуки с Альбеном. Надзиратель, которому это надоело, отправил его на сутки в карцер,

— просьба Клода уж слишком походила на требование. Больше ничего Клод не мог добиться.

Наступило четвертое ноября. В то утро Клод проснулся с таким спокойным лицом, какого у него не видели с тех пор, как по решению г-на Д. он был разлучен со своим другом. Поднявшись с постели, он начал рыться в простом деревянном сундучке, стоявшем в ногах его койки. Там хранился весь его жалкий скарб. Он достал оттуда небольшие ножницы. Эти ножницы и разрозненный томик «Эмиля»[33] было все, что осталось ему от любимой им женщины — матери его ребенка, от его прежнего счастливого семейного очага. Эти вещи были совершенно не нужны Клоду. Ножницы могли пригодиться только женщине, умеющей шить, а книга — человеку грамотному. Клод же не умел ни шить, ни читать.

Проходя по старой монастырской галлерее, выбеленной известью, которая зимою служила местом прогулки для заключенных, он подошел к арестанту Феррари, стоявшему у окна и внимательно рассматривавшему толстую железную

---

[33] Примечания: 33

«Эмиль» — педагогический роман французского революционного просветителя Жан-Жака Руссо (1712-1778), в котором, как и во всем творчестве писателя, дается резкая критика социальной несправедливости, уродующей нравственный облик доброго по природе человека.

решетку. Клод держал в руках небольшие ножницы; он показал их Феррари и сказал:

— Сегодня вечером я перережу решетку вот этими ножницами.

Феррари недоверчиво засмеялся, засмеялся и Клод.

В это утро Клод работал еще усерднее, чем обычно. Никогда еще дело так не спорилось в его руках. Он как будто задался целью во что бы то ни стало закончить до полудня соломенную шляпу, которую ему заказал и за которую ему уплатил вперед один честный гражданин города Труа, по фамилии Бресье.

Незадолго до полудня Клод под каким-то предлогом спустился в столярную мастерскую, помещавшуюся этажом ниже.

Клод редко туда заглядывал, хотя и там его любили, как и повсюду.

— Смотрите-ка, пришел Клод!

Все окружили его. Его приход был для всех праздником.

Клод быстро оглядел мастерскую, никого из надзирателей там не оказалось. Он спросил:

— Кто одолжит мне топор?

— Зачем тебе? — удивились заключенные. Клод ответил:

— Чтобы сегодня вечером убить старшего надзирателя мастерских.

Ему предложили на выбор несколько штук. Он взял самый маленький, хорошо наточенный топорик, заткнул его за пояс штанов и вышел. В мастерской в этот момент находилось двадцать семь арестантов. И несмотря на то, что Клод никого из них не просил хранить это дело в тайне, ни один из них не проговорился. Даже между собою они об этом не разговаривали. Каждый молча ждал развязки. Дело было слишком страшное, но правое и для всех понятное. Оно не допускало никакого вмешательства. Мыслимо ли было отговорить Клода, мыслимо ли было донести на него.

Час спустя, подойдя к шестнадцатилетнему арестанту, зевавшему во время прогулки, Клод посоветовал ему выучиться читать. В это время другой арестант, Файет, подошел к Клоду и спросил его:

— Что ты там прячешь за поясом? Клод ответил:

— Топор, чтобы убить вечером г-на Д. И прибавил:

— А что, разве заметно?

— Немного, — ответил Файет.

День закончился, как обычно. В семь часов ве-

чера заключенных заперли в мастерских, где они работали; надзиратели, как всегда, ушли, чтобы вернуться после обхода своего начальника.

Клода Ге вместе с товарищами тоже заперли в мастерской.

И вот тогда-то и разыгралась в этой мастерской необычайная сцена, сцена полная трагизма и величия, единственная и неповторимая.

Там в это время находилось, как было установлено позднее судебным следствием, восемьдесят два человека, осужденных за кражу, в том числе и Клод.

Как только надзиратели вышли, Клод вскочил на скамью и во всеуслышание заявил, что он хочет что-то сказать. Наступило молчание.

Клод начал громким голосом:

— Все вы знаете, что Альбен был мне братом. Мне мало той еды, которую я здесь получаю. Даже когда я прикупаю хлеба на свои заработанные гроши, мне все равно нехватает. Альбен делился со мной своей порцией. Сперва я полюбил его за то, что он кормил меня, а потом за то, что он любил меня. Старший надзиратель господин Д. разлучил нас. То, что мы были вместе, нисколько ему не мешало, но он злой человек, и ему доставляет удовольствие мучить других. Много раз я

просил его вернуть Альбена. Все вы знаете, что он отказался выполнить мою просьбу. Я дал ему срок до четвертого ноября.

За это он посадил меня в карцер. Тем временем я судил его и приговорил к смерти. Сегодня четвертое ноября. Через два часа он будет здесь на обходе. Предупреждаю вас, что я убью его. Что вы на это скажете?

Все молчали.

Тогда Клод заговорил снова. Говорил он с необычайным красноречием, которое, впрочем, было ему свойственно. Он заявил, что отлично сознает, какое ужасное преступление собирается совершить, но что считает себя правым. Он взывал к совести восьмидесяти одного вора, внимавших ему, и сказал следующее:

Что он доведен до полного отчаяния;

что он вынужден сам совершить правосудие, ибо другого выхода нет;

что за жизнь начальника он, правда, должен отдать свою жизнь, но что он готов пожертвовать ею ради правого дела;

что свое решение он обдумывал целых два месяца и пришел к нему после зрелого размышления;

что руководит им, и в этом он уверен, отнюдь

не чувство мести, а справедливость, но если он ошибается, то просит ему об этом сказать прямо;

что он честно предоставляет все свои доводы на суд людей, способных рассудить его по справедливости;

что он намерен убить г-на Д., но если кто-нибудь возразит против этого, он готов его выслушать.

В ответ раздался только один голос: кто-то сказал, что, прежде чем убить, Клод должен в последний раз обратиться к старшему надзирателю и попытаться его переубедить.

— Правильно, — согласился Клод, — так я и сделаю.

На больших стенных часах пробило восемь. Старший надзиратель должен был прийти ровно в девять.

Как только этот необычайный кассационный суд как бы утвердил приговор, вынесенный Клодом, тот совершенно успокоился. Он разложил на столе то, что у него еще оставалось из белья и одежды, весь свой жалкий арестантский скарб, и, подзывая поочередно тех, кого он после Альбена любил больше других, все им роздал. Только маленькие ножницы он оставил себе.

Потом он простился со всеми. Некоторые плакали, и тем он ласково улыбался.

В этот последний час Клод в иные минуты был так спокоен и даже весел, что многие из его товарищей стали надеяться, как они рассказывали впоследствии, что он откажется от своего намерения. Он даже позабавился тем, что задул ноздрей одну из немногих свечей, освещавших мастерскую. У него оставались еще дурные замашки, которые чаще, чем следовало, портили его врожденное благородство. Ничем нельзя было вытравить из прежнего уличного мальчишки запаха сточных канав Парижа.

Он обратил внимание на одного молодого арестанта, который, побледнев, смотрел на него остановившимися глазами и дрожал от страха в ожидании того, что сейчас произойдет.

— Полно, будь смелее, мальчуган, — ласково обратился к нему Клод, — ведь это минутное дело!

После того как Клод распределил свои вещи и попрощался с товарищами, крепко пожав всем руки, он приказал прекратить тревожные разговоры, доносившиеся из темных углов мастерской, и снова приняться за работу. Все молча повиновались.

Мастерская, где происходили эти события, представляла собой длинную прямоугольную комнату, окна которой находились на обеих про-

дольных стенах, а двери были расположены друг против друга на противоположных сторонах. Станки стояли рядами вдоль окон, а скамейки — под прямым углом к стене. Между двумя рядами станков оставалось свободное пространство, которое длинным коридором тянулось через всю комнату от одной двери к другой. По этому длинному, неширокому коридору и должен был пройти старший надзиратель во время обхода. Он входил обыкновенно в дверь с южной стороны и выходил в северную, осматривая рабочих, находившихся справа и слева от него. Путь этот он проделывал всегда довольно быстро, не останавливаясь.

Клод вернулся на скамью и принялся за работу, так же как Жак Клеман[34] принялся бы за молитву.

Наступило тягостное ожидание. Роковой момент приближался. Раздался удар колокола, Клод произнес:

— Без четверти девять.

Он поднялся, медленно прошел по мастерской

---

[34] Примечания: 34

Жак Клеман — молодой французский монах XVI в., отличавшийся фанатической религиозностью. По наущению крупных феодалов, вожаков католической Лиги, убил французского короля Генриха III (1589) и сам был зарублен на месте.

и, остановившись, облокотился на угол станка, стоявшего с левой стороны, ближе других к входной двери. Лицо его было совершенно спокойно и даже доброжелательно.

Пробило девять. Дверь отворилась. Старший надзиратель вошел. В мастерской наступило мертвое молчание. Начальник по обыкновению шел один. Его лицо, как всегда, выражало веселое самодовольство, самоуверенность и бессердечие; не заметив Клода, неподвижно стоявшего слева от двери и державшего правую руку в кармане, он быстро прошел мимо первых станков, неодобрительно покачивая головой, бормоча что-то себе под нос, равнодушно поглядывая вокруг и не замечая, что все взоры направлены на него, что все сосредоточены на одной ужасной мысли.

Вдруг он резко обернулся, услыхав позади чьи-то шаги.

Уже несколько секунд Клод молча шел за ним.

— Что ты здесь делаешь? — удивился надзиратель. — Почему ты не на своем месте?

В тюрьме человек перестает быть человеком, он — собака, ему говорят ты.

Клод Ге почтительно ответил:

— Господин старший надзиратель, мне надо кое-что сказать вам.

— Что еще?

— Насчет Альбена.

— Опять! — возмутился начальник.

— Как всегда! — ответил Клод.

— Так, значит, — сказал начальник, не останавливаясь, — тебе мало одних суток карцера?

— Господин старший надзиратель, верните мне товарища, — продолжал Клод, следуя за ним.

— Невозможно!

— Господин старший надзиратель, — взмолился Клод с таким отчаянием в голосе, что мог бы разжалобить самого дьявола, — умоляю вас, верните Альбена, вы увидите, как я буду стараться работать. Вы человек свободный, вам не понять, вы не знаете, что такое друг. У меня же нет ничего, кроме тюремных стен. Вы-то можете бывать повсюду, видеться с кем угодно, а у меня нет никого, кроме Альбена. Верните его. Только благодаря Альбену я был сыт, ведь вы это прекрасно знаете. Что вам стоит сказать: «да»? Не все ли вам равно, если два человека, один по имени Клод Ге, а другой по имени Альбен, станут работать вместе в одной мастерской. Дело самое простое. Господин старший надзиратель, мой добрый господин Д., сжальтесь, умоляю вас во имя всего святого!

Никогда еще Клод так много не говорил со

своим тюремщиком. Он совсем изнемог от напряжения и молча ждал ответа. Начальник нетерпеливо возразил:

— Невозможно. Сказано тебе. Прекрати разговоры. Ты мне надоел.

И так как он торопился, то ускорил шаги. Клод неотступно следовал за ним. Таким образом они оба очутились перед выходной дверью; восемьдесят арестантов смотрели и слушали затаив дыхание.

Клод тихонько дотронулся до руки начальника.

— Но все же я хочу знать, за что вы приговариваете меня к смерти. Скажите, почему вы нас разлучили?

— Я тебе, кажется, уже говорил, — ответил надзиратель, — потому... — И, повернувшись к Клоду спиной, взялся за ручку двери.

Услыхав такой ответ, Клод отступил на шаг. Восемьдесят человек, окаменевших от ужаса, видели, как он вынул из кармана руку с топором. Он взмахнул рукой и, прежде чем надзиратель успел вскрикнуть, страшными ударами топора, нанесенными по одному и тому же месту, раскроил ему череп. В то время, когда надзиратель падал навзничь, он четвертым ударом рассек его лицо.

Но трудно остановить вырвавшуюся наружу ярость, и Клод пятым, совсем уже лишним, ударом ранил ему бедро. Надзиратель был мертв.

Тогда Клод бросил топор и закричал:

— *Теперь очередь за другим!*

Под другим он подразумевал себя. Он выхватил из кармана куртки ножницы своей жены и раньше, чем кто-либо успел ему помешать, вонзил их себе в грудь. Лезвия ножниц были коротки, а грудь глубока. Он нанес себе не менее двадцати ударов.

— Проклятое сердце, никак не доберусь до тебя! — воскликнул Клод.

Наконец, обливаясь кровью, он упал без чувств, прямо на труп убитого.

Кто же из них был чьей жертвой?

Клод очнулся на больничной койке, весь забинтованный и обвязанный, окруженный заботами и уходом. Над его изголовьем склонялись внимательные сестры милосердия, и даже следователь, снимавший с него допрос, спрашивал его участливо:

— *Ну как вы себя чувствуете?*

Клод потерял очень много крови, но не один из ударов ножницами, которыми он с трогательным суеверием хотел лишить себя жизни, не оказался

для него смертельным. Смертельными были для него только те раны, которые он нанес г-ну Д.

Началось следствие. На вопрос: убил ли он начальника мастерских тюрьмы Клерво, Клод ответил: да. Когда его спросили: почему, он ответил: потому.

Меж тем раны его нагноились, и он чуть не умер от заражения крови.

Ноябрь, декабрь, январь и февраль прошли в лечении и приготовлениях к суду. Врачи и судьи хлопотали возле Клода; одни лечили его раны, другие готовили для него эшафот.

Но будем кратки. 16 марта 1832 года Клод, совершенно здоровый, предстал перед судом присяжных города Труа. Весь город присутствовал в зале заседания.

Клод превосходно держался на суде. Он был тщательно выбрит, стоял с обнаженной головой, на нем была мрачная одежда арестанта тюрьмы Клерво, сшитая из серой материи двух различных оттенков.

По приказанию королевского прокурора, в залу со всей округи согнали солдат, «чтобы, — как говорил прокурор во время заседания, — обуздать каторжников, которые должны были выступать в качестве свидетелей». При начале допроса

неожиданно представилось затруднение. Никто из очевидцев события 4 ноября не хотел давать показаний. Председатель грозил применить к ним особые меры. Это не подействовало. Тогда Клод приказал им повиноваться. У всех сразу развязались языки, и свидетели рассказали обо всем, что видели.

Клод слушал показания с глубоким вниманием. Когда какой-нибудь свидетель по забывчивости или намеренно опускал подробности, отягчавшие вину подсудимого, Клод сейчас же поправлял его.

Постепенно картина описанных нами событий полностью развернулась перед судом.

Были моменты, когда присутствующие в зале женщины плакали. Судебный пристав вызвал Альбена. Наступила его очередь дать показание. Он вошел нетвердыми шагами, задыхаясь от рыданий. И не успели жандармы ему помешать, как он бросился в объятия Клода. Клод поддержал его и с улыбкой обратился к королевскому прокурору:

— Вот тот злодей, который делится куском хлеба с голодными. — И он поцеловал руку Альбена.

Когда свидетельские показания закончились, королевский прокурор встал и начал свою речь

следующими словами:

— Господа присяжные заседатели, общество будет потрясено до самого основания, если правосудие не покарает такого ужасного преступника, как тот, что находится здесь, и т. д.

После этой достопамятной речи говорил адвокат Клода. Речь прокурора и речь защитника вызвали в публике те колебания в настроении, которые обычно имеют место на подобного рода ристалищах, называемых уголовным процессом.

Клод решил, что не все еще сказано. Он поднялся в свою очередь и произнес такую речь, что один из присутствовавших на этом заседании, человек высоко интеллигентный, вернулся оттуда потрясенным.

Этот простой, неграмотный рабочий больше походил на оратора, чем на убийцу. Стоя перед судом с ясным, открытым и смелым видом, он говорил негромким проникновенным голосом, сопровождая свою речь одним и тем же движением руки, исполненным достоинства. Он рассказал все, как было, просто, серьезно, ничего не преувеличивая и не преуменьшая, согласился с правильностью обвинения, смело идя навстречу статье 296-й и подставляя под нее голову. Порою он возвышался до подлинного красноречия и

вызывал такое волнение в публике, что люди передавали его слова друг другу на ухо.

Тогда по зале пробегал шопот, а Клод в это время переводил дыхание и гордо смотрел на присутствующих.

Порою этот неграмотный рабочий выражался настолько мягко, вежливо и даже изысканно, что производил впечатление вполне образованного человека. В то же время он скромно, сдержанно, внимательно следил за ходом дела, благожелательно относясь к судьям.

Только один раз он возмутился и вышел из себя. Случилось это, когда королевский прокурор в упомянутой выше речи заявил, что Клод Ге убил начальника мастерских без всяких побудительных причин, так как со стороны начальника не было ни насилия, ни вызова.

— Как! — воскликнул Клод. — С его стороны не было никакого вызова? Ну да, вы, разумеется, правы, я вас понимаю. Если пьяный ударит меня кулаком и я убью его, — я заслуживаю снисхождения, вы приговариваете меня к каторжным работам, потому что я был на это вызван. Но человек трезвый и в полном разуме может в продолжение четырех лет издеваться надо мной, унижать меня; в продолжение четырех лет еже-

дневно, ежечасно, ежеминутно наносить мне самые неожиданные оскорбления, и все это в продолжение целых четырех лет! Я любил женщину, ради которой я украл, — он терзает меня разговорами об этой женщине; у меня был ребенок, ради которого я украл, — он терзает меня разговорами о ребенке; мне нехватало хлеба, друг стал делиться со мной, — он отнимает у меня и друга и хлеб. Я прошу его вернуть моего друга, он сажает меня за это в карцер. Я говорю этому полицейскому соглядатаю вы, он говорит мне ты. Я рассказываю ему о своих муках, он отвечает, что я надоел ему.

Что же мне оставалось делать, по-вашему? Да, я убил его. Да, я чудовище, потому что убийство это не было ничем вызвано. Вы намерены казнить меня? Казните!

Этот сильный довод необычайно ярко, по-моему, доказал всю несправедливость того, что лишь физическая провокация дает право на смягчающие вину обстоятельства, в то время как провокация нравственная совершенно упускается из виду нашим законодательством.

По окончании прений председатель дал беспристрастное и яркое заключение. Он сделал следующие выводы: «Жизнь вел грязную. Безусловно, нравственный урод. Начал с того, что

сожительствовал с проституткой, затем украл и, наконец, убил». Все это не подлежало сомнению.

Перед тем, как присяжные заседатели должны были удалиться в свою комнату, председатель спросил подсудимого, не имеет ли он каких-нибудь замечаний по поводу поставленных вопросов.

— Почти нет, — ответил Клод. — Впрочем, вот что. Да, я вор и убийца, да, я украл и убил. Но почему я украл? Почему я убил? Поставьте оба эти вопроса наряду с другими, господа присяжные заседатели.

После пятнадцатиминутного обсуждения решением двенадцати жителей Шампани, именуемых *господами присяжными заседателями*, Клод Ге был приговорен к смертной казни.

Несомненно, что некоторые присяжные заседатели уже при начале прений обратили внимание на неблагозвучную фамилию подсудимого[35], и это произвело на них неприятное впечатление.

Когда Клоду прочли приговор, он ограничился следующими словами:

— *Отлично. Но почему этот человек украл? Почему убил? На эти два вопроса они так и не*

---

[35] Примечания: 35

Gueux на французском языке означает: нищий, оборванец.

ответили.

Вернувшись в тюрьму, Клод спокойно поужинал и произнес:

— Прожил тридцать шесть лет.

Он не хотел подавать кассационной жалобы. Одна из сестер милосердия, ухаживавшая за ним во время болезни, со слезами умоляла его об этом. Он согласился из жалости к ней. Но, по-видимому, все-таки упирался до последней минуты и подписал прошение лишь тогда, когда предусмотренный законом трехдневный срок уже истек.

Обрадованная его согласием, сестра милосердия подарила ему пять франков. Клод взял деньги и поблагодарил.

Пока не пришел ответ на кассацию, все арестанты города Труа. предлагали устроить ему побег, — настолько все они были ему преданы. Но Клод наотрез отказался.

Заключенные весьма удачно подбросили в его одиночную камеру через слуховое окошко гвоздь, железную проволоку и ручку от ведра. Любым из этих предметов такой сообразительный и умелый человек, как Клод, мог перепилить кандалы. Он отдал ручку, проволоку и гвоздь тюремщику.

Восьмого июня тысяча восемьсот тридцать

второго года, через семь месяцев и четыре дня после свершившегося, наступило возмездие, *pede claudo*.[36]

В этот день в семь часов утра в камеру Клода вошел судебный исполнитель и объявил, что Клоду остается жить всего лишь час.

Кассация был отклонена.

— Ну что ж, — равнодушно произнес Клод. — Я хорошо выспался этой ночью и даже не подозревал, что следующую буду спать еще лучше.

Мне кажется, что слова людей, сильных духом, приобретают особое величие перед лицом смерти.

Пришел священник, потом палач. Клод был почтителен со священником и кроток с палачом. Он беспрекословно отдавал и душу и тело.

Он сохранил полное присутствие духа. В то время, когда ему брили голову, кто-то в другом углу камеры упомянул о холере, угрожавшей городу Труа.

— Зато мне, — сказал Клод с улыбкой, — уже не

---

[36] Примечания: 36

Хромою стопой. Слова из Горация («Оды», кн. 3, ода 2, ст. 31-32):

Raro antecedentem scelestum
Desernit pede Poena claudo.
(«Но редко пред собой злоде
Кара упустит, хотя б хромая».)

страшна никакая холера.

Он внимательно выслушал священника, сожалея, что никто не говорил с ним прежде о религии.

Клоду по его просьбе вернули те ножницы, которыми он хотел лишить себя жизни. Одного лезвия не доставало, так как оно сломалось у него в груди. Он попросил тюремщика передать ножницы Альбену и к этому наследству присоединить порцию хлеба, полагавшуюся ему в тот день.

Он попросил также тех, кто связывал ему руки, вложить в его правую руку пятифранковую монету, подаренную ему сестрой милосердия, — единственное, что у него еще оставалось.

Без четверти восемь он вышел из тюрьмы в сопровождении мрачной свиты, которая обычно сопутствует осужденному на смерть. Он шел пешком, бледный, пристально глядя на распятие, находившееся в руках священника, но шел спокойным, уверенным шагом.

День был базарный, и казнь назначили в этот день намеренно, дабы как можно больше людей были ее свидетелями. Как видно, во Франции существуют еще такие полудикие местечки, где общество не только убивает человека, но и по-

хваляется этим.

Клод твердым шагом поднялся на эшафот, все так же не сводя глаз с распятия. Он захотел поцеловать сперва священника, затем палача, желая поблагодарить одного и простить другого. Палач, как рассказывают в судебном отчете, *тихонько отстранил его*. Когда помощник палача привязывал его к отвратительной машине, Клод сделал знак священнику, прося взять у него из правой руки зажатую там пятифранковую монету, и сказал:

— *Для бедных.*

В это время раздался бой городских часов, заглушивший его голос. Священник ответил, что он не слышит его. Клод дождался перерыва между двумя ударами и кротко повторил:

— *Для бедных.*

Не успели часы пробить восемь, как эта благородная и умная голова скатилась с плеч.

Замечательно влияют на толпу подобные зрелища. В этот же самый день, когда гильотина с несмытой еще кровью стояла посреди площади, рыночные торговцы взбунтовались из-за какого-то налога и чуть не убили одного из городских сборщиков.

Вот какую кротость порождают в народе наши

законы!

Мы считали своим долгом подробно рассказать историю Клода Ге, ибо мы уверены в том, что любой отрывок из этой истории может послужить вступлением к книге, в которой решалась бы великая проблема народа XIX века.

В этой замечательной жизни следует различать два основных этапа: до падения и после него. Отсюда возникают два вопроса: вопрос о воспитании и вопрос о наказании; они влекут за собой третий: вопрос об устройстве всего общества в целом.

Клод Ге, несомненно, был и физически и нравственно богато одарен от природы. Что же помешало ему развить те хорошие качества, которые у него имелись? Поразмыслите над этим.

Это огромная проблема, правильное решение которой, еще не найденное, может послужить к восстановлению необходимого равновесия: *пусть общество делает для человека столько же, сколько природа.*

Посмотрите на Клода Ге, сомнений нет — человек со светлым умом и чудесным сердцем. Но судьба бросает его в общество, устроенное так дурно, что он вынужден украсть, затем общество бросает его в тюрьму, устроенную так дурно, что

он вынужден убить.

Кто же поистине виновен?

Он ли?

Мы ли?

Вопросы суровые, жгучие, занимающие ныне все умы и настолько неотложные, что придет день, и они встанут перед нами вплотную, и уже нельзя будет от них отмахнуться, и нам придется посмотреть правде в глаза и решить, наконец, что же от нас требуется.

Автор этих строк попытается ответить на этот вопрос.

Когда сталкиваешься с подобными фактами, когда начинаешь размышлять о том, как неотложны эти вопросы, то невольно спрашиваешь себя, о чем же думают властьимущие, если они не задумываются над ними.

Палаты ежегодно заняты весьма важными делами. Без сомнения, уничтожить синекуры и очистить бюджет от лишних трат — дела весьма серьезные. Не менее важным является также издание закона, предписывающего мне надеть солдатский мундир, дабы я мог, как добрый патриот, нести караул у дверей графа Лобау, которого я не знаю и знать не хочу, или заставить меня маршировать на парадах по площади Мариньи,

к великому удовольствию моего лавочника, ставшего моим офицером.[37]

Крайне важно, господа депутаты и министры, предаваться бесплодным словопрениям и забивать умы всевозможными вопросами и рассуждениями. Совершенно необходимо, например, привлечь на скамью подсудимых и с пристрастием допросить, не понимая даже как следует о чем, искусство XIX века, — этого тяжкого преступника, который не желает отвечать и хорошо делает, что не желает; необычайно полезно, господа правители и законодатели, проводить время на классических конференциях, которые даже учителей провинциальных школ заставляют пожимать плечами; полезно также объявить во всеуслышание, что только современная драма изобрела такие страшные вещи, как кровосмешение, супружеская измена, отцеубийство, детоубийство, отравление, и тем доказать, что никто из вас никогда не слыхал о Федре, Ио-

[37] Примечания: 37

Разумеется, мы не собираемся нападать на уличный патруль, который необходим для охраны улиц и жилищ. Мы протестуем только против парадов, побрякушек, чванства и ура-патриотизма — всего того, что делает из буржуа пародию на солдата. (Прим. авт.)

касте, Эдипе, Медее или Родогуне[38]; совершенно необходимо, чтобы наши политические ораторы спорили бы до хрипоты целых три дня по вопросу об ассигнованиях на издание Корнеля и Расина и, пользуясь этим литературным поводом, наперерыв обвиняли бы друг друга в грубейших ошибках против французской грамматики.

Все это чрезвычайно важно, но мы думаем, однако, что есть вещи куда более важные.

Что сказала бы, например, палата депутатов, если бы вдруг посреди ненужных прений, так часто разгорающихся между оппозицией и министерством, кто-нибудь бы встал и с депутатской скамьи или с какой-нибудь иной трибуны во всеуслышание заявил следующее:

— Эй, замолчите вы все здесь присутствующие и праздно болтающие. Вы думаете, что заняты важными вопросами. Как бы не так! Главный вопрос совсем не в том, а вот в чем:

Правосудие около года тому назад искромсало в куски человека в Памье; в Дижоне только что отрубили голову женщине; в Париже у заставы

---

[38] Примечания: 38

Федра, Иокаста, Эдип, Медея — персонажи древнегреческих мифов. Их необычайная трагическая судьба послужила сюжетом для трагедий французских драматургов классицизма XVII в., крупнейшими из которых были Пьер Корнель (1606-1680) и Жан Расин (1639-1699). — Родогуна — парфянская царевна, героиня одноименной трагедии Корнеля.

Сен-Жак совершаются тайные казни.

Вот этими неотложными вопросами и следует заняться в первую очередь!

А потом вы можете снова спорить друг с другом по поводу того, какого цвета — белого или желтого — должны быть пуговицы на мундирах национальной гвардии и *какое слово лучше употреблять*: уверенность или убежденность.

Депутаты центра, депутаты крайней правой и депутаты крайней левой, знаете ли вы, что народ страдает?

Называется ли Франция республикой, называется ли она монархией, народ все равно страдает — это бесспорно.

Народ голодает и мерзнет. Нищета толкает его на путь преступлений и в пучину разврата. Пожалейте же народ, У которого каторга отнимает сыновей, а дома терпимости — дочерей. У нас слишком много каторжников и слишком много проституток.

На что указывают эти две общественные язвы?

На то, что весь государственный организм в целом заражен тяжелым недугом.

Вот вы собрались на консультацию у изголовья больного, займитесь же лечением его болезни.

Вы плохо лечите эту болезнь. Изучите ее хоро-

шенько. Законы, которые вы издаете, всего лишь паллиативы и уловки. Одна половина нашего законодательства — рутина, другая — шарлатанство.

Клеймо — прижигание, растравляющее рану, бессмысленное наказание, на всю жизнь приковывающее преступника к преступлению, делающее их неразлучными друзьями и товарищами!

Каторга — это нелепый вытяжной пластырь, который сперва высасывает дурную кровь, а затем возвращает ее обратно еще более зараженной. Смертная казнь — варварская ампутация.

А между тем клеймение, каторжные работы и смертная казнь все еще существуют. Вы отменили клеймение, будьте же последовательны — отмените и остальное.

Раскаленное железо, каторга и гильотина — это три составные части одного логического умозаключения.

Вы отказались от раскаленного железа, но разве кандалы каторжника и нож гильотины имеют больше смысла? Фариначчи был чудовищем, но он обладал здравым смыслом.

Разрушьте вашу старую и нелепую градацию преступлений и наказаний, переделайте ее, со-

здайте новую систему наказаний, новый кодекс законов, новые тюрьмы, новых судей. Согласуйте законы с современными нравами.

Слишком много голов, господа, сносится ежегодно во Франции. Поскольку вы желаете соблюдать экономию, соблюдайте ее и тут.

Раз вы горите желанием все упразднять, упраздните в первую очередь должность палача. На жалованье восьмидесяти палачей можно содержать шестьсот школьных учителей.

Подумайте же о народе. Дайте детям школы, а взрослым работу.

Знаете ли вы, что по сравнению с другими европейскими странами во Франции больше всего неграмотных. Возможно ли? Швейцария умеет читать, Бельгия умеет читать, Дания, Греция, Ирландия — умеют читать, а Франция не умеет! Какой позор!

Побывайте на каторге. Соберите всех ее обитателей. Приглядитесь хорошенько к каждому из этих отверженных, находящихся вне закона. Измерьте их профили, ощупайте их черепа. Вы увидите, что каждый из них напоминает собой какого-нибудь зверя, как если бы все они являлись помесью человека с тем или иным видом животного. Один напоминает рысь, другой кош-

ку, третий обезьяну, этот похож на ястреба, а тот на гиену. В таком уродстве в первую очередь следует, разумеется, винить природу, во вторую — воспитание.

Природа сделала плохой набросок, воспитание не сумело его исправить. Позаботьтесь же об этом, дайте народу надлежащее образование. Постарайтесь развить эти невежественные умы, научите их мыслить.

Хорошее или плохое строение черепа зависит от государственных установлений. Римляне и греки имели высокие лбы. Повышайте же, насколько возможно, умственный уровень народа.

А когда Франция научится читать, продолжайте руководить ее дальнейшим просвещением. Иначе получится неурядица другого порядка. Полное невежество все же предпочтительнее плохого знания. Нет, лучше вспомните о том, что на свете существует книга более философская,

чем «*Кум Матье*»[39], более популярная, нежели «*Конституционалист*», более долговечная, чем хартия 1830 года, эта книга — священное писание. Но здесь я хочу дать некоторое пояснение.

Что бы вы ни делали, судьба толпы, народной массы — одним словом, большинства людей — всегда более или менее трудна, печальна и несчастлива. Удел большинства — тяжелый труд, все тяготы существования оно несет на своих плечах.

Посмотрите, какая несправедливость! Все радости жизни — достояние богачей, а несчастье и горе — достояние бедняков. Груз на весах жизни распределен неравномерно. Одна чаша весов неизбежно будет перевешивать, а вместе с нею и положение дел будет оставаться неуравновешенным.

Теперь на чашу весов бедняка положите надежду на лучшее будущее, бросьте туда стремление

---

[39] Примечания: 39

«*Кум Матье*» (1765) — вольнодумный философский роман аббата Анри-Жозефа Дюлорана, писателя, близкого к французским просветителям. Ввиду содержавшейся в романе едкой сатиры на католическую церковь и иезуитов он пользовался огромной популярностью и приписывался Вольтеру. Был переиздан в 1831 г. — «Конституционалист» — одна из наиболее популярных газет «левой» (умеренно-либеральной) группировки буржуазии в период Реставрации. — Хартия 1830 г. — конституция, провозглашенная после Июльской революции во Франции, отдававшая власть в руки банкиров и промышленников.

к вечному блаженству, пообещайте им рай — все это полновесные гири, и вы восстановите равновесие. Теперь доля бедняка равна доле богача.

Это знал Христос, а он знал больше, чем Вольтер.

Дайте трудолюбивому и страждущему народу, для которого мир так мрачен, дайте ему веру в иной, лучший мир, уготованный для него.

Он успокоится и станет терпеливо ждать. Надежда рождает терпение.

Рассыпьте евангелия по деревням. Дайте библию в каждую хижину. Пусть каждая книга и каждое поле вместе способствуют нравственному возвышению труженика.

Весь вопрос в просвещении народа. В человеке заложено много хороших задатков. Для того, чтобы они развились и дали богатые плоды, покажите ему, как светла и прекрасна добродетель.

Человек стал убийцей, а если бы его лучше направляли, он бы мог стать полезным членом общества.

Дайте же народу образование, воспитывайте его, развивайте, просвещайте, внушите ему понятие о нравственности, примените его способности надлежащим образом, и вам не придется рубить человеческие головы!

МАРЬОН ДЕЛОРМ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Эта пьеса, представленная через полтора года после *Эрнани*, была написана на три месяца раньше. Обе драмы сочинены в 1829 году: «*Марьон Делорм*» — в июне, «*Эрнани*» — в сентябре. За исключением кое-каких незначительных поправок, которые нисколько не меняют ни основной мысли произведения, ни сущности характеров, ни соответствующей силы страстей, ни хода событий, ни даже расположения сцен или добавочных эпизодов, автор издает в августе 1831 года свою пьесу в том виде, как она была написана в июне 1829 года. Она дана здесь без какой-либо существенной переработки или изменений, дополнительных спаек и иных переделок, не считая приспособления пьесы к условиям сцены, которого всегда требует постановка. Автор ограничился этим, то есть тем, что кое-где подрезал самые края своего произведения, без чего драма не могла бы плотно улечься в рамки театра.

Итак, пьеса два года оставалась вдали от театра. Мотивы этой отсрочки, с июля 1829 года до июля 1830 года, известны публике: она была вынужденной, автору чинили препятствия.

Сюда относятся, — быть может, он когда-нибудь опишет эту небольшую полуполитическую, полулитературную историю, — сюда относятся цензурное вето, последовательное запрещение пьесы двумя министерствами — Мартиньяка и Полиньяка[40], и прямо выраженная воля короля Карла X. (Если автор произносит слово *цензура*, не прибавляя к нему эпитета, то только потому, что он достаточно открыто и достаточно долго боролся против нее, пока она господствовала, и имеет право не поносить ее сейчас, когда она принадлежит к числу низвергнутых сил. Если ее когда-нибудь осмелятся восстановить, тогда мы посмотрим.)

Отсрочка постановки *Марьон Делорм* еще на один год, с 1830 по 1831, была добровольной. Автор сам от нее воздерживался. Так как многие лица, с которыми автор не имеет чести быть знакомым, писали ему, спрашивая, существуют ли еще какие-нибудь новые препятствия к постановке пьесы, — автор благодарит их за любезное внимание, проявленное ими к столь маловажно-

---

[40] Примечания: 40

...двумя министерствами — Мартиньяка и Полиньяка... — Министерство Мартиньяка, пытавшегося найти среднюю линию между партией короля и либеральной оппозицией, продержалось лишь несколько месяцев и в августе 1829 г. было сменено крайне реакционным министерством Полиньяка.

му событию, и считает своим долгом объясниться перед ними.

После изумительной революции 1830 года, когда театр среди общей свободы завоевал и свою свободу, заживо погребенные Реставрацией пьесы «сокрушили теменем камень своей гробницы», как говорит Иов, и всей толпой с большим шумом рассыпались по театрам Парижа, куда публика явилась рукоплескать им, еще трепещущим от радости и гнева. То было актом справедливости. Это опустошение цензурных архивов продолжалось несколько недель, вызывая у всех большое удовлетворение. Театр Французской Комедии вспомнил о *Марьон Делорм*. Несколько влиятельных членов труппы посетили автора; они настойчиво уговаривали его, чтобы он позволил им поставить это произведение, освобожденное, подобно другим, от запрета. В то время повсюду проклинали Карла X, и запрещенный им четвертый акт пьесы имел бы, по их мнению, у зрителей политический успех. Автор должен откровенно сказать здесь, как он и тогда говорил в дружеском кругу лицам, обратившимся к нему с этой просьбой, и, в частности, большой актрисе, так блестяще исполнявшей роль доньи

Соль[41]: именно это соображение — вероятность успеха политического характера — побудило его еще некоторое время не выпускать своего произведения в свет. Он почувствовал, что находится в особом положении.

Правда, он в продолжение многих лет принадлежит к числу если не самых знаменитых, то по крайней мере самых деятельных сторонников оппозиции; правда, с тех пор как он достиг зрелого возраста, он глубоко предан всем идеям прогресса, усовершенствования и свободы; правда он, быть может, кое-чем засвидетельствовал свою преданность им, в частности — ровно год тому назад, по поводу этой самой *Марьон Делорм*; но он вспомнил, что, когда политические страсти привели его шестнадцатилетним юношей в литературный мир, его первые воззрения, то есть первые иллюзии, были роялистскими и вандейскими; он вспомнил, что написал «Оду на коронование»[42], — правда, в эпоху, когда Карл X, будучи популярным королем, говорил, вызывая

---

[41] Примечания: 41

...большой актрисе, так блестяще исполнявшей роль доньи Соль. — При первой постановке «Эрнани» в 1830 г. роль доньи Соль исполняла знаменитая артистка м-ль Марс.

[42] Примечания: 42

...написал «Оду на коронование»... — «Ода на коронование Карла X» была написана Гюго в 1825 г.

этим общее ликование: «Конец цензуре! Конец алебардам!» Автору не хотелось, чтобы когда-нибудь ему могли поставить в упрек это прошлое — прошлое, исполненное, конечно, ошибок, но вместе с тем и убежденности, добросовестности и бескорыстия, какими будет исполнена, как он надеется, вся его жизнь. Он понял, что ему запрещен дозволенный всякому другому политический успех в связи с падением Карла X; что ему не подобает быть одной из отдушин, через которые вырывался бы наружу общественный гнев; что при виде этой пьянящей июльской революции его голос мог слиться с голосами лишь тех, кто рукоплескал народу, но не тех, кто проклинал короля. Автор поступил, как велел ему долг. Он сделал то, что сделал бы на его месте всякий благородный человек: он не дал согласия на постановку своей пьесы. Вообще говоря, скандальный успех, достигаемый с помощью политических намеков, мало улыбается автору, — об этом он заявляет прямо. Подобный успех немногого стоит и бывает непрочен. Автор хотел с добросовестностью художника изобразить Людовика XIII, а не того или иного из его потомков. К тому же именно теперь, когда нет больше цензуры, авторы должны сами быть своими цен-

зорами, честными, строгими и внимательными. Тогда они будут высоко держать знамя искусства. Если обладаешь полной свободой, надо соблюдать во всем меру.

Сейчас, когда триста шестьдесят пять дней, то есть, по нынешним временам, триста шестьдесят пять событий, отделяют нас от низвергнутого короля; когда поток народного возмущения перестал обрушиваться на последние шаткие годы Реставрации, подобно морю, которое отступило от пустынного берега; когда Карл X забыт основательнее, чем Людовик XIII, — автор дал свою пьесу публике, и публика приняла ее совершенно так же, как автор дал ее: чистосердечно, без задних мыслей, как явление искусства, хорошее или плохое, но и только.

Автор поздравляет с этим себя и публику. Это уже кое-что, это — много, это, в настоящий момент увлечения политикой, для людей искусства — все, если литературное предприятие воспринимается именно как литературное.

И, наконец, автор должен заметить, что в царствование старшей линии Бурбонов этой пьесе была бы навсегда и решительным образом закрыта дорога в театр. Не будь июльской революции, ее никогда бы не поставили на сцене. Если бы

данное произведение обладало большими достоинствами, на него можно было бы указать тем, кто утверждает, что июльская революция повредила искусству. Нетрудно было бы доказать, что это великое потрясение, приведшее к свободе и гражданскому равенству, не повредило искусству, а послужило ему на пользу; что оно было ему не только полезно, но и необходимо. В самом деле, в последние годы Реставрации новый дух XIX века проник повсюду, преобразовал все, начал все сызнова: историю, поэзию, философию — все, кроме театра. Это странное явление объясняется очень просто: цензура окружала театр каменной стеной. Не было никакой возможности чистосердечно, во весь рост, честно, с беспристрастием, но вместе с тем и со строгостью художника, вывести на сцену короля, священника, вельможу, средние века, историю, прошлое. Мешала цензура, снисходительная к написанным в духе господствующей школы[43] и исполненным условностей произведениям, которые все приукрашивают и, следовательно, все искажают, безжалостная к истинному искусству,

[43] Примечания: 43

...написанным в духе господствующей школы... — Имеется в виду драматургия эпигонов классицизма, до того времени прочно державшаяся на французской сцене.

добросовестному и искреннему. Можно с трудом насчитать несколько исключений; всего три-четыре подлинно исторических и драматических произведения смогли проскользнуть на сцену в те редкие моменты, когда полиция, занятая в другом месте, оставляла ее дверь приоткрытой. Так цензура не пропускала искусство в театр. Видок преграждал путь Корнелю[44]. А ведь цензура была неотъемлемой частью Реставрации: одна не могла исчезнуть без другой. Должна была, следовательно, совершиться социальная революция, чтобы могла произойти революция искусства. Когда-нибудь июль 1830 года будет признан датой столько же литературной, как и политической. Теперь искусство свободно: от него зависит оставаться достойным.

Прибавим в заключение, что публика — так оно должно быть, и так оно и есть — никогда не была лучше, просвещеннее и серьезнее, чем в настоящее время. Революции хороши тем, что они способствуют быстрому — и одновременному и всестороннему — созреванию умов. В такое

---

[44] Примечания: 44

Видок преграждал путь Корнелю. — Видок — полицейский сыщик, в прошлом уголовный преступник; приобрел известность благодаря опубликованным в 1828 г. весьма пошлым, рассчитанным на сенсацию «Мемуарам Видока». Корнель назван здесь как представитель высокоидейного искусства.

время, как наше, инстинкт масс через два года становится господствующим вкусом. Жалкие, бывшие предметом споров слова «классический» и «романтический» канули в бездну 1830 года, как «глюкист» и «пиччинист» исчезли в пучине 1789 года[45]. Осталось только искусство. Художника, изучающего публику — а ее надо непрестанно изучать, — очень поощряет то, что в массах с каждым днем развивается все более серьезное и глубокое понимание того, что соответствует данному веку, не только в политике, но и в литературе. Отрадно видеть, как эта публика, обремененная множеством материальных забот, которые ее беспрестанно мучают и угнетают, толпой стекается смотреть первые произведения возрождающегося искусства, даже если они так несовершенны и полны недостатков, как это. Чувствуется, что она внимательна, проникнута симпатией и полна доброй воли, независимо от того, преподносят ли ей в исторической пьесе уроки прошлого, или поучают ее в драме стра-

[45] Примечания: 45

...как «глюкист» и «пиччинист» исчезли в пучине 1789 г. — Незадолго до революции 1789 г. в Париже происходила борьба двух направлений в оперной музыке. Представителем одного был Глюк (ум. в 1787 г.), создававший глубокие по мысли и чувству произведения, представителем другого — поселившийся в Париже итальянец Пиччини (ум. в 1800 г.), писавший изящную и мелодичную, но легковесную оперную музыку.

стей вечным истинам. Несомненно, не было еще, на наш взгляд, более благоприятного момента для драмы. Настало, думается нам, время для того, кого бог одарил гениальностью, создать целый театр, обширный и простой, единый и разнообразный, национальный по историческим сюжетам, народный по своей правдивости, человечный, непринужденный и всеобъемлющий по изображению страстей За работу, драматурги! Эта работа прекрасна, она почетна. Вы имеете дело с великим народом, привыкшим к великим деяниям. Он видел их и совершал их сам.

Огромное расстояние отделяет нынешний век от веков минувших. Теперь театр может потрясти массы и всколыхнуть их до самого основания. Прежде народ был гигантской стеной, на которой искусство чертило лишь фреску.

Есть люди, и в том числе возвышенного ума, которые говорят, что поэзия умерла, что искусство невозможно. Почему? Все всегда возможно во все времена, и в такое время, в какое мы живем, возможно больше, чем когда-либо. Поистине можно ожидать всего хорошего от этих новых поколений, которые призывает такое великолепное будущее, одушевляет такой высокий замысел, поддерживает такая законная вера в

самих себя. Автор этой драмы, гордящийся тем, что он принадлежит к ним, и счастливый тем, что он слышал порою в их устах свое имя, хотя он и занимает среди них самое скромное место, автор этой драмы ждет всего от своих молодых современников — даже великого поэта. Пусть этот еще скрытый гений, если он существует, не позволяет тем, кто жалуется на бесплодие, сухость и прозаизм нашего времени, лишить его мужества. Слишком зрелая эпоха? Невозможен самобытный гений? Не слушай их, юноша! Если бы кто-нибудь сказал в конце XVIII века, после времен Регентства, Вольтера, Бомарше, Людовика XV, Калиостро и Марата, что еще возможны Карлы Великие[46], грандиозные, поэтические и почти сказочные Карлы Великие, — все скептики

---

[46] Примечания: 46

...после времен регентства, Вольтера, Бомарше, Людовика XV, Калиостро... возможны Карлы Великие... — Регентство Филиппа Орлеанского (1715-1723, в годы малолетства короля Людовика XV) было временем крайнего упадка французского абсолютизма; страна находилась во власти политических авантюристов, спекулянтов и откупщиков. Вольтер и Бомарше упомянуты как писатели, отразившие в своих произведениях кризис дворянской монархии в XVIII веке и упадок нравов аристократии. *Калиостро* — авантюрист и шарлатан, родом итальянец, подвизавшийся в конце XVIII в. во многих странах Европы, в том числе при французском и русском дворах; он выдавал себя за великого ученого, медика и алхимика. *Карл Великий* — король франков (768-814), а с 800 г. император, объединивший под своей властью большую часть западной Европы.

того времени — то есть все общество — пожали бы плечами и рассмеялись. И что же! В начале XIX века у нас были император и империя. Почему бы теперь не родиться поэту, который был бы по сравнению с Шекспиром тем, чем Наполеон является по сравнению с Карлом Великим?

Август 1831 г.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Марьон Делорм[47].
Дидье.
Людовик XIII.
Маркиз де Саверни.
Маркиз де Нанжи.
Ланжели[48].
Де Лафемас[49].
Герцог де Бельгард[50].

| Маркиз де Бришанто,
| Граф де Гасе,
| Виконт де Бушаван,
| Шевалье де Рошбарон,

---

[47] Примечания: 47

Марьон Делорм — знаменитая в XVII в. французская куртизанка, собиравшая в своем салоне цвет придворной аристократии. Эпизод любви Марьон и Дидье, положенный в основу драмы Гюго, вымышлен.

[48] Примечания: 48

Ланжели — историческое лицо; происходил из обедневших дворян, был конюхом у принца Конде, затем стал придворным шутом Людовика XIII. Вельможи боялись его влияния и давали ему взятки, на которых Ланжели разбогател.

[49] Примечания: 49

Лафемас — также историческое лицо; сын мелкого дворянина, ближайший помощник Ришелье по судебным делам; за свою жестокость был прозван «кардинальским палачом».

[50] Примечания: 50

Герцог де Бельгард в прошлом был фаворитом короля Генриха IV, с 1620 г. стал герцогом и пэром Франции; как политический противник Ришелье был в конце концов выслан им из Парижа.

| Граф де Вилак,
| Шевалье де Монпеза } офицеры Анжуйского полка.

Аббат де Гонди.
Граф де Шарнасе.

| Скарамуш,
| Грасье,
| Тайбра } бродячие комедианты.

Советник при Верховном суде.
Глашатай.
Начальник стражи города Блуа.
Тюремщик.
Писец.
Палач.
Первый рабочий.
Второй рабочий.
Третий рабочий.
Слуга.
Роза.
Провинциальные комедианты, стражники, народ, дворяне, пажи.

Франция. 1638.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ
СВИДАНИЕ

Блуа

Спальня. В глубине окно, открытое на балкон. Направо стол со свечой и кресло. Налево дверь с вышитой занавеской. Кровать в полумраке.

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Марьон Делорм, в нарядном домашнем платье, вышивает у стола, маркиз де Саверни, белокурый безусый юноша, одет по последней моде 1638 года[51].

Саверни

(приближаясь к Марьон и пытаясь ее поцеловать)

Марьон

---

[51] Примечания: 51

...по последней моде 1638 года. — Ремарки, требующие соблюдения исторической точности в костюмах, были одним из новшеств, введенных Гюго-драматургом.

(отталкивая его)

Саверни

(настойчиво)

Марьон

(гневно)

Саверни

Марьон

Саверни

Марьон

(в сторону)

Саверни

Марьон

Саверни

Марьон

(улыбаясь)

Саверни

Марьон

Саверни

Марьон

Саверни

Марьон

(Смеясь.)

(Смеясь громче.)

Саверни

Марьон

Саверни

Марьон

(строго, опуская глаза)

Саверни

Марьон

Саверни

Марьон

Саверни

Марьон

Роза

(за сценой)

Марьон

Саверни

Марьон

Саверни

Марьон

Саверни

Марьон

Саверни

Марьон

Саверни

(Садится.)

Марьон

Саверни

Марьон

Саверни

Марьон

(Идет к балкону и слушает.)

(Возвращается обратно.)

(К Саверни.)

Саверни

Марьон

Саверни

Марьон

Саверни

(хохоча)

Марьон

Саверни

(смеясь)

Марьон

(В сторону.)

Саверни

(снова делаясь серьезным)

Марьон

Саверни

(К Марьон, которая тихонько подталкивает его к двери.)

(Возвращается.)

(Вынимает из кармана книгу и передает ее Марьон.)

Марьон

(читает заглавие)

Саверни

Марьон

(беря книгу)

Саверни

Марьон

Саверни

(откланиваясь)

Ну, помирись скорей со мной, моя Марьетта!

Лишь издали, маркиз, согласна я на это.

Ну, поцелуй!

Маркиз!

За что же гнев такой?

Со мной бывали вы, Марьон, совсем другой.

Вы забываете...

Нет, вспоминаю сладко.

Какой назойливый!

Марьон, что за загадка?

Что думать нам о том, зачем и почему

Вы променяли блеск на здешнюю тюрьму?..

Меж тем как там по ней уже скучает Сена,

Она сидит в Блуа. Уж это ль не измена?

Никто не знает, что здесь делает она.

Я делаю все то, что делать я должна.

Свободна я, маркиз.

Свободны, безусловно,

Нам душу иссушив истомою любовной.

А как же я теперь? И де Гонди — на час

Он мессу задержал и дрался из-за вас?

Несмон, Ле Пресиньи, д'Аркьен, Косады оба?

В Париже без тебя всех их сжигает злоба,

И даже жены их, чтобы смягчить мужей,

Тебя вернуть в Париж хотели бы ско-

рей.

А Бовилен?

Влюблен.

А как с Серестом дело?

Он обожает вас.

А Понс?

Клянет вас смело.

Из всех лишь он влюблен... А прокурор старик...

Ну, как его?..

Лелу!

Он ждет вас каждый миг,
Он ваш портрет хранит, и что ни день — то ода.

Он с образом моим в душе провел два года.

Он на костер бы вас послал!.. Молю открыть,
Зачем вы бросили всех нас?

Ну, так и быть,
Могу вам сообщить причину поворота
Произошедшего. Блестящее болото,
Где погрязала я, позором и грехом
Мне показалось вдруг. Затвором и постом
Решила искупить я эти прегрешенья.

Бьюсь об заклад, что здесь таится увлеченье!

И вы подумали...

Что вижу в первый раз
Я у затворницы сиянье нежных глаз.
Марьон! Любовь в глуши! Звучит немного странно
Такой простой конец роскошного романа.

Любви здесь нет.

Любовь!

Теперь который час?

Уж полночь скоро.

Что?

Чтоб я ушел сейчас?

Хитрите вы, Марьон!

Я здесь одна, не знаю

Я ни души в Блуа. Друзей не принимаю...

К тому же в темноте и в этот поздний час

На нашей улице ограбить могут вас.

Пусть!

Могут вас убить. Здесь в темноте пустыня.

Отлично, пусть убьют.

Но...

Вы моя богиня!

Я покидаю вас, но знать хочу — кто он,

Тот милый пастушок, что вас пленил, Марьон.

Никто.

Марьон, пусть мы задиры, забияки,

Что нам доверено — в могильном скрыто мраке.

Посплетничать порой придворным лю-

бо, но

Что тайна — то у нас в душе схоронено.

Молчите?

Остаюсь.

Что ж! Тайну вам открою.

Да, я люблю и жду.

Вот видите, что злою

Не надо быть. Куда ж прелестник ваш придет?

Сюда.

Когда?

Сейчас.

И, вероятно, вот...

Нет.

Рады вы?

Я? Нет!

Уйдите, бога ради...

Уйду. Но кто мне путь закрыл к моей

отраде?

Из-за кого меня отсюда гонят вон?

Я знаю лишь одно: Дидье зовется он;

Меня зовут Мари — он только это знает...

Как!

Да.

Так пастораль и в наши дни бывает?

Такую дружбу нам Ракан изображал[52].

Он влезет по стене, ваш светлый идеал?

Быть может. Но теперь идите без отсрочек.

Сил нет!

Он дворянин — проворный ваш дружочек?..

Не знаю ничего.

---

[52] Примечания: 52

Такую дружбу нам Ракан изображал. — Ракан — французский придворный поэт XVII в., писавший галантные пастушеские идиллии.

Как?

Ухожу!

Ах да!
Я от поэта дар привез с собой сюда.

Он посвятил вам том и стал знаком со славой.

«Гирлянда нежностей — Марьон Делорм лукавой»...

О книге говорят, велик ее успех.
Она да «Сид» еще уже затмили всех[53].

Любезен автор наш.

Как тщетно славы бремя!
Ей с парнем из Блуа ночное сладко время.

Проводит Роза вас. Прощайте же, маркиз!

Увы, Марьон, Марьон! Вы покатились вниз.

---

[53] Примечания: 53

Она да «Сид» еще уже затмили всех. — Постановка в 1636 г. трагикомедии Корнеля «Сид», вокруг которой возникла бурная полемика, была видным событием в культурной жизни Франции того времени.

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Марьон, потом Дидье.

Марьон

(одна; закрывает дверь, в которую вышел Саверни)

(Считает бой часов.)

(Идет на балкон и смотрит на улицу.)

(Возвращается раздосадованная и опускается в кресло.)

Иди ж!.. Я за Дидье боялась.

Слышно, как бьет полночь.

Звон полночный!

Он был бы здесь уже, когда б явился точно.

Нет...

Опоздал! Уже!

На балконе появляется молодой человек. Он ловко перепрыгивает через перила, входит в комнату и кладет на кресло плащ и короткую шпагу. Одет по моде того времени, весь в черном. Полусапожки. Делает шаг и несколько мгновений смотрит на Марьон, сидящую с опущенными глазами.

(С упреком.)

Дидье

(строго)

(Показывает на окно.)

Марьон

(обиженно)

Дидье

(не обращая внимания)

Марьон

(в сторону)

Дидье

Марьон

Дидье

Марьон

(живо)

(Указывает ему на место подле себя.)

Дидье

(Садится на табурет у ног Марьон и глядит на нее в немом восхищении.)

Марьон

(улыбаясь)

Дидье

Марьон

(растроганно)

Дидье

Марьон

Дидье

Марьон

Дидье

(падает на колени)

Марьон

Дидье

Марьон

Дидье

Марьон

(в замешательстве)

Дидье

Марьон

(в сторону)

Дидье

Марьон

Дидье

(Делает шаг, чтобы уйти, Марьон удерживает его.)

Марьон

(Плачет.)

Дидье

(возвращаясь)

(Приближаясь к ней.)

Марьон

Дидье

Марьон

(в сторону)

(Громко.)

(Вырывается из объятий Дидье и падает в кресло)

Дидье

(ледяным тоном)

Марьон

(в сторону)

(Громко.)

Дидье

(холодно)

(Берет книгу со стола и читает.)

(Горько.)

(Бросает книгу на пол.)

Марьон

(дрожа)

Дидье

Марьон

(неуверенно, опуская глаза)

Дидье

Марьон

(закрыв лицо руками)

Дидье

(удивленно)

Ах!

Скучен счет минут.

Когда так долго ждешь!..

Я, не входя, был тут.

Как, сударь?

Подходя сегодня ночью к дому,

И состраданье к вам и смертную истому

Я чувствовал — почти что до потери сил.

И вот что я в душе моей произносил:

«Там в добродетели и в красоте высокой

Мой ангел бодрствует, не ведая порока,

Такое существо, пред кем на всех путях

Молиться следует и повергаться в прах.

А я... увы! кто я? Как червь, ползу с толпою.

Зачем я гладь реки зеркальной беспокою,

Срывая лилию? Дыханием своим

Мне ль омрачать тебя, небесный серафим?

И так как в чистоте она мне доверяла,

Она в моих глазах еще святее стала.

Имею ль право я принять любовь ее,

С днем беззакатным слив безумие мое?»

Он это почерпнул в истории священной...

А вдруг он гугенот?[54]

Но магией блаженной

---

[54] Примечания: 54

А вдруг он гугенот? — Укрепляя абсолютизм, Ришелье вел решительную борьбу против французских протестантов (гугенотов), состоявших по преимуществу из тех слоев дворянства и буржуазии, которые проявляли сепаратистские стремления и нежелание мириться с централизующими тенденциями монархии.

Звук нежный ваших слов меня во тьме обрел,

Сомненья разогнал и к вам сюда привел.

Как, разве голос мой был слышен?.. Неужели?..

И с ним другой звучал...

Служанки. В самом деле,

Ведь голос у нее и громкий, и глухой,

И на мужской похож. Но так как вы со мной,

Я больше не сержусь. Сюда садитесь, милый.

О нет, у ваших ног!

И повести унылой

Внемлите. Я Дидье. Безродный, я не знал

Моих родителей. Подкидыш, я лежал

На темной паперти, и доброю рукою

Старушка приняла к себе дитя чужое.

По-христиански я воспитан ею был

И после от нее в наследство получил

Немного денег — мой теперешний достаток.

Я был так одинок и путь мой не был сладок.

Я путешествовал — и я людей узнал.

Одних я не взлюбил, а прочих презирал —

Затем, что я читал на лицах сих созданий

Страницы гордости иль низменных страданий.

И пусть вам кажется, что говорит юнец, —

Я стар уже, как тот, кому грозит конец.

На что я не наткнусь, все душу ранит больно;

От мира я устал, с меня людей довольно!

Вот так я жил один, без счастья, без огня,

Когда вы подошли, утешили меня.

О, я не знаю вас! Вы вечером, в июле,

В парижской улице передо мной мелькк-

нули...

Затем последовал ряд мимолетных встреч

Всегда сиял ваш взор и грела ваша речь.

Любви страшился я, и я бежал оттуда —

И здесь вас нахожу, как ангела, как чудо.

Любовью раненный, истерзан, весь в огне,

Я душу вам открыл — вы разрешили мне

Располагайте мной. Иной не знаю цели —

Все сделаю для вас, чего б ни захотели,

И с каждой прихотью согласен наперед.

Кто докучает вам? Мари, пред вами тот,

Кто, слова не сказав, простится с жизнью зыбкой,

Всю кровь свою отдаст за милую улыбку!

Угодно ль это вам? Ответьте, я молю.

Да, странный вы... Но я вас и таким люблю

Мари, нельзя шутить, о друг мой несравненный,

Словами этими — они навек священны.

Вы любите меня? Известна ль вам любовь,

Что превращается в наш день, и в ночь, и а кровь,

Чем дольше скрытая, тем огненней сияет,

И пламенем своим нам душу очищает,

И в глубине сердец, куда мы прячем их.

Сжигает призраки других страстей земных;

Любовь, что ни надежд не знает, ни предела,

Но все перенести, все вытерпеть умела?

Вы о такой любви здесь говорили?

Да...

О, вы не знаете, что ваш я навсегда.

С дня встречи нашей жизнь мечты озолотили,

И милые глаза мне в темноте светили.

Все изменилось вдруг. Теперь вы предо мной,

Как дух неведомый, небесный вестник мой.

Ту жизнь, где я стонал глубоко, безысходно,

Теперь увидел я прекрасной и свободной,

Затем, что я до вас блуждал, был одинок,

Боролся и страдал, но счастлив быть не мог.

О мой Дидье!

Мари!

Я вас люблю, мой милый!

Люблю — как вы меня, с такой же страстной силой.

Нет, больше, может быть. Я вам обречена,

Я вас везде ищу...

О, как мне ложь страшна!

Но если на мою твоя любовь ответит,

Счастливца равного никто нигде не встретит!

В сиянье никогда не меркнущего дня

Прильну к ногам твоим. Не обмани меня!

Чтоб вы поверили, — что надо, друг бесценный?

О, доказательство!

Какое?

Несомненно,

Свободны вы?

Я?.. Да...

О, будьте мне женой!

Лелеять стану вас.

Не быть ему со мной!..

Так что же?

Но...

Теперь мне все понятно стало.

Я беден. Речь моя, как дерзость, прозвучала.

Оставьте же мне мрак печального пути, —

Прощайте!

Ах, Дидье, как можно так!..

Прости.

К чему ж сомнения?

Ты знаешь, дорогая,

Мы друг для друга мир, и родина святая,

И небеса! Уйти, укрыться от людей

И вместе быть — стократ счастливей королей!..

Ах, это был бы рай!

Так хочешь?

Я несчастна!

Я не могу, о нет!

Конечно, я напрасно

Вам это предложил. Не оплошаю вновь.

Довольно!

Проклят день, когда пришла любовь!

Вы душу мне своим упреком разорвали.

Я все вам объясню...

Что вы сейчас читали?

«Гирлянда нежностей — Марьон Делорм...» Вот смех!

Стихи к прелестнице, что нынче манит всех!

О, мерзостная тварь, подлее всех на свете!

Ах, что вы!..

Для чего нужны вам книги эти?

И здесь они зачем!

Случайно...

Так узнай,

Ты, чей безгрешен взор и чье лицо — как рай!

Ты знаешь ли. Мари, что за Марьон такая?

Красавица она, но сердцем ведьма злая:
То Фрина[55], что свою прославленную плоть
Повсюду продает.

Прости меня господь!

Шум шагов, звон оружия и крики за сценой.

Голос на улице

Спасите!

Что за шум? На помощь призывают?

Крики продолжаются

Голос на улице

Дидье

(смотрит с балкона)

(Хватает шпагу и уже заносит ногу над балконной решеткой, чтобы спрыгнуть.)

О, помогите мне!

Кого-то убивают!

---

[55] Примечания: 55
Фрина — греческая куртизанка, славившаяся своей красотой.

Марьон встает с кресла, бежит за ним и пытается удержать его за край одежды.

Марьон

Дидье

(прыгает на улицу)

(Кричит за сценой.)

Марьон

(на балконе, в ужасе)

Дидье, вас там убьют!.. Останьтесь, милый мой!..

Тогда его убьют, беднягу!..

Тише!.. Стой!.. —

Держитесь, сударь!..

Бряцанье шпаг.

Ты, мерзавец! Получай-ка!..

Звон оружия, шум голосов, топот ног.

О небо!..

Голос на улице

Сущий черт! Пропала наша шайка!..

Звон оружия постепенно затихает, затем прекращается. Шум удаляющихся шагов. Дидье снова взбирается на балкон.

Дидье

(еще за перилами балкона, лицом к улице)

Саверни

(за сценой)

Дидье

(с досадой)

Саверни

(взбирается на балкон)

Дидье

Теперь свободен путь. Пора идти домой!

О нет, я не уйду отсюда, сударь мой,

Вам руку не пожав.

Идти скорее надо!

А благодарность мне — ненужная награда.

Хочу благодарить!

Не к месту эта прыть!
И снизу вы могли меня благодарить.

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Марьон, Дидье, Саверни.

Саверни

(прыгая через окно в комнату, со шпагой в руке)

Дидье

Саверни

Дидье

Саверни

(Увидев Марьон, которая до тех пор старалась остаться незамеченной.)

(В сторону.)

(Приближается к дрожащей Марьон и узнает ее; тихо)

(Показывая на Дидье.)

Марьон

(тихо)

Саверни

(кланяясь)

Марьон

(тихо)

Дидье

(в сторону)

(Опрокидывает свечу ударом кулака.)

Саверни

Дидье

Саверни

(К Марьон, которой он низко кланяется.)

Дидье

(в сторону)

(К Саверни.)

Саверни

Дидье

(В сторону.)

Ах, сударь, черт возьми, да вы чрезмерно строги!

Спасти мне этак жизнь и скрыться на пороге...

Простите, за окном!.. Вот это шутка! Нет!

Не скажет никогда однако, строгий свет,

Что, если Саверни в такой беде спасают,

Он не сказал: «Маркиз... » — как дальше называют

Вас, сударь мой?

Дидье.

А дальше как?

Никак.

На вас напали? Да. Я спас вас, это так.

Теперь идите прочь.

Вы слишком, сударь, скоры.

Уж лучше бы меня внизу убили воры,

Мне — слушать дерзости? Но, честию клянусь,

Без вас я был бы мертв, признаться не боюсь.

Мертв! К сердцу моему стремились шесть кинжалов.

Но ваше сердце здесь от счастия дрожало,

Я понимаю... Я свиданью помешал.

Простите.

Хороша ль?

О, я ее узнал!

Так это ваш дружок?

О, не губите!..

Смею ль?..

Я в первый раз люблю.

Клянусь душой моею,

Он смотрит на нее, как записной нахал!

Вы погасили свет?

Я этим показал,

Что надобно отсель обоим удалиться.

Идем.

Сударыня, прощайте.

С кем сравнится
Хлыщ этот?

Ну, пойдем!

Вы, сударь, грубы, но
Вы жизнь мою спасли, и я скажу одно:
Вам предан, верен вам и всех друзей вам ближе
Маркиз де Саверни, отель де Нэль, в Париже.

Пусть так!

Как он смотрел! Я зол, как никогда!

Оба выходят через балкон. Слышен голос Дидье за сценой:

Туда лежит ваш путь, а я пойду сюда.

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Марьон, Роза.

Марьон на мгновенье задумывается, затем зовет служанку.

Марьон

Ну, Роза...

Входит Роза. Марьон показывает ей на окно.

Роза

(закрыв окно, обернулась и видит, что Марьон отирает слезу; в сторону)

(Громко.)

Марьон

(Распускает волосы.)

Роза

(раздевая ее)

Марьон

Роза

Марьон

Роза

Марьон

Затвори.

Она как будто плачет.

Сударыня, пора ложиться.

Это значит —
Пора ложиться вам.

Ну, помоги мне.

Что ж,
Сегодняшний ваш гость, сударыня, хорош?
Богат?

Нет.

Смел?

О нет: ушел он, не целуя
Руки моей!

Так что ж вы с ним?

Его люблю я.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ
ВСТРЕЧА

Блуа

У входа в харчевню. Площадь. В глубине панорама города Блуа, холм, усеянный домами, башни собора св. Николая.

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Граф де Гасе, маркиз де Бришанто, виконт де Бушаван, шевалье де Рошбарон. Они сидят за столиками перед дверью харчевни, одни курят, другие играют в кости и пьют. Затем — шевалье де Монпеза и граф де Вилак, затем — Ланжели, затем — глашатай и толпа.

Бришанто

(вставая, к Гасе, который входит)

(кланяется ему)

(Разглядывает его наряд)

Гасе

(Скрещивая руки на груди и закручивая усы)

Бришанто

Гасе

Бушаван

(прерывая игру)

Рошбарон

(вынимая изо рта трубку)

Гасе

(кланяясь)

Бришанто

Гасе

Бришанто

(Зевая.)

(К Гасе.)

Гасе

(Рассматривает рукава Рошбарона.)

Бришанто

Гасе

Бушаван

Гасе

(Подумав.)

Рошбарон

Гасе

Бришанто

Гасе

Бришанто

Гасе

Бушаван

Гасе

Бришанто

Гасе

Бришанто

(с таинственным видом)

Гасе

Бришанто

Гасе

(пожимая плечами)

(Показывая на башни собора св. Николая.)

Рошбарон

Бришанто

Гасе

Рошбарон

Бришанто

Бушаван

Бришанто

Гасе!

Пожимают друг другу руки.

Вернулся в полк, в Блуа? Наш гарнизон

Спешит поздравить вас с днем ваших похорон.

Ах!

Модно нынче так. Все желто, банты сини.

Хоть под боком Париж, живем мы, как в пустыне,

Томясь.

Да, здесь Китай!

Вот отчего навряд

Красотки к нам сюда приехать захотят.

Вы из Парижа, граф?

А там какие вести?

Да никаких. Корнель добился высшей чести.

Аст — герцог. Вообще, до черта пустяков!

Десятками казнят у нас еретиков[56].

Дуэли: третьего д'Анжен с д'Аркьеном бились

За то, что кружева кому-то невзлюбились,

А Лаварди и Понс — десятого числа

За то, что с Понсом в ночь жена Сурди ушла;

А сам Сурди с д'Альби за диву из театра

Де Мондори; а там Ножан кромсал Лешатра

Девятого числа за пустячок в стихах.

А Горд и Маргальян — за время на ча-

---

[56] Примечания: 56

Десятками казнят у нас еретиков. — Еретики — гугеноты.

сах;

Д'Юмер и де Гонди — те по церковной части;

Из-за окраски пса или кобыльей масти

Субизов вызвали все братья де Брисак;

Косад и Латурнель — ну, эти просто так,

Чтобы потешиться, — и Латурнель в могиле.

О, как счастлив Париж! Дуэли снова в силе.

Так модно!

Там любовь, дуэли и пиры.

Возможно жить лишь там, вдали от сей дыры.

А здесь зачахли мы, нам скука горше ада.

Так, значит, Латурнель пал жертвою Косада?

Разит он мастерски.

Да что вы, милый друг!

Совсем не так одет теперь хороший круг.

И пуговки носить, по чести, так не ново, —

Но банты с лентами!

Нам перечисли снова

Дуэли. Что король — рассержен?

Кардинал

Взбешен и прекратить бесчинства приказал.

А есть ли новости с войны?[57]

Не то мы сами

Оставили Фигьер, не то он занят нами.

Нет, мы оставили.

А что, узнав, сказал

Король?

Был в ярости великой кардинал,

Что слышно при дворе? Король здоров,

---

[57] Примечания: 57

А есть ли новости с войны? — Имеется в виду Тридцатилетняя война (1618-1648 гг.) между католическими и протестантскими князьями Германии. В этой войне с 1635 г. приняла участие также и Франция.

наверно?

Хворает кардинал, с ним дело вовсе скверно;

Носилки он завел.

Ты что-то странным стал.

Тебе о короле, а ты все — кардинал!

Так модно.

Новостей, как видно, нет.

Да что я!

Как так нет новостей? Есть чудо, да какое!

Оно два месяца Париж волнует весь.

О бегстве без следа иль об отъезде весть...

О чьем?

Марьон Делорм, что дивной красотою

Затмила всех подруг.

Тебе секрет открою:

Красотка здесь.

В Блуа?

Представь, инкогнито!

Марьон? Да ты шутник, мой милый Бришанто!

Она, владычица капризной нашей моды?

Столица и Блуа — конечно, антиподы.

Здесь ветхо все, и все имеет жалкий вид.

И колоколенка не к месту здесь торчит.

Конечно.

Саверни за ней прокрался следом.

С ней и любовник тут — он никому не ведом,

Но от разбойников спас ночью Саверни;

За шиворот его собрались взять они,

Чтоб золотом его с долгами рассчитаться

И по его часам о времени справляться.

Вот так история!

А правда в этом есть?

Как в том, что у меня в гербе безанов шесть!

И бедный Саверни теперь повсюду рыщет

И спасшего его неутомимо ищет.

А почему же он Марьон не спросит?

Нет!

Пустует дом ее, потерян всякий след!

Марьон и Дидье медленно проходят в глубине сцены, не замечаемые собеседниками, и входят в дверцу одного из боковых домов

Гасе

Вилак

Монпеза

Вилак

Монпеза

Вилак

Гасе

(к Монпеза)

Монпеза

Вилак

Рошбарон

Вилак

Бришанто

(иронически улыбаясь и пожимая плечами)

Вилак

Рошбарон

Бушаван

Монпеза

Вилак

Гасе

Монпеза

Гасе

(к Монпеза)

(К Вилаку.)

Вилак

Рошбарон

Бришанто

Рошбарон

Бушаван

Так надо было мне сюда, в Блуа, вернуться,

Чтоб с дивною Марьон в провинции столкнуться!

Входят де Вилак и де Монпеза, громко споря.

Я утверждаю — да!

Я утверждаю — нет!

Корнель твой нехорош.

Он истинный поэт!

И, словом, он творец и «Сида» и «Мелиты».

Мелита хороша, но плох твой «Сид», пойми ты!

И, сочинив его, Корнель совсем упал,

Как, впрочем, все они, что б ты ни утверждал.

Мелита — может быть, пожалуй, Галерея

Дворцовая, но «Сид» — нелепая затея!

О, как вы сдержанны!

«Сид» — чудо!

Нет, он плох!

И Скюдери его шутя прикончить мог[58].

И что за слог, скажи, — там странности повсюду,

Я пошлостей его перечислять не буду.

И любит называть он все по именам[59], *—*

И непристоен «Сид» и неприятен нам

Герой там женится — скажите, в чем же драма?

А «Брадаманту» ты читал? Читал

---

[58] Примечания: 58

И Скюдери его шутя прикончить мог. — Скюдери Жорж — второстепенный писатель и драматург XVIII в., безуспешно пытавшийся соперничать с молодым Корнелем. После постановки «Сида» Скюдери выпустил злопыхательскую брошюру «Замечания о Сиде».

[59] Примечания: 59

...любит называть он все по именам. — Поэтика классицизма требовала избегать прямого наименования обыденных, «низких» предметов и явлений, заменяя их описательными выражениями (перифразами).

«Пирама»?[60]

Такого ничего в твоем Корнеле нет.

Великий Сулейман прочесть даю совет,

Трагедию Мере[61] *— вот кто велик и славен!*

Но «Сид»!..

Корнель в душе и дерзок и тщеславен.

Не мнит ли сделаться он как Буаробер,

Как Шапелен, Мере, как Серизе, Абер?

Сравниться хочет он с Фаре, Жири, Мальвилем,

Дюрье и Шеризи, Кольте и Гомбервилем,

Всей Академией высокой[62]*.*

---

[60] Примечания: 60

А «Брадаманту» ты читал, читал «Пирама»? — Здесь и далее речь идет о драматургии, составлявшей репертуар единственного тогда в Париже театра Бургундского отеля. «Брадаманта» (1580) — трагедия одного из предшественников классицизма Гарнье; «Пирам и Фисба» (1617) — трагедия Теофиля де Вио.

[61] Примечания: 61

...трагедию Мере. — Мере — драматург XVII в., ближайший предшественник Корнеля, один из основателей французской классической трагедии.

[62] Примечания: 62

Всей Академией высокой. — Стремясь поставить литературу и театр на службу своей политике, Ришелье основал в 1629 г. Французскую

Академию, находившуюся полностью под его контролем. Составленная из второстепенных, но целиком послушных всесильному министру писателей, Академия скоро стала рассадником угодничества и догматизма в искусстве.

Вот вы как!

Творить он захотел и сочинять. Дурак!

Творить после Гарнье и после Теофиля,

После Арди[63]*!.. Нахал! Творить! О простофиля!*

Как будто гении, подобные всем им,

Хоть что-нибудь еще оставили другим!

Но Шапелен уже столкнул его с Парнаса[64]*.*

Бездельник ваш Корнель.

Но мне епископ Граса,

Годо, рассказывал, что он весьма умен.

Весьма.

Тогда б писал не так, как пишет он. —

По Аристотелю, по правильной мето-

---

[63] Примечания: 63

Арди Александр (ум. в 1632 г.) — плодовитый драматург, автор трагедий, трагикомедий и пасторалей.

[64] Примечания: 64

Но Шапелен уже столкнул его с Парнаса. — Шапелен Жан (ум. в 1674 г.) — второстепенный французский поэт, высмеянный Буало и Вольтером. Прислуживался к Ришелье, был назначен академиком и составил отрицательный отзыв Академии о «Сиде».

де[65]*...*

Уймитесь, господа! Корнель сегодня в моде,

И он сменил Гарнье, как на глазах у нас

Широкополый фетр уже сменил атлас.

Корнеля я люблю, и я поклонник фетра.

Ну и хватил же ты!

Я чту Гарнье как мэтра.

Но и Корнель не плох.

Согласен я с тобой.

Согласен — это ум и светлый и большой.

Но этот ваш Корнель — ведь он совсем не знатен.

Мещанства в имени мне запах неприятен.

Да и отец его был мелкий адвокат,

---

[65] Примечания: 65

По Аристотелю, по правильной методе... — В основу догматических «правил» классицизма была положена «Поэтика» Аристотеля.

Что наскребал гроши, когда скоблил дукат.

Входит Ланжели и молча садится один за столик. На нем черный бархатный костюм с золотыми блестками.

Вилак

Гасе

(искоса глядя на Ланжели)

Бришанто

Бушаван

Рошбарон

Бришанто

Бушаван

Рошбарон

Бришанто

(Бушавану.)

Бушаван

Ланжели

(встав, зловещим голосом)

Но если вас Корнель чарует, утешает, —

Трагикомедии высокий жанр ветшает.

Театр совсем заглох из-за жестоких мер,

Что этот Ришелье...

Скажите: монсеньер,

Иль не кричите так.

А, к черту кардинала!

Ужель ему солдат, казны и власти мало?

Свободно всей страной он управлять привык, —

Так хочет наш держать на привязи язык!

Так смерть же Ришелье! Он льстит и убивает!

Под красной мантией кровь на руках скрывает!

К чему тогда король?

Народ идет в ночи

И видит вдалеке мерцание свечи:

Тот светоч — кардинал, король — фонарь, хранящий

От ветра за стеклом огонь его дрожащий.

О, пусть же, наконец, прекрасный день придет

И ветром наших шпаг погасит светоч тот!

Ах! Думали бы все, как я, о кардинале!..

Соединимся мы.

Ты против нас едва ли?

Готовым к действию из нас быть должен всяк.

Что? Заговор? Забыт, как видно, Марильяк![66]

[66] Примечания: 66

Что, заговор? Забыт, как видно, Марильяк! — Маршал Луи Марильяк был казнен в 1632 г. за участие в заговоре против Ришелье, организованном матерью и братом короля.

Все вздрагивают, оглядываются и, пораженные, замолкают, устремив глаза на Ланжели, тот снова молча садится.

Вилак

(отводя Монпеза в сторону)

Монпеза

Вилак

Монпеза

Вилак

Монпеза

(беря его под руку)

Ланжели

(вставая)

Когда ты говорил со мною о Корнеле,

Был тон твой грубоват и резок в самом деле.

Хотелось бы и мне, — ты хочешь или нет, —

Сказать...

На шпагах?

Да.

Не лучше ль пистолет?

То и другое — да.

Поищем места, или...

Дуэль! Забыли вы о графе Бугенвиле[67].

Снова смятение среди присутствующих. Вилак и Монпеза расходятся в разные стороны, пристально глядя на Ланжели.

Рошбарон

Ланжели

Бришанто

(смеясь)

Бушаван

Ланжели

(стоя)

---

[67] Примечания: 67

Дуэль! Забыли вы о графе Бугенвиле. — Ришелье запретил под страхом смертной казни дуэли, бывшие продолжением феодальных междоусобиц, и объявил, что дворянин должен проливать кровь только на службе короля. Презирая это запрещение, граф Бугенвиль в 1627 г. дрался на дуэли среди бела дня на Королевской площади в Париже, за что и был казнен.

Кто этот, в черном весь и страшный, бродит тут?

Зовусь я Ланжели. Я королевский шут,

Я больше не дивлюсь, что двор в глубоком горе.

Весьма забавный шут у кардинала в своре!

Потише, господа. Всесилен кардинал

И косит широко, лить кровь он не устал.

Он покрывает все багровою сутаной, —

И кончено.

Молчание.

Гасе

Рошбарон

Бришанто

Фу, черт!

Я бунтовать не стану.

В сравненье с ним Плутон — невиннейший шутник.

Из улиц и домов высыпает толпа народу и заполняет площадь; посреди толпы — конный глашатай, окруженный четырьмя служителями мэрии, из которых один трубит, а другой бьет в барабан.

Гасе

Бришанто

(затесавшемуся в толпу фигляру, за спиной у которого сидит обезьянка)

Монпеза

(Рошбарону)

(Показывая на четырех служителей мэрии, одетых в ливреи.)

Глашатай

(гнусавым голосом)

Бришанто

(к Гасе, тихо)

Глашатай

Бушаван

(к Бришанто, тихо)

Ланжели

Глашатай

Бришанто

(Бушавану, тихо)

Глашатай

(Кланяется.)

Бришанто

Бушаван

Глашатай

Откуда здесь народ, и почему возник

Глашатай? Этот что еще наврет рассказчик?

Друг, кто здесь чудище и кто его показчик?

Взгляни-ка, Рошбарон, — валеты из колод!

Уж не из нашей ли сбежал весь этот сброд?

Молчанье, граждане!

О, что за вид позорный!

Звук через нос летит, гнусавый и тле-
творный...

«Мы, божьей милостью, Людовик... »

Так сказал
Бурбонской мантией прикрытый кар-
динал!

Вниманье!

«...Франции король, король Наварры...»

Красивых титулов министр защитник
ярый.

«...Всем, кто прочтет сие, монарший
наш привет!»

«Затем, что короли в теченье долгих
лет
Стремились карами искоренить дуэли,
Но нарушители закона всё смелели,
И меры взятые зла не могли пресечь, —
К любезным подданным мы обращаем
речь:
Отныне каждый, кто подрался на ду-
эли

(Остался ль жив один иль оба уцелели),

В тюрьму быть должен взят, судим, приговорен

И — дворянин иль смерд — повешеньем казнен,

И ни один из тех, кого наш суд осудит,

Монаршей властию помилован не будет.

Так повелели мы. Людовик. И Арман[68]

Де Ришелье».

Негодование среди дворян.

К ворам причислил он дворян!

Нас вешать!.. А скажи, как город тот зовется,

В котором для дворян веревочка найдется?

«Приказываю я, — чтоб знали все его, —

Указ сей выставить на площади. Пре-

---

[68] Примечания: 68

Людовик и Арман — то есть Арман Дюплесси Ришелье.

во[69]*».*

Двое служителей мэрии прикрепляют большую доску с указом к железному брусу, торчащему из стены дома направо.

Гасе

Бушаван

(кивая головой)

Я рад, что сам указ, по крайности, повешен.

Да, граф, и ждет того, кто в авторстве замешан»

Глашатай удаляется. Народ расходится. Входит Саверни. Смеркается.

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Те же и маркиз де Саверни.

Бришанто

---

[69] Примечания: 69

Прево — королевский наместник в провинциях и комендант в городах Франции.

(идя навстречу Саверни)

Саверни

Бришанто

Саверни

Гасе

Бришанто

Саверни

Бришанто

Саверни

Рошбарон

Саверни

Вилак

Саверни

(гордо)

А, братец Саверни! Ну что ж, ты разыскал
Того, кто от воров тебя во тьме спасал?

Я город обыскал, не ведая покоя:
Ни дамы, ни воров, ни юного героя...

Исчезло это все, как лживый сон, увы!

Но видел ты его, когда вернулись вы,
Прогнав разбойников, и миг опасный минул?

Нет. Сразу он свечу зачем-то опрокинул.

Как странно!

Но узнать ты мог бы храбреца
При встрече?

Нет, его не видел я лица.

Как звать его?

Дидье.

Но имя дворянина
Не может так звучать.

Нет, имя — не причина.
И многие из тех, чей древен блеск имен,
Пред ним ничто. Само великодушье он!
Я был в руках воров, и никого с ним, кроме
Красотки, не было. Он спас меня. Огро-

мен
Мой долг. Я заплачу — мне иначе позор!
—
Всей кровию моей.

Маркиз, с каких же пор
Вы платите долги?

Я вам скажу на это:
Я кровью их плачу, она — моя монета.

Совсем стемнело. Окна домов освещаются одно за другим. Входит фонарщик, зажигает фонарь над доской с указом и уходит. Дверца, в которую вошли Марьон и Дидье, открывается. Входит Дидье в глубокой задумчивости; он идет медленными шагами, скрестив руки на груди.

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Те же и Дидье.

Дидье

(медленно приближаясь и оставаясь незамеченным другими)

Бушаван

(к Саверни, беседующему с Бришанто)

Дидье

(в сторону)

Маркиз де Саверни!.. О, как бы я хотел
Вновь встретить пошляка, что на Мари глядел!
Я наглость не прощу.

А, Саверни!

Ужели?

Медленными шагами приближается, пристально глядя на дворян, и садится за столик под фонарем, который освещает указ; в нескольких шагах от него — Ланжели, по-прежнему безмолвный и неподвижный.

Бушаван

(к Саверни, который оборачивается)

Саверни

Бушаван

Саверни

Бушаван

Саверни

Бришанто

(показывая ему на указ)

Саверни

(замечая Дидье)

(К Дидье, повышая голос.)

(К Бришанто)

Дидье

(не сводивший с него глаз, медленно поднимает голову)

Саверни

Дидье

Саверни

Дидье

(вставая)

Саверни

(Дворянам.)

(К Дидье, посмеиваясь)

Дидье

(опрокидывая стоящий перед ним столик)

Саверни

(улыбаясь)

Дидье

Саверни

(становясь серьезным)

Дидье

Саверни

(холодно)

Дидье

Саверни

Дидье

Саверни

Дидье

Саверни

(Предлагая Дидье собственную шпагу.)

Ты видел ли указ?

Какой?

Что впредь дуэли

Запрещены.

Ну что ж, весьма разумно.

Да, —
Под страхом петли!

Как! Ты шутишь? Никогда.
А сволочь пусть висит.

Ну так читай скорее.
Указ перед тобой.

Пошлю я ротозея
Вот этого прочесть.

Эй, как вас, милый?.. Кто
Прочтет указ?

Он глух, наверно, Бришанто?

Вы говорите — мне?

Да. За вознагражденье
Прочти-ка мне листок вот этот без стесненья.

Я?

Видно, незнаком вам даже алфавит?

Бретеру тот указ повешеньем грозит,
Будь он хоть из дворян.

Ну, это просто ложно!
Для дворянина казнь такая невозможна
В том мире, где нам все давно принадлежит.
Перед петлею пусть простой народ дрожит.

Ну и наглец!

А вы не превзошли науки.
Вы, может быть, дружок, немного близоруки?
Снять шляпу и читать, отвесив мне поклон!

Словами этими я, сударь, оскорблен.
Я прочитал указ, но где моя награда?
И голову твою и кровь, маркиз, мне надо.

Я сразу угадал, что в нем кричит народ:
Он сразу распознал во мне старинный

род.

А если нашу кровь теперь смешаем вместе,
Об этом ты, маркиз, что думаешь, по чести?

Как вы торопитесь свои окончить дни!
Меня зовут Гаспар, маркиз де Саверни.

А мне-то в этом что?

И первый мой свидетель —
Граф де Гасе, — его известна добродетель, —
А де Вилак, второй, по праву отнесен
К Фельядам должен быть, — их родич д'Обюсон.
А вы-то — дворянин?

Тебе какое дело?
Я найден был в углу церковного придела,
И безыменный я. Но вот на чем стою:
Могу я кровь пролить в обмен на кровь твою.

Нет, сударь, одного желанья слишком мало,

Но право знатности найденышу пристало:

Он знатен может быть. Не столь большой изъян —

Вассалов возвышать, как унижать дворян.

Когда угодно вам?

Сейчас же мне угодно.

Так. Если ваша кровь и вправду благородна...

Мне шпагу!

Черт возьми! Нет шпаги у него.

Так можно вас принять бог знает за кого!

Хотите? Сталь верна и славного закала.

Ланжели встает, обнажает свою шпагу и протягивает ее Дидье.

Ланжели

(Насмешливо.)

Дидье

(беря шпагу, с горечью)

(Маркизу.)

Бришанто

(прыгая от радости)

Саверни

(к Дидье)

Дидье

Гасе

Дидье

Саверни

Вилак

Дидье

(Сбрасывают с себя плащи, снимают шляпы, помахивая ими в виде приветствия, затем отбрасывают назад шляпы и обнажают шпаги.)

Саверни

Дидье

(Скрещивают шпаги и дерутся молча и ожесточенно.)

Чтоб делать глупости, попробуйте сначала

Клинок шута — ему вы окажите честь.

Послушайте: в обмен, чтоб счастье мне принесть,

Вы мне оставите кусок веревки, милый.

Так...

И господь того, кто добр, теперь помилуй!

Ура! Дуэль!

Куда ж мы с вами станем?

Под

Вот этим фонарем.

Просил бы я господ

Не сумасшествовать. Темно здесь без просвета.

Чтоб горло проколоть, нам здесь до-

вольно света.

Недурно сказано.

Здесь темь!

Наоборот!

И каждый наш клинок, как молния, блеснет.

Итак, маркиз, начнем!

Извольте.

Берегись!

Вдруг дверь приоткрывается, и появляется Марьон в белом платье.

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Те же и Марьон.

Марьон

(Заметив Дидье под фонарем.)

(Дуэлянтам.)

Что там за шум?

Дидье!

Молю!

Дуэль продолжается.

Саверни

Дидье

(оборачиваясь)

Бушаван

(подбегая к Саверни)

Остановись!

Кто эта женщина?

О боже!

Нам беда!

На этот страшный крик уже идут сюда,

И стражников ночных я вижу приближенье.

Входит стража с факелами.

Бришанто

(к Саверни)

Саверни

(падая)

(Тихо, к Бришанто, который склонился над ним)

Ты мертвым притворись!

Ах!

Чертовы каменья!

Дидье, думая, что убил его, останавливается.

Начальник стражи

Бришанто

(дворянам)

Начальник стражи

(К Дидье)

Во имя короля!

Теперь придется нам
Спасать маркиза.
Дворяне окружают Саверни.

Эй! Отведать петли вам!
Под самым фонарем с указом, право

слово,

Деретесь! Каково!

Сдавайтесь!

Стража набрасывается на Дидье, который остался один, и обезоруживает его

Начальник стражи

(показывая на Саверни, лежащего на земле и окруженного дворянами)

Бришанто

Начальник стражи

Марьон

(испуганно)

Начальник стражи

(к Дидье)

А другого

Как имя?

То Гаспар, маркиз де Саверни.

Он мертв.

Ну, вовремя свои окончил дни,

И сделал хорошо — другая смерть похуже.

Что он сказал?

Теперь нам, значит, этот нужен.

Идемте, сударь мой!

Стража уводит Дидье в одну сторону, дворяне уносят Саверни в другую.

Дидье

(к Марьон, застывшей от ужаса)

Забудь меня, Мари!

Прощай!

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Марьон, Ланжели.

Марьон

(бежит за Дидье, чтобы удержать его)

О мой Дидье, ты так не говори!

Тебя — забыть?

Стража ее отталкивает; она в отчаянии возвращается к Ланжели.

Ланжели

(берет ее за руку и молча подводит к указу)

Марьон

(читает и в ужасе отшатывается)

(К Ланжели)

Ланжели

Марьон

Ланжели

Марьон

(К Ланжели)

Ланжели

Марьон

Ланжели

Марьон

(в смятении)

Ланжели

Марьон

Ланжели

Марьон

(Уходит в ту сторону, куда увели Дидье.)

Ланжели

(один)

(Подымая свою шпагу, оставленную на земле Дидье)

(Уходит.)

Ему погибель угрожает?

Что сделал он и что беднягу ожидает?

Читайте.

Боже! Смерть! Они убьют его!

И был мой страшный вопль причиною всего.

На помощь я звала, — на крик мой слишком громкий

Уже спешила смерть сквозь мрачные потемки.

Возможно ль? За дуэль! Такой ли это грех?

За это ж не казнят?

Казнят — и даже всех.

Но можно убежать...

Их держат за стеною!

О, я всему была единою виною!
Бог за меня его карает.

Для него
Не пожалела б я на свете ничего.
О господи! Тюрьма, казнь, даже истязанья...

Да, если захотят.

Но выпрошу свиданья
Я с королем! Всегда несчастных он прощал.

Король помилует, а как-то кардинал?

Но что б вы сделали?

Проигранное дело!
Пусть он докатится до смертного предела.

Ответы ваши грудь и леденят и жгут.

Но кто же, сударь, вы?

Я королевский шут.

Дидье, Дидье! О, пусть жалка я и преступна,

Но сделаю я все, что женщине доступно.

Я за тобой пойду!

Бог весть, куда придешь!

Из них я на шута всех менее похож.

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ
КОМЕДИАНТЫ

Замок Нанжи

Парк в стиле Генриха IV. В глубине сцены, на холме, видны замки Нанжи, новый и старый. Старый — со стрельчатыми сводами и башенками, новый — островерхий, высокий кирпичный дом, углы из каменных плит. Ворота старого замка затянуты черным, издали виден щит с гербами фамилии Нанжи и Саверни.

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Лафемас, в повседневном одеянии судьи, маркиз де Саверни, переряжен: на нем офицерский мундир Анжуйского полка, черные усы и бородка, на глазу пластырь.

Лафемас

Саверни

(крутя ус)

Лафемас

Саверни

Лафемас

Саверни

Лафемас

Саверни

Лафемас

Саверни

Лафемас

Саверни

Лафемас

Саверни

Лафемас

Саверни

Лафемас

Саверни

Лафемас

Саверни

Лафемас

Саверни

Лафемас

Саверни

Лафемас

Саверни

Лафемас

Саверни

Лафемас

(глядя на маркиза)

(Идет в глубину сцены и провожает маркиза глазами.)

Саверни

(в сторону)

При столкновении вы сами, сударь, были?

Мы вместе с Саверни в одном полку служили.

Он умер.

Кто — маркиз?

Еще как умер он!

Он ловким выпадом был насмерть поражен.

Клинок, прорвав камзол, меж ребер устремился,

Прошел сквозь легкое и в печень погрузился,

Где создается кровь, как то известно вам.

Какое зрелище представилось очам!

Он умер тотчас же?

Примерно. И страданья

Его прервались вдруг. Глядел я — содроганья

Сменили скоро бред, и наступил столбняк,

И оживить его мы не могли никак.

Черт!

Но поэтому исполнен я сомнений,

Что кровь у нас течет лишь по яремной вене.

И надо наказать Пеке и мудрецов,

Что роются в кишках еще рычащих

псов.

Он умер, наш маркиз!

Удар, поверьте, знатный!

Вы врач и медикус известный, вероятно?

Нет.

Но начитаны и в медицине?

Да.
По Аристотелю.

И вот плоды труда!

Признаюсь, зло меня влечет всего сильнее,
И всякая мила мне злобная затея.
Мне сладко убивать, и я мечтал о том,
Что буду в двадцать лет солдатом иль врачом.
Я долго выбирал, но все же выбрал шпагу, —
Не так надежно, но быстрей. Люблю отвагу!

Хотел поэтом стать, медвежьим во-
жаком,
Но ужинать люблю, и каждый день
притом,
И бросил глупости.

Но, прихотью влекомый,
Чтоб знать поэзию, вы изучали томы?

По... Аристотелю.

А Саверни вас знал —
И лично?

Был всего я полковой капрал,
Маркиз был офицер, а я в солдатском
чине.

Так!

В полк тот я попал по той простой
причине,
Что быть отправленным туда имел
я честь
Косадом. Скуден дар, но дарят то, что
есть.
Произвели меня. Я ус имею черный,

Не хуже, чем другой. И ваш слуга покорный.

Так поручили вам явиться в этот дом,
Здесь дядю известить?

Мы с Бришанто вдвоем
Покойника везли, как жениха, в карете,
Чтоб здесь похоронить маркиза на рассвете.

Как старый де Нанжи воспринял эту весть?

Без слез, без воплей он умел несчастье снесть.

Но он любил его?

Гаспар наш был милее,
Чем жизнь, для старика бездетного; лелеял
Он мысль о юноше и нежно вспоминал,
Хотя племянника лет пять уж не видал.
В глубине сцены проходит старый маркиз де Нанжи. У него седые волосы, бледное лицо, руки скрещены на груди. Одет

по моде времени Генриха IV. Глубокий траур, звезда и лента ордена Святого Духа[70]*; идет медленно. Девять солдат в трауре, по три в ряд, с алебардой на правом плече и мушкетом на левом, следуют за ним на некотором расстоянии, останавливаясь, когда он останавливается, и снова шагая, когда он идет.*

Бедняга!

Дядюшка!

Входит Бришанто и подходит к Саверни.

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Те же и Бришанто.

Бришанто

(Смеясь.)

Саверни

(показывая на проходящего маркиза, тихо)

---

[70] Примечания: 70

Орден Святого Духа — рыцарский орден, учрежденный во Франции Генрихом III в 1578 г.

Бришанто

Саверни

Бришанто

Саверни

Бришанто

Саверни

Бришанто

Саверни

Лафемас

(возвращаясь)

Бришанто

(к Саверни, тихо)

Саверни

(показывая, что не знает)

Бришанто

(тихо)

Тсс... На ушко два слова.

С тех пор, как умер он, каким он стал здоровым!

Взгляни-ка, Бришанто. Как жаль мне, что пока

Держать в неведенье просил ты старика.

Откроем-ка ему, что жив племянник милый.

Нет, нам необходим вот этот вид унылый.

Пусть слезы на глазах его весь день блестят,

Чтоб вероятным был для всех твой маскарад.

О бедный дядюшка!

Тебя он встретит снова.

И смерть от радости тогда ему готова.

Такой удар не снесть!

Мой милый, лучше всех

Ты знаешь — надо так.

Но этот дикий смех

Его ужасен. Грусть кого угодно тронет.

Как он целует гроб!

В котором никого нет.

Да. Но кровавый труп скрыт в сердце у него;

Там я покоюсь, там.

Печальней ничего

Не видел мир; в глазах его укор и горе.

Кто этот, в черном весь и с хитростью во взоре?

Ах, кто-то из друзей, здесь в замке...

Воронье

На падаль так стремит желание свое.

Изо всех сил молчи пред рожею проклятой!

Безумец должен стать тут сдержанней Сократа.

Возвращается маркиз де Нанжи, по-прежнему погруженный в глубокую задумчивость Он входит медленными шагами, словно не замечая никого, и садится на дерновую скамью.

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Те же и маркиз де Нанжи.

Лафемас

(идет навстречу старому маркизу)

Саверни

(к Бришанто, тихо)

Бришанто

(Лафемасу)

Лафемас

(К Бришанто, с ехидством указывая на его шпагу.)

Бришанто

(тем же тоном, указывая на парик Лафемаса)

Саверни

(к Бришанто, тихо)

Бришанто

Саверни

(тихо)

Бришанто

Саверни

Бришанто

Саверни

(дергая его за рукав, тихо)

Лафемас

(к Бришанто)

Бришанто

(показывая на Саверни)

Саверни

Лафемас

(старому маркизу, ласково)

(К Бришанто и Саверни.)

Саверни

(в сторону)

О господин маркиз! Потеря велика.

Племянник редкий был Гаспар — его рука

Покоила бы вас, я вам соболезную.

Он юн, прекрасен был — ему б судьбу иную!

Дам чтил он глубоко, и жил в нем божий страх,

Был прав в своих делах и мудр в своих речах;

Он совершенством был, рождавшим умиленье...

Старый маркиз закрывает лицо руками

Побрал бы черт его надгробное хваленье!

Маркиз еще грустней, коль хвалят Саверни.

Утешь его, мой друг, мой образ очерни.

Ошиблись, сударь, вы. Участья недостойный,

Товарищем плохим был Саверни покой-

ный

И человеком злым — ему подобных нет.

Все хуже делался. Быть храбрым в двадцать лет

Не мудрено. И смерть его была постыдной.

Дуэль! Такой ли грех? Мне слушать вас обидно.

Вы, сударь, офицер?

Вы служите в суде?

Еще.

А как он лгал, известно всем, везде.

С ним встретиться порой возможно было в храме,

Когда он обещал туда явиться даме.

Он волокитой был, развратником он был.

Так.

Командир его за грубость не любил,

И красота его уже совсем завяла,

И шишка на глазу давно огромной стала,
Хромал он, и рыжел, и стал горбат притом.

Довольно!

Душу он за карточным столом
Готов был проиграть. Не может быть сомненья,
Что он давно спустил отцовские владенья,
Его без устали губило мотовство.

Довольно, черт дери, так утешать его!

Стыдитесь мертвого товарища бесславить.

Спросите у него.

Прошу меня избавить.

Поверьте, монсеньер, что мы утешим вас.
Убийца под замком, и близок казни час!
Ему спасенья нет — все ясно в этом деле.

Но отчего маркиз подрался на дуэли

С каким-то там Дидье, не очень ясно мне.

Дуэль же вообще я признаю вполне.

Дидье!

Старый маркиз, который все время оставался безмолвным и неподвижным, встает и медленно уходит в сторону, противоположную той, откуда пришел. Стража сопровождает его.

Лафемас

(вытирая слезу)

Слуга

(вбегая)

Бришанто

Слуга

Бришанто

Слуга

Бришанто

(Показывая на овин налево.)

Слуга

(держа в руках письмо)

(Читает.)

Лафемас

Бришанто

(тихо, к Саверни, который пребывает в задумчивости)

(Дергает его за рукав.)

Саверни

(в сторону)

О, я сражен подобною тоскою.

Ах, господин маркиз!

Оставь его в покое.

Но мы должны уже теперь узнать о том,
Как с погребеньем быть.

Узнаете потом.

А тут еще пришли актеры из селенья
И ночевать у нас просили позволенья.

Хоть для актеров день неважно выбран был,

Но долг радушия никто здесь не забыл.

Пустите их в овин.

Пакет получен. Срочно.

«Мосье де Лафемас...»

Да, это мне. Так точно.

Идем готовить все для этих похорон.

Ты что задумался?

Дидье! Ужели он?

Бришанто и Саверни уходят.

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Лафемас

(один)

(Читает.)

(Уходит.)

За государственной печатью — и большою,
Для очень важных дел. Что это значит? Вскрою.

«Верховного судью в известность ставим мы:

Недавно убежал убийца из тюрьмы

По имени Дидье». Вот это неудача!

«С ним женщина, Делорм». С досады чуть не плачу!

«Извольте быть сюда как можно поскорей...»

О, я в отчаянье! Подать мне лошадей!

Так! Вот еще одно проигранное дело.

Ни одного в руках. Тот — умер, этот смело

Бежал. Но не уйдешь!

Появляется труппа бродячих комедиантов — мужчины, женщины, дети в характерных костюмах. Среди них Дидье и Марьон Делорм в испанских костюмах; на Дидье широкополая фетровая шляпа и плащ.

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Комедианты, Марьон, Дидье.

Слуга

(подводит комедиантов к овину)

(маленький и горбатый)

Слуга

Тайбра

(к Грасье)

Жилище ваше вот.

Но знайте, что маркиз поблизости живет,

И молчаливою да будет ваша свора.

Покойник в замке есть — его хоронят скоро,

И особливо я прошу вас не кричать,

Когда покойника здесь будут отпевать.

Грасье[71]

Спокойней будем мы, чем ваших гончих

---

[71] Примечания: 71

Грасье, Тайбра, Скарамуш — не собственные имена, а названия типов персонажей в пьесах французских бродячих комедиантов.

стая,

Что с лаем мечется, всех за ноги хватая.

Но пес ведь не фигляр как будто, мой дружок!

Молчи! Не то нас спать отправят на лужок.

Слуга уходит.

Скарамуш

(к Марьон и Дидье, которые до тех пор неподвижно стояли в стороне)

Ну, побеседуем. Теперь от вас не скрою,

Что убегал ли ты с красоткой за спиною,

Супруг ли ты ее иль раб плотских оков,

Боитесь ли властей иль злобных колдунов,

Державших женщину, как зверя, в клетке тесной, —

Мне это узнавать совсем не интересно.

Что будете играть? Ролей мне пода-

вай!

Ты, черноглазая, Химен изображай[72].

Марьон приседает.

Дидье

(возмущен; в сторону)

Скарамуш

(к Дидье)

Дидье

Скарамуш

(С глубоким поклоном.)

Дидье

(в сторону)

Скарамуш

(другим комедиантам)

Как этот скоморох с ней вольно рассуждает!

Лжеца и хвастуна нам в труппе не хва-

---

[72] Примечания: 72

Ты, черноглазая, Химен изображай. — Химена — героиня трагикомедии Корнеля «Сид».

тает,

Тебе как раз к лицу. Напыжься и рычи,

Шагай уверенно и в миг один умчи

Жену Оргонову[73] *или его невесту*

И Мавра пригвозди своим кинжалом к месту.

Трагическая роль! Высокой красоты!

Как вам желательно.

Брось, говори мне: ты!

Привет тебе, хвастун!

Что делать с негодяем?

Идемте, сварим суп и пьесу проиграем.

Все, исключая Марьон и Дидье, входят в овин.

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ

---

[73] Примечания: 73

Жену Оргонову — Эльмиру, героиню комедии Мольера «Тартюф» (1664); Гюго допускает здесь анахронизм, так как действие «Марьон Делорм» происходит задолго до написания «Тартюфа».

Марьон, Дидье, потом Грасье, Саверни, потом Лафемас.

Дидье

(после долгого молчанья, с горьким смехом)

Марьон

(дрожа и ломая руки)

Дидье

Марьон

(плача)

Дидье

Марьон

Дидье

Марьон

(в сторону)

Дидье

Марьон

Дидье

Марьон

(в сторону)

Дидье

Марьон

Дидье

Марьон

Дидье

Марьон

Дидье

(снова мрачнея)

Марьон

Дидье

Мари! Достаточно ли бездна глубока?
Довольно ль вас вела во мрак моя рука?
Хотели вы за мной идти. Моя судьбина
Ломает вашу жизнь, как горная лавина.
Где очутились мы? Я вас предупреждал...

Вы упрекаете?

Нет, лучше б я пропал,

И изгнан был навек, и проклят небесами,

Как никогда никто и хуже, чем мы с вами,

Когда бы сердце то, что верит лишь в тебя,

Послало бы упрек тебе, любовь моя!

Здесь, где мне мерзко все и все во мне убито,

Не ты ль хранитель мой, надежда и защита?

Кто стражу обманул, оковы распилил,

Кто низошел с небес и в ад со мной вступил?

Кто с бедным узником был узницей влюбленной,

С отважным беглецом — беглянкой окрыленной,

Чье сердце, полное уловок и любви,

Спасало, берегло, хранило дни мои?

Я обречен, я зол, — ты, слабая, святая,

От самого себя спасла меня, родная.

Был ненавистен я на этом свете всем,

—

Ты, пожалев меня, мне предалась совсем.

Мне счастье вас любить и следовать за вами.

Дай снова опьянюсь любимыми очами!

Господь решил, создав дух непокорный мой,

Чтоб ангел с демоном повсюду шли за мной.

Будь он благословен, кто волей неземною

Скрыл демона от глаз! Ты ж, ангел, предо мною.

Вы повелитель мой, мне с вами всюду рай.

Я твой супруг.

Увы!

Мари, мне счастье дай,

Прощаясь с родиной жестокой и унылой,

Тебя перед людьми назвать супругой

милой;

Согласна ты, скажи?

Сестрою вашей — да.

Вас буду братом звать...

Моею навсегда

Пред алтарем назвать тебя — такая сладость!

О, дай моей душе познать и эту радость!

Спокойна будь со мной, — не перейду черту,

Твою я сохраню для брака чистоту.

Ах!

Как терзался я сейчас, судите сами, —

Терпеть, чтобы фигляр вас замарал словами!..

Ах, то не меньшая средь стольких горьких мук —

Знать, что вы входите в такой позорный круг.

Вы, нежная, цветок, вы оказались вместе

С отребьем женщин здесь, с фиглярами без чести.

Остерегайтесь их, Дидье!

Как воевал

Я с бешенством своим! Ведь он вам «ты» сказал,

Меж тем как я, супруг ваш, это еле смею,

Чтоб вас не оскорбить развязностью своею.

Не ссорьтесь здесь ни с кем — не то придет беда,

К обоим нам придет...

Она права всегда.

И пусть меня везде преследует злосчастье, —

Ты сердце даришь мне, и молодость, и счастье.

За что мне, о, скажи, такая благодать?

Я царство за нее обязан бы отдать,

А дал тебе взамен безумье с нищетою.

Тебя мне бог послал, ад свел тебя со мною.

Я в нашей участи не вижу правоты:

За что я награжден, и в чем виновна ты?

Все счастие мое от вас идет.

Наверно,

Ты это говоришь, Мари, нелицемерно.

Но знай, что у меня недобрая звезда.

Откуда я пришел, теперь иду куда?

Мой черен небосвод; молю я, заклиная, —

Еще не поздно, нет, — вернись назад, родная,

И одного меня теперь ты отпусти.

Когда устану я, — увы! — в конце пути

Постелят ложе мне — то ложе ледяное,

Там тесно для двоих, то ложе роковое.

Уйди!

Дидье, хочу вдали от хищных глаз

Хоть это разделить я с вами... в смерт-

ный час.

К чему стремишься ты? О, следуя за мною,

Изгнанья ищешь ты и горя с нищетою,

И, знаешь, может быть, от слез и от скорбей

Померкнет нежный блеск возлюбленных очей.

Марьон опускает голову на руки.

Марьон

(рыдая)

Дидье

(обнимая ее)

(Осторожно усаживает ее на дерновую скамью.)

Марьон

(вырываясь из его объятий)

Дидье

(на коленях, склонившись к ее руке)

Марьон

(улыбаясь сквозь слезы)

Дидье

(Садится рядом с ней.)

(Целует ее в лоб. Оба в упоении смотрят друг на друга)

Грасье

(входя)

Картина страшных бед передо мной мелькает,

И будущность твоя, Мари, меня пугает.

Уйди!

Убей меня, но так не говори

Со мною. Боже мой!

О, сколько слез, Мари!

Я за одну из них всю кровь отдам, ликуя!

Будь все по-твоему — тебе всю власть вручу я.

Ты — слава, ты — любовь, ты — счастье, ты — мечты!

Мари, ответь же мне! Мой голос слышишь ты?

Не надо, больно мне!

Слова твои ужасны.

Я плачу из-за вас! Вы злой...

Как вы прекрасны!

Дай поцелую в лоб — невинно. Можно, да?

Гляди в глаза мои — еще! — вот так! — всегда!

Химена, вас зовут в овин без замедленья.

Марьон быстро встает. Одновременно с Грасье входит Саверни, останавливается в глубине сцены и внимательно смотрит на Марьон, не замечая Дидье, сидящего на скамье и скрытого кустарником.

Саверни

(в глубине сцены, не замечаемый никем. В сторону)

(Смеясь.)

Грасье

(к Дидье, который хочет последовать за Марьон)

Дидье

Марьон

(к Дидье, шепотом)

Фу, черт! Опять Марьон. Вот это приключенье!

Химена!

Будьте здесь, ревнивец молодой,
А я вас подразню!

Черт!

Совладай с собой.

Дидье снова садится. Марьон входит в овин.

Саверни

(в глубине сцены, про себя)

А с кем она теперь блуждает так бесславно?

Не с тем ли голубком, что спас меня недавно?

Он с ней, ее Дидье возлюбленный, ну да!

Входит Лафемас.

Лафемас

(в дорожном платье, кланяется Саверни)

Саверни

(кланяясь)

(Смеется.)

Лафемас

Саверни

(смеясь)

Лафемас

Саверни

(смеется еще громче)

Лафемас

(вздрогнув)

Дидье

(с момента появления Саверни и Лафемаса

не сводит с них глаз)

(Привстает.)

Саверни

(продолжая смеяться)

Лафемас

Саверни

(Роется в кармане)

(Протягивает Лафемасу медальон.)

(Показывая на ворота овина.)

Лафемас

(переводя глаза с портрета на ворота овина)

(В сторону.)

(К Саверни.)

Саверни

Лафемас

(в сторону)

(Уходит.)

Саверни

(глядя вслед Лафемасу, про себя)

(Отводит в сторону Грасье, который до сих пор стоял в углу один, жестикулируя и бормоча роль сквозь зубы.)

(Показывает ему на ворота овина.)

Грасье

(Торжественно.)

(Показывая на Дидье.)

(Уходит в сторону парка.)

Прощайте, сударь мой...

Ах, это вы? Куда?

Вы уезжаете?

Что вас развеселило?

Вам можно рассказать. Ей-богу, очень мило.

Среди фигляров тех, чей табор здесь осел,

Ну, угадайте-ка, кого я рассмотрел.

Среди фигляров?

Там...

Марьон Делорм ютится.

Марьон Делорм?

Как! Что?

Пускай же разгласится
В Париже эта весть. Надеюсь, вы туда?

Все будет сделано, — в Париже буду, да
Так вы Марьон Делорм наверное узнали?

О! Спутаю Марьон я с кем-нибудь едва ли.

Да вот ее портрет — сокровище мое!
Художник для меня изобразил ее.

Сравните.

Вот она, там, в воротах овина.
О, как Марьон к лицу зеленая баскина!

Она! Марьон Делорм!

О, наконец, успех!

Есть у нее дружок среди фигляров тех?

Еще бы! Кто видал подобных ей палом-

ниц

Без спутника? Клянусь, я знаю этих скромниц.

Велю их сторожить. И надо поскорей

Узнать, кто здесь из них притворный лицедей, —

Тогда он будет взят.

Не так я сделал что-то!

А впрочем...

Это кто сидит вполоборота?

Химена?

Сударь, я не знаю их имен.

Поговорите с тем, кто с нею сопряжен.

ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ

Дидье, Саверни.

Саверни

(поворачиваясь к Дидье)

(К Дидье.)

Дидье

Саверни

Дидье

Саверни

Вот с этим... Что за черт!.. Как он глядит! Создатель!

Да это, право же, дуэльный мой приятель!

Не будь он под замком, я мог бы вас принять...

А вы, не будь он мертв, ей-ей... ни дать ни взять...

Тот самый. Я тогда ему сказал два слова,

И яма черная была ему готова.

Тсс! Это вы, Дидье?

А вы маркиз Гаспар?

Вы отвели тогда грозивший мне удар.

Обязан жизнью вам...

Приближается к Дидье, раскрыв объятия. Дидье отступает.

Дидье

Саверни

Дидье

Я изумлен приятно,

Маркиз; я полагал, что взял ее обратно.

Нет, вы меня спасли, мой милый. Если вдруг

Понадобится вам иль секундант, иль друг, —

Все, что хотите вы: кровь, жизнь мою, именье...

Отдайте мне, маркиз, ее изображенье.

Саверни передает ему медальон. Дидье с горечью смотрит на портрет.

Саверни

Дидье

Саверни

(подтверждая жестом слова Дидье и кланяясь ему)

Дидье

(с громким смехом, в котором звучит безнадежность)

Саверни

Чело невинное! В очах небесный свет!

Вся — целомудрие... О, как похож портрет!

Вам кажется?

Для вас она и заказала

Портрет?

Потом на вас внезапно променяла

Всех тех, кто был в нее без памяти влюблен.

Счастливый человек!

Я счастьем упоен!

Я поздравляю вас. Прекрасная девица,

И только знатные с ней в дружбу входят лица.

Такой любовницей гордиться может всяк.

Она и вес дает и в то же время знак

И вкуса лучшего. И станут все открыто

Вас всюду называть: «Друг нашей знаменитой!»

Дидье хочет отдать Саверни портрет; тот отказывается.

Дидье

(Прячет портрет у себя на груди.)

Саверни

(Со смехом.)

(Снова смеется.)

Дидье

(в сторону)

Саверни

Дидье

Саверни

Дидье

(громовым голосом)

Саверни

(Смеется.)

Дидье

(В сторону.)

Нет, нет, теперь он ваш. Я вам его дарю.

И дама и портрет — все вам.

Благодарю.

О, как мила Марьон в испанском одеянье!

Так вы наследник мой... на дальнем расстоянье:

Так принял наш король от Меровингов трон[74],

Я был обоими Брисаками сменен.

Сам грозный кардинал вступал в ее покои,

И молодой д'Эфья, затем Сент-Мемы

---

[74] Примечания: 74

Так принял наш король от Меровингов трон. — Меровинги — первая династия франкских королей (V-VIII вв.).

трое,

Четыре Аржанто. Да, в сердце у Марьон

Вы в лучшем обществе... и людном.

Я сражен!

Вы мне расскажете... Горю от нетерпенья...

Я ж мертвецом слыву, и завтра погребенье.

А вы — вам удалось затворы отомкнуть

И с помощью Марьон пуститься в дальний путь.

Вас в труппу приняли к себе актеры эти.

Не правда ль, сказочки забавней нет на свете?

Интрига сложная!

Чтоб вас освободить,

Всем глазки строила Марьон.

Не может быть!

Как! Вы ревнуете?

Нет ничего глупее!

Приревновать Марьон? Но добрым будьте с нею.

Малютка бедная! Вы свой умерьте пыл.

Не беспокойтесь!

Ах! Мой ангел бесом был.

Входят Лафемас и Грасье. Дидье уходит. Саверни следует за ним.

ЯВЛЕНИЕ ВОСЬМОЕ

Лафемас, Грасье.

Грасье

(Лафемасу)

(В сторону.)

Лафемас

(вынимая кошелек)

Грасье

(приближаясь к Лафемасу, вполголоса)

Лафемас

(улыбаясь, вполголоса)

Грасье

Лафемас

Грасье

Лафемас

(с нетерпением)

Грасье

Лафемас

(быстро подойдя к нему)

Грасье

(с глубоким поклоном)

Лафемас

(обескураженный, удаляется с раздражением, затем возвращается и бренчит кошельком у глаз и ушей Грасье)

Грасье

Лафемас

(в сторону)

(К Грасье)

Грасье

Лафемас

Грасье

Лафемас

(позвякивая кошельком у самого носа Грасье)

Грасье

(вырывая у него из рук кошелек)

(Театральным тоном обращается к Лафемасу, слушающему с беспокойством)

Лафемас

(с живостью)

Грасье

(кладя кошелек в карман)

(с глубоким поклоном)

Лафемас

(в ярости, про себя)

Грасье

(смеясь, про себя)

Лафемас

(про себя)

(К Грасье, направляющемуся к выходу.)

Грасье

(оборачиваясь, трагическим тоном)

(Хочет уйти.)

Лафемас

(удерживая его)

Грасье

(все тем же тоном)

(Кланяется и уходит в овин.)

Все в толк я не возьму, что, господин, вам надо.

На сыщика похож, а сам в плаще алькада.

Под бровию густой недобрый спрятан глаз.

Не иначе, как здесь шпионит он у нас.

Дружок!

Химена вас, как видно, интригует,

Хотите знать, какой...

Родриг здесь торжествует.

Любезник кто?

Ну да!

Кто чтит ее закон?

Он здесь?

Конечно.

Где? Где? Покажи!

Вот он.
Я без ума влюблен.

А звук червонцев звонок?

Я эту музыку люблю еще с пеленок.

Дидье в моих руках!

Любитель ты монет?

Там сколько?

Двадцать...

Гм!

Возьмешь?

Еще бы нет!

Когда б твоя спина имела вместо впадин
Горб, равный животу, что у тебя громаден,
И эти два мешка ты б золотом набил,
А после мне свои богатства предложил...

Что б ты сказал тогда?

Я взял бы их, конечно,
И только бы сказал:

«Благодарю сердечно».

Мартышка мерзкая!

Пшел к черту, старый кот!

Они стакнулись здесь и знают наперед,
Как надо отвечать, — все слажено заране.
О черти гнусные, египтяне, цыгане!

Верни хоть кошелек!

Я вас спрошу сейчас —
Что человечество сказало бы о нас?
Вы предложили мне чудовищную сдел-

ку

Товарища продать и совесть, как безделку.

Но золото отдай.

Храню я честь свою

И никому ни в чем отчета не даю.

ЯВЛЕНИЕ ДЕВЯТОЕ

Лафемас

(один)

(Хлопает себя по лбу.)

(Кричит в ворота овина.)

Шут подлый! Гордость — где? в его душе растленной?

Мне в руки попадешь когда-нибудь, презренный!

Теперь же мне нужна поблагородней дичь.

Как в этой толчее верней Дидье настичь?

Арестовать их всех и допросить? Не-

ловко!

Нет, не годится так. Во всем нужна сноровка.

Иголку отыскать в стогу не легче мне.

Ах, тигель дьявольский найти бы, чтоб в огне

Худых металлов смесь мгновенно растопилась

И крошка золота, что сплав скрывал, открылась.

Вернуться без Дидье? Что ж скажет кардинал!

Ужасно!

Я на мысль удачную напал.

Дидье в моих руках!..

Эй, господа актеры,

Два слова!

Комедианты выходят из овина.

ЯВЛЕНИЕ ДЕСЯТОЕ

Те же и актеры, среди них Марьон и Дидье; потом Саверни, потом маркиз де Нанжи.

Скарамуш

(Лафемасу)

Лафемас

Кто нас звал?

Оставим разговоры

Ученые! Скажу, что герцог-кардинал

Актеров разыскать меня сюда послал

Для пьес его — детей крылатых вдохновенья,

Что сочиняет он в часы отдохновенья.

Давно его театр стал что-то плоховат,

И обновить его наш герцог будет рад.

Все комедианты поспешно приближаются к Лафемасу. Входит Саверни и с любопытством наблюдает за происходящим.

Грасье

(пересчитывая в углу червонцы Лафемаса,

про себя)

Лафемас

(Про себя.)

(Громко.)

Не двадцать, — он солгал, — двенадцать! Вор негодный!

Отрывки из ролей читайте мне свободно,

Но все, чтобы я мог произвести отбор.

Коль вырвется Дидье, то очень он хитер.

Все собрались?

Марьон украдкой подходит к Дидье и старается его увести. Дидье отступает и отталкивает ее,

Грасье

(подходя к ним)

Марьон

Эй вы, идите, что вы стали!

О боже!

Дидье ее оставляет и вмешивается в толпу комедиантов, она следует за ним.

Грасье

В добрый час вы в поле к нам пристали:

Оденут пышно вас, простят вам все грехи

И кардинальские дадут читать стихи[75].

Вот жребий!

Комедианты выстраиваются перед Лафемасом, Марьон и Дидье среди них. Дидье, не глядя на Марьон, устремил глаза в землю, руки его скрещены под плащом. Марьон не сводит с Дидье взора, полного тревоги.

Грасье

(во главе труппы, в сторону)

Лафемас

(к Грасье)

---

[75] Примечания: 75

И кардинальские дадут читать стихи. — Кардинал Ришелье сочинял посредственные пьесы и публиковал их под чужим именем.

Грасье

(с глубоким поклоном и пируэтом, который подчеркивает его горб)

(Поет.)

Лафемас

(прерывая его)

Грасье

Лафемас

(Скарамушу)

Скарамуш

(кланяясь)

(Декламирует.)

Кто б сказал, что этот ворон быстро
Здесь наберет шутов для кардинал-министра?

Ты — первый. Кто ты, друг?

Грасье меня зовут.
И вот что лучшее могу пропеть я тут.

В париках голов судейских
Много замыслов злодейских,

И из этого руна
В зал суда течет волна —
Штрафы, виселицы, пытки
Извергаются в избытке
От малейшего кивка
Президента-парика.
Адвокат, сидящий рядом,
Осыпает судей градом
Хитроумнейших речей
Из латинских словарей.

Фальшивишь, мой дружок, орланам всем на диво.
Молчи!

Фальшивлю я, но песенка правдива.

Теперь — ты.

Скарамуш зовут меня. Я б мог
В Дуэнье прочитать начальный монолог,

«Прекрасны, — молвила испанцев королева, —
Прелат пред алтарем, солдат в бою,

но дева

В постели нам милей и за решеткой вор...»

Лафемас прерывает его жестом и делает знак говорить Тайбра. Тот отвешивает низкий поклон и выпрямляется.

Тайбра

(напыщенно)

Лафемас

(Тихо, к Саверни, который стоит подле него.)

Тайбра

(Декламирует напыщенно.)

Лафемас

(К Саверни)

(К Марьон.)

Марьон

(дрожа)

Лафемас

Марьон

(испуганно)

Лафемас

Марьон

(в сторону)

Лафемас

Марьон

(вполоборота к Дидье)

Меня зовут Тайбра. Я сын тибетских гор.

Я хана покарал, погиб Могол несчастный...

Не это...

А Марьон действительно прекрасна!

Как? Это ж лучшее! Но, чтоб потешить вас,

Я Карлом Первым стал — мой слушайте рассказ.

«О, страшен жребий мой! Я небо призываю

В свидетели, о бог, как тяжко я страдаю!

Себя ограбить сам отныне должен я,
—
К другому перейдет любимая моя.
Ему я счастье дам, свою скрывая злобу,
И желчью едкою залью свою утробу.
Так птицы не себе на ветках гнезда вьют,
Так пчелы для других свершают в поле труд,
Так вы не для себя растите шерсть, бараны,
Так для чужих, быки, пасетесь средь поляны».

Прекрасно.

Вот стихи! Из Брадаманты. Вот
Как петь умел Гарнье!

Красотка, ваш черед.
Как вас зовут?

Меня?.. Хименой.

В добрый час!
Химена? Значит, есть возлюбленный у вас!

И на дуэли он убил...

Как?

И по свету

Скитается...

Мой бог!

Прочтите повесть эту.

«О, если жизнь и честь так не милы тебе,

Что предаешься сам убийственной судьбе,

То за любовь мою, молю, Родриг, в отплату

Сражайся, чтоб меня не дали супостату.

Сражайся, чтоб спасти меня от брачных уз

И чтоб немыслим стал грозящий мне союз,

И что еще скажу? Иди, готовься к бою,

Чтобы умолкла я, смиряясь пред тобою.

И если нежный друг в меня еще влюб-

лен,

В бою из-за меня пусть побеждает он!»

Лафемас встает и любезно целует ей руку. Марьон, бледная смотрит на Дидье; тот стоит неподвижно, опустив глаза.

Лафемас

(К Саверни)

(К Марьон)

(Садится и делает Марьон знак сесть с ним рядом. Она отступает.)

Марьон

(тихо, к Дидье, с ужасом)

Лафемас

(улыбаясь)

Химена, голос ваш проникнуть в сердце может,

Как в мире ни один, и струны в нем встревожит.

О, как прелестны вы!

Конечно, спору нет, —

В сравнении с Гарнье Корнель плохой поэт,

Но он в своих стихах старания удвоил

С тех пор, как кардинал его себе присвоил[76].

Как ваш прекрасен дар! Как томен черный глаз!

О! Пребыванье здесь, Химена, не для вас.

Прошу вас сесть сюда.

Как я боюсь разлуки!

Присядьте рядышком.

Дидье отталкивает Марьон. Она испуганно падает на скамью рядом с Лафемасом.

Марьон

(в сторону)

Лафемас

---

[76] Примечания: 76

С тех пор, как кардинал его себе присвоил. — При первом появлении в Париже Корнеля, тогда еще начинающего драматурга, Ришелье предложил ему писать пьесы под прямым его руководством. Корнель попытался работать таким образом, но вскоре отказался от сотрудничества со всесильным кардиналом и предпочел писать по собственному усмотрению.

(улыбаясь Марьон, с упреком)

(К Дидье.)

Дрожу в смертельной муке.

Ну, наконец!

Кто вы?

Дидье делает шаг к Лафемасу, сбрасывает плащ и надвигает шляпу на глаза.

Дидье

(серьезно)

Дидье!

Марьон, Лафемас, Саверни

Дидье!

Все поражены.

Дидье

(Лафемасу, который торжествующе посмеивается)

Марьон

(подбегает к нему)

Дидье

(холодно глядя на нее)

(К Лафемасу)

Лафемас

(сдерживая гнев, силясь засмеяться)

Дидье

Лафемас

Теперь

Все остальные пусть уйдут к себе за дверь.

Вот ваша дичь в силке. Добыча ваша — с вами.

Она досталась вам немалыми трудами.

Дидье!

Сударыня, судьба предрешена.

Она отступает и в изнеможении падает на скамью.

Я видел, как вокруг бродил ты, сатана,

И как в твоих глазах светился отблеск ада,

Что у тебя в душе. Мне мало было надо,

Чтоб избежать тебя, твоих нечистых дел,

Но за твои труды — тебя я пожалел.

Мзду за меня бери, сдаюсь я добровольно.

Послушайте, Дидье, комедии довольно.

Нет, ты ее играл!

Я плохо бы сыграл,

Но мне способствовал сам герцог-кардинал

Создать трагедию, где роль для вас готова.

Марьон в ужасе вскрикивает. Дидье отворачивается с презрением.

Марьон

Чего вы головой качаете сурово?

Мы вашу всю игру досмотрим до конца;

А ваш бессмертный дух уже в руках

творца.

О!

В эту минуту маркиз де Нанжи проходит в глубине сцены, все в таком же состоянии, с отрядом алебардщиков. На крик Марьон он останавливается и поворачивается к присутствующим, бледный, безмолвный.

Лафемас

(маркизу де Нанжи)

Марьон

(бросаясь к ногам Лафемаса)

Лафемас

(учтиво)

Марьон

(на коленях, ломая руки)

Лафемас

(улыбаясь)

Дидье

(к Марьон)

Господин маркиз, у вас прошу подмоги.

Вот весть счастливая! Надзор здесь нужен строгий.

Тот, кем убит Гаспар преступно, был в бегах,

Но снова схвачен мной.

Имейте жалость, ах!

Как? Вы у ног моих? У ваших быть мне вечно!

О господин судья! Зачем бесчеловечно

Судить? Когда-нибудь строжайший наш судья

Помилует и вас. О! Умоляю я!

Ужели проповедь вы нам читать хотите?

Блистайте красотой и на балах царите,

К тому ж меня совсем не надо поучать,

Я счастлив вам служить, но он убийца...

Встать!

Марьон встает, дрожа.

(Лафемасу.)

Лафемас

Дидье

Лафемас

(К Марьон.)

Саверни

(делая шаг вперед)

Лафемас

(вздрогнув)

Саверни

(срывая свои фальшивые усы, пластырь и черный парик)

Маркиз де Нанжи

(как бы пробужденный от сна, с криком бросается в его объятия)

Марьон

(падая на колени и устремив взор к небу)

Дидье

(к Саверни, холодно)

Марьон

(все еще на коленях)

Дидье

(не слушая ее)

Марьон

Лафемас

Марьон

Лафемас

Марьон

(указывая ему на маркиза де Нанжи, который все еще держит Саверни в своих объятиях)

Лафемас

Марьон

Маркиз де Нанжи

(К Марьон.)

Лафемас

(маркизу де Нанжи)

Маркиз де Нанжи

(твердо)

Лафемас

(к Саверни)

Маркиз де Нанжи

Марьон

Дидье

Маркиз де Нанжи

Лафемас

(К Саверни.)

Дидье

(глядя на Саверни)

Саверни

(протягивая свою шпагу Лафемасу)

Маркиз де Нанжи

(останавливая его)

(К Саверни.)

Лжешь! То была дуэль.

Как, сударь!

Лжешь, презренный!

Молчать!

Нет, кровь за кровь. Таков закон священный.

Злодейски им убит

(показывая на де Нанжи) племянник молодой

Маркиза де Нанжи. Пред вестью роковой

Король и Франция поникли в грусти вечной.

Останься он в живых... тогда еще, конечно,

Я мог подумать бы... и тронули б меня...

Убитый человек не умер. Это я!

Общее изумление.

Гаспар де Саверни! Что думать нам о чуде?

Там гроб его стоит.

Но мертвым он не будет.

Узнали вы меня?

Гаспар, племянник мой!

Дитя любимое!

Крепко обнимают друг друга.

Дидье спасен судьбой.

К чему? Мне смерть мила.

Ему — благословенье!

А иначе ужель попался б я в мгновенье!

Я мог бы шпорою порвать без лишних слов

Паучью эту сеть для ловли комаров.

Но ныне только смерть — души моей стремленье,

Вы плохо платите, маркиз, за одолженье.

Что? Нет, он будет жить!

Нет, делу не конец,

Действительно ль маркиз вот этот молодец?

Да!

Это требует немедля разъясненья.

Смотрите, как старик исполнен уми-

ленья.

Так это Саверни? Гаспар?

Кого еще

Так старый де Нанжи ласкал бы горячо?

Гаспар ли это мой! Кровь, счастье, сын желанный!..

Он задал, кажется, вопрос нам этот странный?

Вы утверждаете, что перед нами он,

Племянник ваш Гаспар?

Да!

Я, творя закон,

Монаршим именем теперь вас арестую.

Отдайте шпагу.

Изумление и смятение среди присутствующих.

Сын!

Мой бог!

Вот и вторую

Вы голову нашли, чтоб римский кардинал

В той и другой руке по голове держал.

Но кто вам право дал?..

Спросите кардинала:

Известный всем указ его рука скрепляла,

Отдайте шпагу мне.

Безумец!

Вот она.

Постойте. Никому здесь воля не дана.

Здесь я единственный, кто властвует и судит[77],

И в замке у меня король лишь гостем будет.

Вручи мне шпагу, сын.

---

[77] Примечания: 77

Здесь я единственный, кто властвует и судит... — Самым ярким выражением феодальных привилегий, с которыми упорно боролся Ришелье, было то, что до утверждения абсолютизма феодал в своем поместье являлся высшей политической и судебной властью.

Саверни отдает ему шпагу и обнимает его.

Лафемас

Дидье

Лафемас

(кланяясь маркизу)

Маркиз де Нанжи

(своим стражам)

Лафемас

(громовым голосом)

Поверьте, сударь, мне,

То ветхие права, угасшие вполне.

Боюсь, что кардинал мне не простит. Однако

Я не хочу ничем печалить вас...

Собака!

И подчинюсь. Зато по долгу своему

Прошу мне стражу дать и отворить тюрьму.

Все предки ваши нам служили так до-

стойно!

Я запрещаю вам ступить хоть шаг.

Спокойно!

Послушайте, могуч верховный трибунал,

И в нем меня судьей назначил кардинал.

Обоих их — в тюрьму! Немедля отведите,

У каждой из дверей по двое сторожите.

Вы мне ответите. И смелым будет тот

Из вас, кто слов моих, как нужно, не поймет.

Когда приказов он моих не исполняет,

То, значит, голова ему ступать мешает.

Стражи, пораженные, безмолвно окружают обоих узников. Маркиз де Нанжи, возмущенный, отворачивается и закрывает глаза рукой.

Марьон

(Лафемасу.)

Лафемас

(к Марьон, тихо)

Марьон

(в сторону)

(Бросается к Дидье.)

Дидье

(холодно)

Марьон

(трепеща от звука его голоса)

(Падает на скамью.)

Дидье

Саверни

(обнимает маркиза де Нанжи, затем обращается к Лафемасу)

Слуга

(входя, маркизу)

Лафемас

Дидье! Погибло все!

О сударь!

Вечерком

Ко мне зайдите вы потолковать вдвоем.

Чего он хочет? О, страшны его улыбки!

И мрак в его душе таинственный и зыбкий.

Дидье!

Сударыня, прощайте.

Горе мне!

О я несчастная!

Несчастная вполне.

Поздравить можно вас теперь с двойной наградой?

Уже для похорон готово все, что надо.

Угодно будет вам обряд печальный сей

Свершить сегодня же?

Нет, через тридцать дней.

Стража уводит Дидье и Саверни.

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ
КОРОЛЬ

Замок Шамбор

Лейб-гвардейская зала.

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Герцог Бельгард в богатой придворной одежде, пышно расшитой и украшенной кружевами, на шее орден Святого Духа, на плаще кавалерская звезда; маркиз де Нанжи, в глубоком трауре, как всегда — в сопровождении своей стражи. Они проходят по зале в глубине сцены.

Герцог Бельгард

Маркиз де Нанжи

Герцог Бельгард

Маркиз де Нанжи

Герцог Бельгард

(Открывает боковую дверь.)

Маркиз де Нанжи

Герцог Бельгард

Маркиз де Нанжи

(пожимая ему руку)

Герцог Бельгард

(одному из мушкетеров, который прохаживается перед позолоченной дверцей)

Мушкетер

(тихо)

Герцог Бельгард

(в сторону)

(Старому маркизу, пожимая ему руку.)

(Вводит маркиза в соседнюю галерею.)

Приговорен?

Увы!

Так. Но в монаршей воле

Помиловать. У нас Людовик на престоле!

Не плачьте. Снизойдет и не к такой вине

Сын Генриха...

Кому служил я на войне.

Да. Мы его отцу немало послужили!

Немало панцирей железных износили,

А не шелков. Теперь вас, старый друг, молю:

Вы лишь Ventre-Saint Gris[78] *скажите королю, —*

И Ришелье тогда ни с чем, наверно, будет.

Покамест спрячьтесь тут.

Сюда король прибудет.

К тому же, милый мой, печальный ваш наряд

Покажется иным, пожалуй, смешноват.

Над трауром шутить!

Фатишки!.. Кум любезный,

Побудьте здесь пока. А я, чтоб быть полезным

---

[78] Примечания: 78

Ventre-Saint Gris (искажение слов, означающих «клянусь кровью христовой) — любимое восклицание короля Генриха IV.

Вам, против Ришелье настрою короля,
Вас, топнув, вызову. Как нравится моя
Затея вам?

Спасибо.

На два слова!
Что делает король?

Уединился снова

С тем, в черном, государь.

Я верно угадал:
Он смертный приговор кому-то подписал.

Мужайтесь!

А пока глядите восхищенно:
Сам Приматиччо[79] *здесь писал цветы плафона.*

---

[79] Примечания: 79

Приматиччо Франческо — итальянский художник, скульптор и архитектор XVI в., принимавший участие в украшении Шамборского замка.

Оба уходят. В парадную дверь, расположенную в глубине сцены и ведущую на лестницу, входит Марьон в глубоком трауре.

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Марьон, стража.

Алебардщик

(к Марьон)

Марьон

(направляясь к двери)

Алебардщик

(преграждая путь алебардой)

Марьон

(с презрением)

Мушкетер

(алебардщику, смеясь)

Марьон

(твердо)

Алебардщик

(опуская алебарду, про себя)

Мушкетер

Сударыня, нельзя!

Прошу вас!

Входа нет.

Здесь против женщины блеснул бы пистолет,
Не за нее!

Лови!

Прочь эту алебарду.
Я во дворец иду, и к герцогу Бельгарду.

Ох, эти старички!

Войдите.

Марьон входит решительным шагом я идет вперед.

Алебардщик

(про себя)

Мушкетер

(делая алебардщику знак замолчать)

Ну и ну!

Старик не так уж стар, и, верно, в старину

Король его за то, что волю дал он сердцу,

Послал бы в башню.

Тсс... Там открывают дверцу.

Позолоченная дверь открывается. Входит Лафемас, держа в руке пергаментный свиток, с которого свешивается красная восковая печать на шелковых шнурах.

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Марьон, Лафемас.

Оба удивлены. Марьон отшатывается с ужасом.

Лафемас

(медленно приближаясь к Марьон, тихо)

Марьон

Лафемас

(развертывает пергаментный свиток и показывает его Марьон)

Марьон

(взглянув, закрывает лицо руками)

Лафемас

(склонившись к ней, на ухо)

Вы здесь зачем?

А вы?

А подпись вам видна?

О боже!

Хочешь ли?

Марьон вздрагивает и в упор смотрит на него Он не сводит с нее пристального взгляда.

(Еще тише)

Марьон

(отталкивая его)

Лафемас

(выпрямляясь, с усмешкой)

Марьон

Лафемас

(Поворачивается к ней спиной, потом вдруг возвращается, скрещивает руки на груди и говорит ей на ухо.)

(Уходит)

Что ж?

Скройся, сатана!

Так не хотите вы?

Тебя бояться, что ли?

Здесь милует король, царящий на престоле.

Просите ж короля! Но с вами не шучу.

Вы проклянете час, когда я расхочу.

Входит герцог Бельгард.

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Марьон, герцог Бельгард.

Марьон

(идет к герцогу)

Герцог Бельгард

(Кланяясь.)

Марьон

Герцог Бельгард

Марьон

Герцог Бельгард

Марьон

Герцог Бельгард

(со смехом)

Марьон

Герцог Бельгард

(Улыбаясь.)

Марьон

Герцог Бельгард

Марьон

Герцог Бельгард

Марьон

(отирая слезы, твердо)

Герцог Бельгард

Марьон

Герцог Бельгард

Марьон

Герцог Бельгард

(открывая перед ней дверь галереи)

Вы, герцог, всем дворцом владеете свободно.

Прелестная, вы — здесь!..

Но что же вам угодно?

Мне к королю...

Когда?

Сейчас.

Зачем?

Молю!

Явиться поскорей велите королю.

Какая скорая!

Отказ ли это?

Что вы!

Друг с другом никогда мы не были суровы.

Отлично. Но когда увижу короля?

Побудьте с герцогом, красавица моя.

Я слово вам даю, что здесь король проходит.

Но побеседуем. Что, детка, происходит?

Вы в черном! Как у дам придворных, строг убор,

А прежде вы всегда смеялись!

Монсеньор,

Я больше не смеюсь.

Она в слезах! Что это?

Как свидеться с его величеством, совета

Прошу.

А цель?

Ах! За...

Обидел кардинал,

Как и маркиза, вас?

Да.

Спрячьтесь в этот зал,

Все недовольные должны там собираться.

Пока не подан знак, прошу не появляться.

Марьон уходит. Он закрывает за нею дверь.

Я рад был для Нанжи сил не жалеть моих.

Не будет мне трудней трудиться для двоих.

Понемногу зал наполняется придворными. Они беседуют. Герцог Бельгард переходит от одного к другому. Входит Ланжели.

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Придворные.

Герцог Бельгард

(герцогу Бопрео)

Герцог Бопрео

Герцог Бельгард

Герцог Бопрео

Герцог Бельгард

Герцог Бопрео

Аббат де Гонди

Герцог Бельгард

Ланжели

Аббат де Гонди

(смеясь)

Ланжели

(кланяясь)

Привет вам, герцог!

Вам!

Какие толки света?

Что новый кардинал...

Епископ Арльский это?

Отенский, слышал я. Что он получит сан,
Уверен весь Париж.

И справедливо дан
Сей сан. Епископ бил врагов неодолимо
Под Ла Рошелью[80].

Да-с!

Хвалю решенье Рима:
Из пушек должно бить по людям.

Эх ты, шут!..
Ну и дурак же ты...

Да, так меня зовут.

Входит Лафемас. Все придворные окружают его и наперебой за ним ухаживают. Герцог Бельгард наблюдает это с досадой.

Герцог Бельгард

(к Ланжели)

Ланжели

Герцог Бельгард

Ланжели

---

[80] Примечания: 80

Епископ бил врагов... под Ла-Рошелью. — В 1628 г. Ришелье взял крепость Ла-Рошель, последний оплот гугенотов на юге Франции, и тем самым ликвидировал нечто вроде дворянской гугенотской республики, существовавшей некоторое время в пределах французского королевства.

Герцог Бельгард

(смотрит на важничающего Лафемаса)

Ланжели

(тихо)

Герцог Бельгард

(тихо)

Ланжели

(все так же тихо)

Герцог Бельгард

Ланжели

Герцог Бельгард

(надменно)

Лафемас

(Идет за Лафемасом и представляет его герцогу, — тот кланяется довольно неблагосклонно.)

Лафемас

(кланяясь)

Герцог Бельгард

(кланяясь)

(Тихо.)

Шут, это кто еще в плаще из горностая?

И всякий льнет к нему, от восхищенья тая.

Я, кажется, его не видел никогда;

Не брат ли короля прислал его сюда?

Не так бы встретили!

Он словно гранд Испаний!

Да это Лафемас — он интендант Шампани

И первый из судей...

Творящий адский суд.

Палач при Ришелье — ведь так его зовут?

Да, да!

Он — при дворе?

Вас это удивляет?

Тигр лишний никогда в зверинце не мешает.

Представить вам его?

Шут!

Честию клянусь!

Вот с ним бы я дружил, признаться не боюсь.

Взгляните на других. Все превзошли науку:

Он срубит голову, коль не пожмет вам руку.

Я, герцог, ваш слуга.

Я очень рад.

Мой бог!

Нет, только Ришелье нас так унизить мог.

Лафемас удаляется.

Виконт де Роган

(громко хохочет среди кучки придворных в глубине зала)

Ланжели

Виконт де Роган

Ланжели

Виконт де Роган

Ланжели

Герцог Бельгард

(графу Шарнасе)

Шарнасе

(К Ланжели.)

Ланжели

Аббат де Гонди

Прелестно!

Что?

Марьон — там, в галерее новой!

Да?

Шутка у меня на этот счет готова:

Людовик девственный и грешная Марьон...

Прелестно сказано! Я прямо восхищен.

Скажите, господин волчатник, как с облавой?

И как охота здесь?

Ах, сударь! Горе, право!

Сожрали волки трех в Шамборе пастухов —

Обрадовался я, что тьма у нас волков.

Обрыскал все леса, а толку никакого.

Шут, что веселого?

Нет ничего такого...

А впрочем, в Божанси — казнь за дуэль. Изволь!

Возможно ли! За вздор такой казнить...

Открывается позолоченная дверь.

Привратник

Король!

Входит король. Он весь в черном, бледен, глаза опущены. На камзоле и на плаще — знаки ордена Святого Духа. На голове — шляпа. Все придворные обнажают головы и молча расступаются перед ним.

Гвардейцы наклоняют свои пики или берут мушкеты на караул.

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ

Те же и король.

Король входит медленными шагами, не поднимая головы, и проходит через толпу придворных, затем останавливается на авансцене и стоит несколько мгновений молча, в раздумье. Придворные удаляются в глубь залы.

Король

(у рампы)

(К придворным, кивнув головой.)

(Опускается в большое кресло и тяжело вздыхает.)

Герцог Бельгард

(приближаясь с тремя глубокими поклонами)

Король

(живо)

Герцог Бельгард

Король

Герцог Бельгард

Король

Герцог Бельгард

Король

Герцог Бельгард

Король

Герцог Бельгард

Король

Герцог Бельгард

Король

(Осматриваясь по сторонам.)

Герцог Бельгард

Король

Герцог Бельгард

(смело)

Король

Герцог Бельгард

Король

Герцог Бельгард

Король

Герцог Бельгард

Король

(с возрастающей досадой)

Герцог Бельгард

Король

Герцог Бельгард

Король

Герцог Бельгард

Король

Герцог Бельгард

Король

Герцог Бельгард

Король

Герцог Бельгард

Король

Герцог Бельгард

Король

Герцог Бельгард

Король

(На ухо Бельгарду.)

Герцог Бельгард

Король

(Резко, после молчания, скрестив руки на груди.)

Герцог Бельгард

Король

(Подходит к окну.)

Герцог Бельгард

Король

Все хуже с каждым днем...

Храни вас длань господня!

Я, господин Бельгард, совсем не спал сегодня!

Но, государь, уже давно никто не спит.

Так к бездне Франция и к гибели спешит?

Десница мощная ведет ее умело.

Да, трудное в руках у кардинала дело.

О!

Старость герцога я плохо берегу.

Не только царствовать, я жить едва могу!

Ведь кардинал не стар...

Теперь, Бельгард любезный,

Лишь будьте искренни — и будете полезны,

Что он за человек?

Кто, государь?

Ну он.

Кто? Кардинал?

Ну да.

О, взор мой ослеплен
И еле различит...

О, сколько слов прекрасных!

Но эминенций нет — ни серых здесь, ни красных[81],
Нет соглядатаев. Дозвольте королю
Знать ваше мнение о Ришелье...

Молю!
Увольте, государь.

Всю правду!

Всю? Он гений.

Вы это повторить решитесь, без сомнений,
И в Риме? Слышите ль, как стонет вся страна,

---

[81] Примечания: 81

Но эминенций нет — ни серых здесь, ни красных. — Эминенция (буквально — «высочество») — титул кардиналов. «Красная эминенция» (по пурпурному цвету кардинальского одеяния) — прозвище Ришелье. «Серой эминенцией» называли иронически аббата Жозефа, ближайшего его помощника, следовавшего за кардиналом, как его тень.

Меж Ришелье и мной страдать осуждена?

Ах!

Разве всем теперь не ведает он сразу —

Войной, законами? Он отдает приказы,

Ну чем он не король? Изменой разогнал

Он Лигу[82] *и теперь свой грозный меч подъял*

На друга — Австрию, откуда королева[83]*.*

Но разрешил же вам он, государь, без гнева

Крольчатник завести...

---

[82] Примечания: 82

Изменой разогнал он Лигу... — Лига здесь — военно-политический союз немецких католических князей во главе с императором Фердинандом, образовавшийся во время Тридцатилетней войны и поддержанный Испанией, против протестантской Унии. Нейтралитет Франции в первые годы войны косвенно способствовал успехам Лиги, но Ришелье, придя к власти в 1624 г., круто повернул внешнюю политику Франции и начал борьбу против австрийских и испанских габсбургов, что предрешило поражение Лиги в этой войне.

[83] Примечания: 83

...свой грозный меч подъял на друга — Австрию, откуда королева. — Жена Людовика XIII, Анна Австрийская, через своего отца (испанского короля Филиппа II) и деда (Карла V, германского императора и испанского короля) принадлежала к дому Габсбургов, основным наделом которых была Австрия.

Какая-то игра
Ведется с Данией...

Но цену серебра
Вы назначаете.

Меня он ссорит с Римом...

С благоволением, ничем не объяснимым,
Дал вам издать указ, чтоб денег тратил всяк
Не более экю, когда идет в кабак.

А договоры те, что держит он в секрете...

Зато он терпит сбор охотников в Планшете.

Он все творит один, и жалоб тяжкий стон
Летит к нему давно — я в тень преображен,
Молящих голос стал чужд царственному слуху.

Зато излечивать дано вам золоту-

ху[84].

Гнев короля усиливается.

Он хочет орден мой дать брату своему,
—

Я этим возмущен, я запрещу ему.

Но...

Все его родных поносят...

Зависть гложет.

А жизнь племянницы его на что похожа!

Навет!

А сколько сот пехоты держит он?

Но конных только сто.

Я этим возмущен!

Он Францию спасет...

Мою он губит душу.
Одной рукой у нас еретиков он душит,

---

[84] Примечания: 84

Зато излечивать дано вам золотуху. — По древнему суеверному представлению, короли Франции (а также Англии) обладали способностью излечивать золотуху одним прикосновением к больному.

Другой — со шведскими он пишет договор.

А как подумаю я, сколько под топор

На площадь Гревскую он шлет людей! Ужасно!

И всё друзья мои. На нем и платье красно

От крови их. Меня ж он трауром облек.

С своими кардинал не так же ль был жесток?

И если любит тех, с кем так он поступает,

Я горячо любим...

Мою он мать ссылает![85]

Желаньям вашего величества вполне

Он предан, кажется.

Он ненавистен мне!

---

[85] Примечания: 85

Мою он мать ссылает! — Мать Людовика XIII, Мария Медичи, после неудачного заговора против Ришелье (1630) бежала в Брюссель, а затем в 1638 г., по требованию Ришелье, ей было предложено переселиться в Англию.

Меня он душит. Здесь я больше не свободен,

Здесь не хозяин я, — а я на что-то годен.

Но он, меня давя тяжелою стопой,

Рискует разбудить дух королевский мой.

Пусть я и слаб и хил, а жизнь его пылает,

Ей каждое мое дыханье угрожает,

И потушить ее смогу я, как свечу,

Когда я вслух скажу, про что еще молчу.

Молчание.

Он все в моей стране, как может, ухудшает.

Хворает сам король — и Франция страдает.

Снаружи и внутри — повсюду кардинал,

Король — нигде. Как зверь, он Австрию глодал,

Он корабли мои не защищает в море,

Не хочет, чтоб я был с Густав-Адольфом в ссоре[86]*...*

Да что там! Он везде, он — сердце короля,

Полна им Франция, мой дом, моя семья.

Ах! Очень жалок я!

И дождь стучит докучно.

Вам тяжко, государь?

О мой Бельгард, мне скучно.

Молчание.

Мне, первому в стране, пришлось последним стать.

О, браконьеру я хотел бы трон отдать!

Весь день охотиться, другой не знать забавы,

Не знать стеснения и спать в тени дуб-

---

[86] Примечания: 86

Не хочет, чтоб я был с Густав-Адольфом в ссоре... — Густав-Адольф — шведский король (1611-1632), был противником германского императора в Тридцатилетней войне. Ришелье одно время поддерживал Густава-Адольфа и в 1631 г. ассигновал ему большую сумму для ведения войны с Лигой, так как стремился ограничить район военных действий Восточной Германией и не подпускать к французским границам ни одну из воюющих армий.

равы,

Слуг короля громить, с грозою петь в лесах

И в чаще вольно жить, как птица в небесах!

Свободный селянин в дому своем хозяин,

А в Лувре у меня всегда пурпурный Каин,

—

Так важен и так строг, и вечно шепчет он:

«Вам, верно, государь, угоден сей закон?»

Он разлучил меня с страной, мне богом данной,

И, как ребенка, скрыл под мантией багряной,

Когда вы спросите: «Кого туда, шаля,

Упрятал кардинал?» — вам скажут: «Короля!»

И вечно списки жертв рябят перед глазами:

То с дуэлянтами, а то с еретиками.

В дуэли грех какой, я что-то не пойму...

И трупы, трупы... Ах! На что они ему?
Бельгард топает ногой.
Входят маркиз де Нанжи и Марьон.

ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ

Те же, Марьон и маркиз де Нанжи.

Маркиз де Нанжи приближается со своей стражей к королю и за несколько шагов от него становится на одно колено. Марьон падает на колени у входа.

Маркиз де Нанжи

Король

Маркиз де Нанжи

Марьон

Король

Марьон

Маркиз де Нанжи

Король

Маркиз де Нанжи

Король

Маркиз де Нанжи

Марьон

Король

Маркиз де Нанжи

(показывая на правую и левую руку короля)

Марьон

(маркизу, тихо)

Маркиз де Нанжи

Король

Маркиз де Нанжи

(поднимаясь)

Король

Маркиз де Нанжи

Король

Маркиз де Нанжи

Король

(Показывая на свои седеющие волосы.)

Маркиз де Нанжи

Король

Маркиз де Нанжи

Марьон

Король

Марьон

Король

Марьон

Король

Марьон

Король

Маркиз де Нанжи

Марьон

Король

(Задумывается на минуту.)

(Замечая свиту маркиза.)

Маркиз де Нанжи

Герцог Бельгард

(в сторону)

Король

Маркиз де Нанжи

(содрогаясь)

Управы!

На кого?

На злого беса в алом,
Что величают здесь министром-кардиналом.

И милости...

Кому?

Дидье.

И Саверни.

Два эти имени! Встречались мне они.

Пощады, государь!

А кто вам эти люди?

Я — дядя Саверни.

Дидье мне братом будет.

Что, дядя и сестра, вас привело сюда?

От правой — милости, от левой — я суда

Хочу! Я — де Нанжи, маркиз. И я владею

Ста копьеносцами и крепостью моею.

Я против Ришелье, Армана Дюплесси,

Взываю к королю и к богу в небеси.

И я по праву здесь и в этом не раскаюсь.

Гаспар де Саверни, о коем я стараюсь,

Племянник мой...

Маркиз, а мой несчастный брат!

Гаспар ввязался в спор, но кто же виноват,

Что поединком все окончилось некстати

С каким-то там Дидье — он из недавней знати;

Но благородства дух в них до конца пылал,

А кардинал своих ищеек разослал.

Известно дело мне. Довольно. Что еще там?

Пусть к вашим, государь, прибавится заботам

То обстоятельство, что кардинал-тиран

И замышляет зло и нашей кровью пьян.

Покойный ваш отец, наш Генрих незабвенный,

Со знатью в мире жил и в дружбе неизменной,

Хранимый ею, он умел ее хранить

И лишь преступника способен был казнить.

Дворянство Франции на лучшее пригодно,

Чем головы терять позорно и бесплодно.

И кто оплот всему — знал Генрих, чей кафтан

Был залит, и не раз, в сраженьях кровью ран.

Вот время, что своим я буду звать упорно.

Дух древней знати жил среди вельмож придворных;

Дворян священник бы не тронул никогда.

Невинный точно знал, что не придет беда.

И так как к временам приблизились мы скверным,

Храните, государь, дворян, престолу верных.

Поверьте старику — еще наступит час,

Когда, припомнив все, вздохнете вы не раз,

Что площадь Гревская у нас в таком почете,

И всех погибших там невольно перечтете.

Вы с горечью тогда свой оглядите двор,

Бесстрашных тех вблизи искать ваш будет взор

Вотще!.. Погибли все. А не были бы стары...

Междоусобицы еще горят пожары,

И в городе еще набатный слышен звон.

Палач не нужен нам. Пусть отдыхает он.

Пусть спрячет свой топор. Не надо пла-

хи грозной,

А то начнете вы, когда уж будет поздно,

Оплакивать того, чей вот сейчас костяк

В цепях качается, нам предвещая мрак.

Нет, государь, ведь кровь — плохое орошенье.

На Гревской площади не вырастут растенья,

И никому не мил ваш царственный балкон,

Когда пустеет Лувр и люден Монфокон[87].

Позор придворному, что вас увеселяет,

В то время как палач топор приготовляет.

Пусть сладко льстец поет, пусть повторяет он,

Что вы — сын Генриха, прославленный Бурбон,

---

[87] Примечания: 87

Когда пустеет Лувр и люден Монфокон... — Лувр — королевская резиденция в Париже. Монфокон — пригород Парижа, место казни политических преступников.

Как голос сей ни льстив, как он ни сладок будет,

Звук павшей головы скорей услышат люди.

Довольно вам играть! Помыслите о том,

Что пред господним вы предстанете судом.

Чтоб вас предупредить, скажу вам без боязни,

Что битвы честные куда нужней, чем казни,

И то не честь стране и не венец удач,

Что воин не у дел, а нужен ей палач.

И горек Франции, где мы родились с вами,

Тот пастырь, что налог взимает головами.

Подобных извергов не терпит род людской.

Он скипетр ваш берет кровавою рукой.

Но монсеньор — мой друг, и все должны отменно

Быть преданны ему.

О!

Это непременно.

О!

Наставленьем нас не мучьте вы своим.

Вот что нас делает до времени седым.

Здесь молит вас старик, здесь женщина рыдает!
А час, что все решит, незримо наступает.

Чего хотите вы?

Пощады Саверни!

И милость для Дидье!

Видали в наши дни,
Что милость с правдою бывает часто в ссоре.

Мы молим, государь, участья в нашем горе.
Ведь вы не знаете, что дуэлянты те,
Почти что отроки, в безвыходной беде.

Смерть, боже правый! Смерть на виселице черной!

О, пожалейте их! Мне чужд язык придворный,

Я плохо говорю. Быть может, слезы — грех,

Но этот кардинал — ведь он страшнее всех.

За что разгневался, за что несчастных губит?

Не знает он Дидье. Кто знал его, тот любит!

Смерть в этом возрасте... За поединок!.. Нет!

У них есть матери!.. Подумать страшно... Бред...

Вы не допустите... Как женщина несчастна!

Не может убеждать она разумно, ясно,

У нас лишь вопли есть и слез невольных град,

Нам на колени стать велит ваш первый взгляд.

О! Если их вина вас чем-то оскорбляет,

Простите их скорей. Ведь молодость не знает

Сама, что делает, безумная, она;

За слово резкое уж ссора зажжена,

И оскорбления уж полетели роем;

Все это пустяки. Но мир наш так устроен.

Всем этим господам известно это — их

Спросите, государь! Не так ли?.. Вы моих

Спасти могли б друзей, произнеся пол-слова.

О! Я бы вас любить всю жизнь была готова.

Пощады! Господи, умей я говорить,

Вы так сказали бы: «Хочу ее простить,

То бедное дитя, молящее упрямо».

Как душно мне! Дидье! Прошу...

Кто эта дама?

Сестра несчастного. У ваших ног дрожу.

Народу вы родной...

Я всем принадлежу.

Дуэль — ужасный бич; бороться должно с нею.

Но жалость всем нужна.

Пример еще нужнее.

Позвольте, государь, вам дать один совет:

Сложите их лета — и будет сорок лет.

Но мать имеете, о государь, вы сами,

Жену и сына, тех, кто так любимы вами.

Ведь и у вас есть брат, — так сжальтесь над сестрой.

Нет, брата нет...

Ах да, есть... Герцог — брат он мой.

К маркизу де Нанжи мы обращаем слово:

В осаде ли дворец иль то поход крестовый,

Что с гвардией своей сюда явился он?

Вы герцог или пэр?

Бретонский я барон
И этих герцогов и пэров родовитей,
Что здесь вы, государь, указами творите.

Вот гордость адская, вот непокорный нрав!

Отлично. В замок свой несите ваших прав
Весь список, но хоть здесь оставьте нас в покое —
И будем квиты мы.

Невинны эти двое...
Хоть снисхождение имейте к их летам
И к сердцу старика, что к вашим пал ногам.

Король делает резкое движение, выражающее гнев и отказ. Маркиз медленно поднимается.

(Кладя руку на грудь.)

Когда родитель ваш и общий благодетель, —

Чей был соратник я, и я — увы! — свидетель

Убийства, — был пронзен кинжалом[88], *я хранил*

Всю ночь покойного — я долгу верен был.

Погибли мой отец и братья дорогие

В междоусобицы годины роковые.

Любившую меня я потерял, увы!

И ныне тот старик, с кем так жестоки вы,

Подобен вздернутой на дыбе жертве ката,

Что мучиться ее оставил до заката.

Так кости все мои господь переломал

Железной палицей. И вечер мой настал!

Удар последний здесь. Храни монарха, боже!

---

[88] Примечания: 88

...родитель ваш... был пронзен кинжалом... — Отец Людовика XIII, Генрих IV, в 1610 г. был убит фанатиком-иезуитом Равальяком.

Низко кланяется и уходит. Марьон с трудом поднимается с колен и почти замертво падает в амбразуре позолоченной двери, ведущей в кабинет короля.

Король

(отерев слезы, следит глазами за уходящим маркизом; Бельгарду)

(На мгновение задумывается, потом резко прерывает молчание.)

(Приближаясь к Бельгарду.)

(Зевая)

(Жестом высылая из комнаты стражу и придворных.)

(К Ланжели.)

Король быть должен тверд, когда его тревожат.

Как трудно добрым быть... Он душу мне пронзил.

Не будет милости! Вчера я нагрешил.

Мне, герцог, кажется, еще до их прихода

Была у вас в речах излишняя свобода,

И это принесет вам очень сильный вред,

Когда всю суть моих сегодняшних бесед

Узнает кардинал. Впредь будьте осторожны.

Я плохо спал, Бельгард, и сны мои тревожны.

Идите, господа, прощайте!

Будь со мной!

Все уходят, кроме Марьон, которую король не видит. Герцог Бельгард замечает ее, полулежащую на пороге двери, и подходит к ней.

Герцог Бельгард

(к Марьон, тихо)

Марьон

Ланжели

(герцогу, тихо)

(К Марьон, тихо.)

(Снова подходит к королю, который сел в

кресло и глубоко задумался.)

А вам не место здесь. И что за срам такой,

Что на пороге вы, как статуя, застыли?

Идите, милая!

Жду, чтоб меня убили.

Пусть будет там она.

Останьтесь.

ЯВЛЕНИЕ ВОСЬМОЕ

Король, Ланжели.

Король

(с глубоким вздохом)

Ланжели

Король

Ланжели

Король

Ланжели

Король

Ланжели

Король

Ланжели

Король

Ланжели

Король

(становясь все грустнее от слов шута)

Ланжели

Король

(Подходя к шуту.)

Ланжели

Король

(задумчиво, становясь все печальнее от слов шута)

Ланжели

Король

Ланжели

Король

Ланжели

Король

(живо)

Ланжели

Король

Ланжели

Король

Ланжели

Король

Ланжели

Король

Ланжели

Король

Ланжели

Король

(К Ланжели.)

Ланжели

Король

(подумав и помолчав)

Ланжели

Король

Ланжели

(приблизившись к окну)

Король

(живо оборачиваясь)

Ланжели

Король

(поднявшись и подходя к окну)

Ланжели

(показывая ему на что-то за окном)

Король

Ланжели

Король

Ланжели

Король

Ланжели

Король

Ланжели

Король

Ланжели

Король

Ланжели

Король

Ланжели

Король

Ланжели

Король

Ланжели

(Преклонив колено, подает шпагу королю.)

Король

(беря шпагу и разглядывая ее)

Ланжели

Король

(серьезно и мрачно)

Ланжели

(в сторону)

Король

(помолчав)

(Прохаживается, сильно взволнованный, приложив руку ко лбу. Потом обращается к встревоженному Ланжели.)

Ланжели

(в сторону)

Король

(прохаживается; он очень взволнован)

Ланжели

(в сторону)

(Громко.)

Король

Ланжели

(в сторону)

Ланжели!
Я болен, горечью мне сердце обожгли.
Я больше не смеюсь. Глаза оцепенели,
Слез нет. А иногда слова твои умели
Разгладить мне чело; величие мое
Забыв, склонись к душе, развесели ее.

Не правда ль, жизнь таит и горечь и страданье?

Увы!

А человек... он хрупок, как дыханье.

Дыханье скорбное...

А если он король,
То в сердце обречен нести двойную боль, —

Не так ли, государь?

Двойная ноша!

Верно;
В могиле лучше быть, хоть тьма ее безмерна.

Я думал так всегда.

В гробу быть иль на свет
Не появляться бы... другого счастья нет!

О, сколь мне речь твоя приятна и отрадна!
Молчание.

Но разве выход есть из той могилы смрадной?

Как знать! Но умереть сейчас хотел бы я.

Молчание.

Как я несчастен, шут! Поймешь ли ты меня?

Я вижу, государь, поникли вы в печали,

Истаяли.

Меня развеселишь едва ли!

Со мною, видишь ли, весь твой потерян труд.

И что за ремесло! Ты — королевский шут,

Паяц, который вдруг то поднят, то отброшен.

Твой смех, состарившись, гримасой перекошен.

Зачем ты в мире здесь, к чему игра твоя

И для чего живешь?

О, любопытен я!

Но вы... зачем вам жить? Я вас в душе жалею.

И что вы за король? Вы женщина скорее!

И пусть я лишь паяц, на нитке, слаб и хил, —

Плащ королевский ваш такую ж нить прикрыл.

А я бы предпочел, скажу вам без обмана,

Быть куклой короля, чем куклою Армана.

Молчание.

Ты шутишь, но ты прав. Пришел из ада он.

Не сам ли сатана в него преображен?

И не его ль в душе моей зияет метка?

Что скажешь?

Думал я об этом сам нередко.

Про это говорить теперь не должно нам.

Как беды гонятся за мною по пятам!

Сюда мне присланы испанские бакланы,
Но рыбной ловли нет. Кругом одни поляны.
Не может прихвастнуть прославленный Шамбор
Прудом, где бы вода дошла хотя б до шпор.
Я выйду с удочкой — поля, с мушкетом — море.
О, как несчастен я!

Полна тоски и горя
Вся ваша жизнь.

А ты б меня повеселил.

Напротив, огорчу. Я слышал, что вам мил, —
И очень правильно, — уход за соколами,
Что куропаток бьют. И знаете вы сами,
Как важен для того сокольничий.

Он — бог!

Так вот двоих из них я слышу смертный вздох.

Двоих?

Да.

Кто они?

Известные...

Но кто же?

Да те, из-за кого вас просьбами тревожат.

Дидье и Саверни?

Да, им подобных нет.

Вот неудача-то! Страшнее злейших бед.

Искусство их и так в упадке и застое.

Со мной оно умрет, как, впрочем, все другое.

Из-за чего дрались?

За странную мечту —

Что сокол кречета обгонит на лету.

Неверно. Но едва ль заслуживает казни.

Молчание.

Я мог бы их спасти, когда б не тень

боязни,
Что слишком мягким он меня сочтет, увы!
Молчание.

Так хочет Ришелье повесить их?

А вы?

Они умрут!

Умрут.

Как быть? Моя охота...

Взгляните, государь!

На что?

Там видно что-то.

Что?

Смена часовых теперь идет.

Ну что?
И это все?

Кто в желтом там?

Никто, —
Капрал...

Сюда привел другого человека.
И что ему шепнул?

Пароль. Ведь так от века
Положено... Ну что?

Веду я вот к чему:
Король — как часовой, и ведомо ему:
Не пика — скипетр длань его отягощает;
Как он отцарствует, тогда его сменяет
Капрал всех королей — смерть, чтоб другой король
Державу получил, а с ней такой пароль,
Как Милосердие, что прямо дан нам богом.

Нет, Правосудие! Хотя решенье строго,
Им должно умереть.

Как вам, как мне, как всем.
Смерть говорит: «Я все, что мне предложат, ем».
Хоть тесно мертвецам, но спать спокойно можно,

А с кардиналом вам и тесно и тревожно.

Да что там, государь, — день, месяц минут, год...

И, совершивши все, все трое в свой черед,

Дурак — я, вы — король и кардинал-властитель,

Спокойно мы уснем; и пусть, как победитель,

В великой гордости кичится человек —

В шесть футов будет гроб, чтоб спать ему навек.

И Ришелье давно уж изменяют силы.

Да, очень жизнь темна, и так светлы могилы!

Но ты со мной еще дурачься и шути.

Я, государь, пришел, чтоб вам сказать: прости.

Что?

Покидаю вас...

Послушай, что за бредни?

Из службы королям идут лишь в путь последний.

Да... скоро я умру.

Ты вправду помрачен?

Шут!

Вешает меня Людовик и Бурбон.

Так расскажи теперь всерьез об этом деле.

В несчастной той и я участвовал дуэли;

А впрочем, хоть не я, но шпага эта — вот,

Вот, государь.

Меня сомнение берет.

Да... Шпага... Отчего?

Рожден я дворянином.

Мы в преступлении замешаны едином

Все трое.

Так. Прощай. Позволь мне, бедный шут,

Тебя поцеловать, пока еще ты тут.

Ужасно, как всерьез он принимает дело!

Нет, правосудью я не ставил бы предела,
Но вас, Арман, не зря жестоким назовут:
Погибнут за дуэль сокольничьи и шут.

Утешься, бедный шут: вся жизнь — одно страданье,
Смерть лучше. Человек непрочен, как дыханье...

Черт!

Бедный шут, теперь приходит твой черед!

Однако у меня по лбу струится пот.

Коль не заступитесь...

А с кем мне веселиться?
Ты мне придешь сказать, что в мире том творится?
Вот случай редкостный.

Какой урок мне дан!

Король продолжает прохаживаться большими шагами, время от времени обращаясь к Ланжели.

Король

(Скрещивая на груди руки.)

Ланжели

Король

(с жестом решимости)

О Ланжели! Как вновь взнесется наш Арман!

Вернусь ли к власти я, вот что меня тревожит.

Монтень изрек: «Как знать?» Рабле сказал: «Быть может»[89]*...*

Шут, дай пергамент мне!

---

[89] Примечания: 89

Монтень изрек: «Как знать?» Рабле сказал: «Быть может». — фраза из «Опытов» (1588) французского гуманиста Монтеня, являющаяся законченным выражением его скептицизма по отношению к религиозным и вообще всяким ограничивающим человеческий ум догмам. Согласно преданию, Рабле (1494-1553), умирая, сказал: «Я отправляюсь искать великое быть может», выражая этим сомнение в загробной жизни.

Ланжели поспешно подает ему лист пергамента, лежавший на столе около чернильницы. Король быстро пишет несколько слов, затем отдает пергамент Ланжели.

Ланжели

Король

Ланжели

(подбегая к Марьон)

Марьон

(падая на колени)

Ланжели

Марьон

Король

(изумленно разглядывая Марьон, в сторону)

Ланжели

(передавая пергамент Марьон)

Я всех прощаю вас.

Как? Всех троих?

Ну да.

Сюда, скорей, сейчас!
И в ноги королю!

Оказана пощада?

И это я...

Но чьи ж лобзать колени надо —
Его иль ваши?

Что за странный поворот?
Иль это западня?

Помилованье — вот.

Марьон целует пергамент и прячет его на груди.

Король

(в сторону)

(К Марьон.)

Марьон

(Смело показывая королю на свою грудь.)

Обман?

Сударыня, прошу — повремените;

Где этот лист?

Бог мой!

Его вот здесь ищите
И с сердцем вырвите.

Король останавливается в замешательстве и отступает.

Ланжели

(к Марьон, тихо)

Король

(к Марьон)

Марьон

Король

(опуская глаза)

Ланжели

(к Марьон, тихо)

Король

(после минутного колебания, не поднимая глаз, жестом приказывает Марьон удалиться)

Марьон

(с глубоким поклоном королю)

(Уходит.)

Ланжели

Король

Ланжели

Король

(Прохаживается большими шагами.)

(После короткого раздумья.)

Ланжели

Держитесь, милый друг,
Король наш ни за что туда не сунет рук.

Отдайте, говорю.

Возьмите!

Чары девы!

Он не коснулся бы корсажа королевы!

Ступайте.

Я бегу их вырвать из оков.

Она — сестра Дидье, что холит соколов.

Мне это все равно... Но непонятна сила,

С которою она меня вот так смутила.

Молчание.

Тебя опять простить я должен, Ланжели!

Шут, ты меня провел.

Но знают короли,

Что милость оказать и самому приятно.

Шут прав! В дни казней я тоскую безотрадно;

И прав Нанжи: мертвец не годен ни к чему,

И людный Монфокон — смерть Лувру моему,

Как он посмел отнять, преступно и лукаво,

У сына Генриха помилованья право?

Обезоружен я, отцовский отнят трон!

Я в этом Ришелье, как в гробе, заклю-

чен,

И мантия его — мой саван погребальный.

Нет, этим юношам судьбы такой печальной

Я не хочу. Нет. Жизнь прекрасней всех даров.

Бог властен смертному раскрыть могильный ров,

Но не король. Прощу, не совершу злодейства,

И этих мальчиков счастливые семейства

Меня благословят. Решаю! Подписал

Король. Пусть бесится, как хочет, кардинал.

Зато мой друг Бельгард веселым глянет оком.

Подчас и королем быть можно ненароком.

ДЕЙСТВИЕ ПЯТОЕ
КАРДИНАЛ

Замок Божанси

Тюремный двор. В глубине башня. К ней с обеих сторон примыкает высокая стена. Налево высокие стрельчатые ворота; направо калитка. Около двери каменный стол и каменная скамья.

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Рабочие разбирают угол стены в глубине сцены налево. Брешь уже довольно велика.

Первый рабочий

(ударяя киркой)

Второй рабочий

(ударяя киркой)

Третий рабочий

(ударяя киркой)

Первый рабочий

(Идет к воротам и обмеряет их)

Третий рабочий

Первый рабочий

(утвердительно кивая головой)

Второй рабочий

Третий рабочий

Первый рабочий

Второй рабочий

Третий рабочий

Первый рабочий

Второй рабочий

Первый рабочий

Третий рабочий

Ух! Тяжело!

Пока стена не упадет,
Возиться с проклятой!

Пьер, видел эшафот?

Да.

Тут, действительно, как будто места мало,
Чтобы могли пройти носилки кардинала.

Так это целый дом?

Весь в занавесках он.
Их носит на спине едва ль не батальон.

Я встретил чудище под вечер средь тумана.
Казалось, в темноте несут Левиафана.

Зачем он явится с охраною своей?

Чтоб поглядеть на казнь тех молодых людей.
Так развлекаясь, он поддерживает силы.

Ну что ж, пора кончать!
Снова принимаются за работу; стена почти разрушена.

Видал ли, братец милый,
Для знати эшафот?

Всё им одним.

Ну вот,

Кто стал бы строить нам такой же эшафот?

А понял ли ты, что те люди совершили,

Чтоб их казнить, Морис?

Нет. Так в суде решили.

Рабочие продолжают ломать стену. Входит Лафемас. Рабочие замолкают. Он выходит из глубины сцены, словно идет из внутреннего тюремного двора. Останавливается около рабочих, как будто рассматривая брешь, и дает им какие-то указания. Когда пролом закончен, он велит им затянуть его черным сукном; сукно совершенно скрывает брешь; затем отпускает рабочих. Почти в то же время появляется Марьон в белом платье и под вуалем. Она входит в ворота, быстро проходит по двору тюрьмы и стучит в калитку. Лафемас направляется в ту же сторону медленными шагами. Калитка открывается. Появляется привратник.

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Марьон, Лафемас.

Марьон

(показывая привратнику пергамент)

Привратник

Марьон

Лафемас

(предъявляя привратнику бумагу)

Привратник

С приказом короля!

Нельзя сюда.

Но как!

Подписан герцогом!

Войдите.

Лафемас, перед тем как войти, оглядывается; одно мгновенье он смотрит на Марьон, затем подходит к ней. Привратник закрывает калитку.

Лафемас

(к Марьон)

Марьон

(с торжеством показывая пергамент)

Лафемас

(показывая свою бумагу)

Марьон

(с криком ужаса)

Лафемас

Марьон

(закрывая лицо руками)

Лафемас

Марьон

Лафемас

Марьон

Лафемас

(тихо)

Марьон

Лафемас

(подходя к ней, тихо)

Марьон

Лафемас

Марьон

(высокомерно)

Лафемас

Марьон

(поворачивается к калитке, с мольбой сложив руки)

Лафемас

Марьон

Лафемас

Марьон

Лафемас

Марьон

(дрожа всем телом)

Лафемас

Вот так так!

Что это, вы опять проникли в эти стены?

Помилованье здесь!

А здесь его отмена.

Приказ мой дан вчера!

А мой сегодня дан.

Надежды больше нет!

Надежды все — обман.

И милость королей — непрочная опора:
Подходит медленно и убегает скоро.

Но мне же сам король спасти их обещал!

Что может сам король, коль хочет кардинал?

Дидье! Последняя надежда гаснет, милый!

Нет, не последняя.

О боже!

Здесь, в унылой
Тюрьме, есть человек, который вдохновлен,
Быть может, вами так, что все исполнит он!

Уйди!

И это все?

Оставь меня в покое!

Характер женщины причудливо устроен!

Быть ласковой ко всем не трудно было ей, —
А ныне, чтоб спасти того, кто всех милей...

О, даже для тебя я чести не нарушу!
Я не могу! Твой дух мою очистил душу.
Дидье мой, близ тебя я сделалась иной!
Я, словно девушка, стою перед тобой.

Любите же его!

Вот зверь! От преступленья
К пороку он идет!

Одно лишь одолженье
Могу вам оказать.

Какое?

В девять — казнь.
Проститься хочешь с ним, отбросивши боязнь?

Сегодня вечером!

И даже, без сомненья,
Прибудет кардинал взглянуть на представленье.

Марьон погружается в глубокую задумчивость, полную отчаяния. Вдруг она проводит обеими руками по лбу и обращается, как потерянная, к Лафемасу.

Марьон

Лафемас

(тихо)

(Прислушивается, повернувшись к дверце.)

Марьон

(ломая руки)

Лафемас

(Тихо.)

Марьон

(с отчаянием)

А что б вы сделали, чтоб им помочь уйти?

Ага, согласны? Что ж, легко могу найти

Двух верных мне людей, чтоб здесь, у поворота,

Поставить на часах...

Уж не идет ли кто-то?

И вы б его спасли?

Да.

Но я говорю
Здесь громко для тюрьмы.

Идем!

Лафемас направляется к воротам и манит Марьон пальцем за собою. Она падает на колени, повернувшись лицом к тюремной калитке; затем судорожным движением поднимается и исчезает в воротах вслед за Лафемасом. Калитка открывается, оттуда выходят Саверни и Дидье, окруженные стражей.

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Дидье, Саверни.

Саверни, одетый по последней моде, входит шумно и весело. Дидье, весь в черном, бледный, идет медленными шагами. Их ведет тюремщик в сопровождении двух алебардщиков. Тюремщик ставит алебардщиков на часы около черного занавеса. Дидье молча садится на каменную скамью.

Саверни

(тюремщику, который открыл ему дверь)

Тюремщик

(отводя его в сторону, тихо)

Саверни

Тюремщик

(еще тише)

Саверни

(с живостью)

Тюремщик

Саверни

(Тюремщику.)

Тюремщик

Саверни

(потирая руки)

Тюремщик

Саверни

(Тюремщику.)

Тюремщик

Саверни

Тюремщик

Саверни

(качая головой)

(Тюремщику, тихо.)

(Показывая на Дидье.)

Тюремщик

Саверни

Тюремщик

Саверни

(Отворачивается от изумленного тюремщика.)

Благодарю!

Как здесь легко дышать!

Два слова, разрешите.

Хоть сто!

Хотите вы бежать?

Но как, скажите?

Я все устрою сам.

Серьезно?

(Тюремщик кивает головой) Кардинал

Хотел, чтоб я не мог отправиться на бал!

Но, черт возьми, еще мы потанцуем лихо!

Прекрасна жизнь!

Когда ж?

Когда все станет тихо.

Я этим восхищен, конечно. Но скажи,

Кто помощь мне прислал?

Ваш дядя де Нанжи.

О добрый дядюшка!

Да, но бежать — обоим?

Нет, только одному.

Награду мы удвоим.

Нет, только одному.

Ах, одному?

Как быть?

Тогда спасай его.

Изволите шутить?

Да нет же.

Сударь, мне не ясно ваше слово!

Старался дядя ваш для вас, не для чужого.

Как! Пусть же саваны обоим нам несут.

Входит писец.

Писец

(кланяясь заключенным)

(Снова кланяется и уходит.)

Саверни

(Смеясь)

Дидье

(держа в руках портрет, приближается к рампе и останавливается, погруженный в созерцание)

(С яростью бросая портрет на землю.)

Саверни

(возвращаясь из глубины тюремного двора)

Дидье

(не слушая его)

Саверни

Дидье

(не слушая его, поднимает портрет и устремляет на него взор)

(Снова прячет портрет у себя на груди.)

(Подходя к Саверни.)

Саверни

(В сторону)

Дидье

Саверни

(беря его под руку)

Дидье

(радостно)

Саверни

Дидье

Саверни

Дидье

Саверни

Дидье

Саверни

Дидье

Саверни

Дидье

Здесь можно быть одним не больше трех минут!

К вам, господа, сейчас прибудет член Палаты,

Советник короля.

Так.

Что за рок проклятый

Всего лишь двадцать раз дожить до сентября!

Явись! Гляди в глаза! Вот так, моя заря!

О, как ты хороша в своей красе прелестной!

Ты разве женщина? Ты, верно, гость небесный!

И сам господь, твой взор наполнив чистотой,

Смешал в нем страсти блеск с невинностью святой.

И этот детский рот, капризно приоткрытый,

Так целомудренно...

О, лучше бы о плиты

Нашедшая меня разбила череп мой,

А не взяла дитя и унесла домой!

И чем пред матерью моей я провинился,

Что в наказание на этот свет родился?

Ах, чтобы любящей родительницей быть,

Она должна была младенца задушить.

Как кружат ласточки в прохладе предвечерней!

Наверно, будет дождь...

О, что тебя неверней

На свете, женщина, безумней и горчей!

Мятежна, глубока ты, как волна морей.

Я морю этому — увы! — мой парус вверил,

И я на небесах звезде единой верил.

Корабль пошел ко дну. К могиле я приплыл,

Но добрым я рожден, мой путь прекрасен был.

Божественный огонь во мне пылал, наверно,

Дух сердце оживлял... О, как ты лицемерна!

Как смертная тебя не охватила дрожь,

Когда позорную ты мне шептала ложь?

Опять вы про Марьон? Так помешаться можно

Легко!

Среди всего, что мерзостно и ложно,

Тебя отброшу я, пропахшую грехом.

Ты демон, ангельским прикрывшийся крылом!

Вернись ко мне на грудь!

Но это просто чудо!

Он жив, ее портрет. Скажу тебе: покуда

Ты безмятежно спал в безмолвии ночном,

Он сердце мне глодал. Готов поклясться в том!

Поговорим про смерть, друг, сделай одолженье!

Я от нее грущу — ему в ней утешенье.

О чем вы просите? Ведь я не слышал вас.

Я забываю все, мой дух совсем угас.

Никак не совладать мне с чувствами моими

С тех пор, как услыхал я роковое имя.

Смерть!

Вот что! Смерть!

Так я теперь совсем не прочь

О ней потолковать.

Как спал ты эту ночь?

Прескверно: не заснешь на этом твердом ложе.

Когда умрете вы, не мягкой будет тоже

Постель, но нерушим загробный будет сон.

И это все. Ад есть — но что такое он

В сравненье с жизнью?

Да, мой страх пронесся мимо.

Но быть повешенным — вот что мне

нестерпимо!

По мне и это смерть, и после — тот же сон.

Я рад за вас, Дидье, но сам я огорчен.

Не смерть меня страшит, скажу я без рисовки:

Пусть смертью будет смерть, а не кусок веревки.

Обличий смерти — тьма, петля — из них одно.

Не спорю, страшным быть мгновение должно,

Когда вас узел сжал, как задувают пламя,

И душу вольную вдруг разлучают с вами.

Но как подумаешь, не все ли нам равно, —

О, лишь бы на земле все сделалось темно!

Лежишь ли под плитой, что хвалит вас и душит,

Иль злобный ветр ночей останки ваши

сушит,

И ворон, каркая, уже разнес в когтях

Лохмотья бедные, ваш бездыханный прах?

Вы в мрачной мудрости не знаете предела.

Пусть клювы коршунов мое терзают тело

И черви точат пусть, — не так ли с королем

Бывает? Это мне, мой милый, нипочем!

Когда навеки жизнь плоть мертвую покинет,

Незримою рукой душа надгробье сдвинет

И в небо улетит.

Входит советник в сопровождении алебардщиков, одетых в черное.

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Те же, советник палаты в парадном одеянье, тюремщики, стража.

Тюремщик

(объявляет)

Советник

(кланяясь по очереди Саверни и Дидье)

Саверни

Советник

(развертывает лист пергамента и читает)

Саверни

(радостно)

Советник

(снова кланяясь)

(Откланивается, собираясь уйти.)

Дидье

(не меняя задумчивой позы, к Саверни)

Советник

(возвращаясь, к Дидье)

Дидье

(кротко)

Саверни

(к Дидье, радостно)

Дидье

Саверни

(советнику)

Советник

Саверни

(перебивая его)

Советник

Дидье

Саверни

Советник

(указывая рукой на соседний двор)

(Уходит с алебардщиками.)

Советник короля!

Тяжка и горестна обязанность моя,
И строг закон...

Так, так. Отказ в смягченье кары?

«Людовик, Франции король, король Наварры,
Преступным людям сим отказываем мы
В той просьбе, что они прислали из тюрьмы.
Но, дабы их очаг от срама был избавлен,
Тот и другой злодей да будет обезглавлен».

Как хорошо!

Теперь вам наготове быть.
Сегодня казнь.

Итак, прошу вас не забыть:
Когда по смерти труп холодным прахом станет,
Пусть члены мертвые меч палача изранит,
Пусть руки вывернут и кости истол-

кут,

В канавы сточные, как падаль, повлекут, —

Из этой плоти всей, зловонной и кровавой,

Бессмертная душа возносится со славой!

О смерти надобно подумать вам, увы!

Все кончено...

Зачем меня прервали вы?

Петли не будет!

Так программу изменили.

Головорез придет с преосвященством, или

Топор заржавел бы! Так хочет кардинал.

О, как вы холодны! А я возликовал

И благодарен вам за это извещенье.

Я, сударь, был бы рад вам возвестить прощенье...

В котором же часу?

Казнь?.. Ровно в девять, да.

Я рад, что солнца мне не видеть никогда.

Где будет эшафот?

Да тут, на этом месте;
Мы монсеньора ждем.

Узники остаются одни. Смеркается. Видно лишь, как в глубине сцены поблескивают алебарды двух часовых, которые безмолвно прохаживаются перед проломом.

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Дидье, Саверни.

Дидье

(торжественно, после некоторого молчания)

Саверни

Дидье

Теперь мы с вами вместе
Подумаем, Гаспар, в последний этот

час

О горькой участи, что ожидает нас.

Мы сверстники, но вас старее я намного,

И я хочу вам быть опорой и подмогой;

Тем более что я вас погубил, — беда

Шла от меня, — ты был еще счастлив тогда.

Я тронул жизнь твою; мое прикосновенье

Сломало эту жизнь в единое мгновенье.

Итак, вступаем мы под своды темноты

Могильной. Руку дай!

Слышны удары молотков.

Шум этот слышишь ты?

Там строят эшафот иль нам гроба готовят.

Саверни садится на каменную скамью.

Саверни

Дидье

Саверни

Дидье

Саверни

В последний миг сердца иные прекословят,

И держит жизнь людей так цепко иногда!

Часы бьют один раз.

Мне кажется, зовет нас кто-то... Слышишь, да?

Второй удар.

Нет, это бьют часы.

Третий удар.

Так.

Четвертый удар.

Из часовни эхо.

Еще четыре удара.

И все же это звук и зова и привета.

Нам ждать еще лишь час.

Облокачивается на каменный стол и опускает голову на руки. Часовые сменяются.

Дидье

(Подходит к неподвижно сидящему Саверни.)

(Берет его за руку и убеждается, что тот спит.)

(Садится.)

Но берегись, дружок,

Споткнуться, ослабев, о роковой порог.

В кровавой горнице так низки арки свода,

Что людям голову срубают с плеч у входа.

Брат, твердо мы пойдем навстречу палачам.

Пусть эшафот дрожит, — дрожать невместно нам,

Им головы нужны, клянусь душой моею:

Взойдем на эшафот, не преклоняя шею.

Мужайся!

Он уснул! А я ему пою

Про мужество! Пред ним я мальчик, признаю!..

Спи, ты, что можешь спать! Но час наступит скоро

Заснуть вот так и мне. О, только б тень позора

И ненависть ушли из сердца моего!

О, пусть в могиле я не помню ничего!

Совсем стемнело. В то время как Дидье все более углубляется в свои мысли, через пролом входят Марьон и тюремщик. Тюремщик идет впереди с потайным фонарем и свертком. Он опускает то и другое на землю, затем осторожно подходит к Марьон, которая осталась на пороге, бледная, неподвижная, в смятении.

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ

Те же, Марьон и тюремщик.

Тюремщик

(к Марьон)

(Удаляется и до конца этого явления прохаживается взад и вперед в глубине тюремного двора.)

Марьон

(идет, пошатываясь, погруженная в мучительные мысли. Время от времени проводит рукой по лицу, будто стараясь стереть что-то)

(Вдруг замечает в темноте Дидье, вскрикивает, бежит и, задыхаясь, падает к его ногам.)

Дидье

(как бы внезапно пробудившись)

(Холодно.)

Марьон

(Плачет. Слышны ее рыдания.)

Дидье

Марьон

(Смеется.)

(Снова приникает к коленам Дидье и пла-

чет.)

Дидье

Марьон

(поднимается, не слушая его, бежит за свертком и передает его Дидье)

Дидье

Марьон

Дидье

Марьон

Дидье

(отталкивая ногой сверток с одеждой)

Марьон

Дидье

Марьон

Дидье

(с печальною улыбкой)

Марьон

Дидье

Марьон

Дидье

Марьон

Дидье

(показывая на спящего Саверни)

Марьон

(озадачена; в сторону)

(Громко.)

Дидье

Марьон

Дидье

(Пристально смотрит на нее.)

Марьон

(потрясенная взглядом Дидье)

(Громко)

Дидье

Марьон

(в ужасе падая на землю)

Дидье

Марьон

Дидье

Марьон

Дидье

(Скрестив руки на груди.)

(С криками бешенства мечется по тюремному двору.)

(Останавливается, собираясь раздавить миниатюру между ладонями, но затем сдерживается и продолжает в сильном волнении.)

(К Марьон.)

Марьон

Дидье

Марьон

Дидье

(показывая на свою грудь)

(Протягивает ей портрет.)

Марьон

(отворачивается с криком)

Дидье

(Смеется и в ярости кидает медальон на землю.)

Марьон

(задыхаясь)

Тюремщик

Марьон

Дидье

Тюремщик

Марьон

Дидье

Марьон

Дидье

Марьон

Дидье

Марьон

Тюремщик

Смотрите, главное — уйти до их прихода.

Как в жгучих клеймах, я в лобзаниях урода.

Дидье, Дидье, Дидье!

Она!

Зачем вы тут?

А где ж мне быть? К твоим ногам уста прильнут!

Мне здесь так хорошо!.. Возлюбленные руки!

Дай их скорее мне!.. Вот след кровавой муки

Оков? Злодеи, как твою терзали плоть!

Я здесь, и потому... как страшно все, господь!

Зачем вы плачете?

Нет, я смеюсь! Слезами

Я вас не огорчу...

Сейчас бежим мы с вами.

Какое счастье! Ты жив будешь! Все прошло!

Как я растерзана! Как сердцу тяжело!..

Сударыня...

Нельзя терять мгновенье даже!

Вот этот плащ надень! Я заплатила страже!

Бежать из Божанси мы можем, милый мой.

Пройдем мы улицей за этою стеной.

Прибудет Ришелье взглянуть, как исполняют

Его веление. Всегда пальбой встречают

Прибытие его... О, не теряй минут!

Все будет кончено, коль нас застанут тут!

Отлично.

Но скорей... Ах, боже, я с тобою!

Спасен... Ну, говори... Люблю я всей душою!

Так там есть улица за этою стеной?

Я там сейчас была. Путь верен, милый мой.

При мне последнее окошко запирали.

Там кто-нибудь теперь нам встретится едва ли,

И за прохожего там приняли бы вас.

Переоденьтесь же немедленно, сейчас!

Смеяться будем мы над этим всем в дороге.

Скорей!

Куда спешить?

Смерть на твоем пороге.

Бежим, Дидье! Скорей!.. Я здесь, бежим!

К чему?

О, чтоб тебя спасти!.. Скорей покинь тюрьму!

Как ты суров со мной...

Вы знаете, мужчины

Бывают странными и вовсе без причины!

Пора, идем скорей! Там кони. Ах, идем!

Все, что захочешь ты, скажи мне, но потом.

Скорее!

Это кто стоит перед стеною?

Тюремщик. Он, как те, уже подкуплен

мною.

Вы сомневаетесь?.. У вас смущенный вид...

Нет, но случается, что нам обман грозит.

Бежим! Когда б ты знал, что каждое мгновенье

Мне слышится толпы гудящей приближенье!

О, я тебя молю, молю, как никогда!

Вы для которого из нас пришли сюда?

Не выдал ли Гаспар меня неосторожно?

Ужели вам со мной так говорить возможно?

Откуда на меня обрушилась гроза?

Ну, вскиньте голову, глядите мне в глаза!

Дрожащая Марьон смотрит ему в глаза.

Да, верно, — сходство есть.

О, ты моя отрада!

Любимый мой, идем!

Не отрывайте взгляда.

Лобзанья гнусные ужели видит он?

Ты словно тайною какой-то окружен.

Ты сердишься, Дидье. Скажи мне, что с тобою?

Мы подозрения в душе таим порою

И горько сетуем впоследствии, когда

От нашей скрытности произойдет беда.

Ах, в мыслях у тебя царила я бессменно!

Ужели это все умчалось так мгновенно,

И я разлюблена?.. Иль ты Блуа забыл,

Смиренный мой приют, где ты со мною был?

Так мы любили там в тиши благословенной,

Как будто бы одни остались во вселенной.

Но ты, мой милый друг, ты мрачен был подчас.

Я думала: никто, никто не видит нас.

Чудесно было там. Погибло все мгновенно.

О, как ты клялся мне, что буду неизменно

Любовию твоей, все тайны мне вверял

И, что ты мой навек, так нежно уверял!

Я ни о чем тебя ни разу не просила,

Все помыслы твои всегда с тобой делила,

Но нынче уступи! Дидье, близка беда.

С живым и с мертвым я останусь навсегда.

Все с вами, мой Дидье, мне будет наслажденьем,

Побег иль плаха... О, с каким он нетерпеньем

Вдруг оттолкнул меня!.. Оставь хоть руку мне.

Не сбрасывай с колен мой бедный лоб в огне.

Бежала я сюда и до смерти устала...

О, что сказал бы тот, кто видел, как блистала,

Как веселилась я! Все изменилось вдруг.

Сердит ты на меня, скажи мне, милый друг?

Дидье, у ваших ног мне хочется остаться.

Но как мне тягостно — я в том должна признаться, —

Что слова не могу добиться я от вас.

Что с вами, наконец? Скажи мне иль сейчас

Убей меня!.. Ну вот, я более не плачу,

Я улыбаюсь вам, глубоко слезы прячу.

Ну улыбнитесь мне, а то я разлюблю.

Я слушалась всегда, послушайся — молю!

Но холодом оков душа твоя объята.

Зови меня Мари, мой милый, как когда-то...

Мари или Марьон?

О, милосердным будь!

Сударыня, сюда ведет не легкий путь,

И тюрьмы королей не строились из глины;

Здесь стража грозная, здесь стены-исполины.

Чтобы открылось вам все множество дверей,

Кому вы отдались, признайтесь поскорей?

Дидье! Кто вам сказал?

Никто. Я догадался.

Клянусь создателем, — чтобы ты жив остался,

Чтобы ты мог бежать — я правду говорю, —

Чтоб палачей смягчить, поверь...

Благодарю.

Дойти до этого — вот ужас, в самом деле!

Ведь это срам, еще не виданный доселе...

Торговец этот где, позорный и срам-

ной,

Что продал голову мою, прельстясь ценой?

Тюремщик где? Судья? Где человек презренный?

Его я раздавлю, как образ ваш растленный

Я раздроблю...

Судья! Пишите ваш закон!

Пусть на весах у вас — я этим не смущен —

Фальшивой гирею, склоняющей судьбины,

Лежит честь женщины иль голова мужчины!

Ступайте вновь к нему!

Молю, не будь таким!

Мне твой презрительный ответ невыносим.

Я трепещу, Дидье, и мертвая паду я...

Пойми, что здесь любовь пылает, торжествуя,

И если некогда был человек любим,

То это мною ты...

Обман мне нестерпим!

Родиться женщиной я мог себе на горе

И тоже утопать в распутстве и в позоре,

Собою торговать, всем подставляя грудь,

Чтоб первый встречный мог на ней часок уснуть,

Но если встретил бы меня не как забаву

Невиннейший чудак, влюбленный в честь и в славу,

И если бы в себя влюбить мне довелось

Скитальца, грезою пронзенного насквозь,

Скорее, чем ему в позоре не признаться,

Скрыть от него, кто я, и молча с ним остаться,

Не заявив ему открыто наперед,

Что мой невинный взор ежеминутно лжет,

Скорей, чем так солгать, — о, я, собрав всю силу,

Ногтями б вырыла сама себе могилу!

Ах!

Вы смеялись бы, себя увидев тут,

В том странном зеркале, что сердцем все зовут!

Его разбив в куски, вы поступили верно.

Вы чистой были там, простой, нелицемерной...

О женщина! Ну чем, скажи, был виноват

Тот, кто любил тебя, как самый нежный брат?

И надлежит теперь мне возвратить вам это —

Святой залог любви чистейшей и привета.

Мой бог!

Не для меня ль портрет заказан тот?

Пусть кто-нибудь меня из жалости убьет!

Спешите...

Час идет, мгновенье улетает!

Дидье, мне говорить ваш взор не разрешает,

Не может быть никто обязан мне ничем.

Меня вы прокляли и бросили совсем.

Я более, чем срам и злобу, заслужила.

О, слишком вы добры, — и вам я с новой силой

Благословенье шлю, — но близок страшный час.

Бегите, ваш палач не позабыл про вас!

Я все устроила, побег возможен... Слушай!

Мне не отказывай, я погубила душу!

Толкни меня, ударь, отбрось пинком ноги,

О, растопчи меня, Дидье мой, — но беги!..

Бежать? Но от кого? Ее мольбам не внемлю.

Лишь от нее бежать, — и я бегу... под

землю.

Спешите!

Убегай!

Нет.

Сжалься! И прости!

Кого?

Как повлекут по страшному пути
Тебя... Глядеть на то!.. При этой мысли стыну!
О нет! Ты будешь жить! Тебя я не покину!
Согласен ли ты взять в раскаянье живом, —
Чтобы топтать ее, простой служанкой в дом, —
Ту, что в скитаниях ты называл, бывало,
Женой своей...

Женой!

Отдаленный пушечный выстрел.

Вот и вдовства начало!

Дидье мой!..

Поздно.

Барабанный бой. Входит советник в сопровождении монахов с факелами, палача, солдат, народа.

Марьон

Ах!

ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ

Те же, советник, палач, монахи, народ и солдаты.

Советник

Марьон

(к Дидье)

Дидье

(советнику)

Советник

Ну вот и ваш черед!

Предупреждала я... палач сюда идет!

Готовы, сударь, мы.

Которого тут имя
Гаспар де Саверни?

Дидье указывает ему пальцем на спящего Саверни.

(Палачу.)

Палач

(трясет Саверни за плечо)

Саверни

(протирая глаза)

Дидье

Саверни

(еще в полудреме, замечает Марьон и кланяется ей)

Советник

Саверни

Советник

(протягивая ему лист бумаги)

Саверни

(берет пергамент и пробегает его глазами)

(Ставит свою подпись и снова просматривает протокол, потом берет перо, что-то исправляет. Писцу.)

(Палачу.)

Советник

(к Дидье)

Буди!

Клянусь святыми,

Он спит! Эй, монсеньор!..

Такой разрушить сон

Как ты осмелился?

О, только прерван он.

В чудесном этом сне я видел вас, красотка!

Предали ль душу вы в господни руки кротко?

Да, сударь.

Подписать должны бумагу вы.

А, это протокол... Что умер я, увы,

Свидетельствую сам потомкам в назиданье.

Я вам подправил здесь кой-где правописанье.

Ты разбудил меня и спать уложишь вновь.

Дидье?

Дидье подходит. Советник передает ему перо.

Марьон

(закрывая рукой глаза)

Дидье

Саверни

(кому-то в толпе)

Дидье

(к Саверни)

(Обнимает Саверни.)

Марьон

(подбегая к нему)

Дидье

(показывая на Саверни)

Марьон

(протягивая руки)

Дидье

(кидается к Марьон, задыхаясь, обливаясь слезами)

(Судорожно сжимает ее в объятиях.)

Марьон

Пишите здесь.

О боже, стынет кровь!

О, эта подпись мне — такое наслажденье!

Стража окружает их, чтобы увести.

Пусть девочка пройдет! Прошу как одолженья!

Мой брат! Вы для меня свершили этот шаг.

Обнимемся теперь.

А я вам разве враг?

О, поцелуй меня!

Сударыня, мы дружны.

О, как жестоки вы к той женщине недужной,
Что молит всех людей, колени преклоня,
Вам милость оказать, а вас — простить меня!

Так нет же, нет! Увы, разбито сердце это!
Нет, я тебя люблю — и. видно, без привета
С тобою не прощусь... И не по силам мне
Жестоким с виду быть, внутри горя в огне!
Люблю! Приди ко мне!

Умру я скоро. Надо
Мне высказать любовь. Вот высшая отрада.

Дидье!..

Он снова самозабвенно целует ее.

Дидье

Марьон

(задыхаясь, в слезах)

Дидье

(Становится перед нею на колени.)

Марьон

Дидье

(не вставая с колен)

Марьон

Дидье

Приди ко мне!.. Теперь спрошу у вас,

Кто б равнодушно мог в такой жестокий час

Не попрощаться с ней, несчастной, нежной, смелой,

Которая ему так предалась всецело?

О, как я был неправ! Кто смеет пожелать,

Чтоб, не простив ее, пошел я умирать?

Приди ко мне, Мари! Из женщин всех на свете

(И мне сочувствуют сердечно вот все эти!)

Та, что любима мной, кому любовь верна,

Кого я сердцем чту — все это ты одна!

Затем, что ты была добра, нежна со мною.

Послушай, жизнь уже за смертной пеленою!

Пронзает ныне смерть все истины лучом,

И если ты лгала — ты неповинна в том!

Падение твое искуплено тобою.

Мать, верно, бросила дитя свое родное,

Как некогда моя... И даже быть могло,

Что продали тебя... О, подними чело!

Теперь внимайте все! В подобное мгновенье

Земля скрывается, как тень, как дуновенье,

И под своей ногой я чую эшафот.
Лишь истину вещать невинный может рот!
Небесный ангел ты, замаранный землею,
Мари, жена моя, возлюбленная мною,
Во имя господа, — к которому иду, —
Тебя прощаю я...

Ах!..

Дорогая, жду:
И ты меня простишь!

Дидье!..

Прости, родная!
Я злым с тобою был. Господь, тебя карая,
Меня тебе послал. Но ты меня оплачь...
О, как мне горестно, что был я твой палач!
Не покидай меня! Прости меня скорее!

Ах!..

Слово мне скажи и лоб сожми теснее.

Но, коль в волнении сердечной полноты

И слова вымолвить уже не можешь ты, —

Знак мне подай...

Марьон кладет ему обе руки на лоб. Он встает с колен и крепко обнимает ее с просветленной улыбкой.

Марьон

(обезумев, бросается между Дидье и солдатами)

(К собравшимся зрителям.)

Дидье

Марьон

Дидье

Советник

(к Марьон)

Марьон

Идем!

Безумье это! Или

Они, что я с тобой, Дидье мой, позабыли?

Но умертвить тебя я не позволю им!..

О, как вас умолять? Всем существом моим

Молю! И коль хранят доселе души ваши

Хоть что-то, что дрожит в ответ на слезы наши,

И если вас господь еще не проклял всех,

Вы не убьете, нет!..

Предупреждаю тех,

Что нынче вечером в дома свои вернутся:

Ни мать, ни сестры им уже не улыбнутся,

Но скажут: «Боже мой, какой великий грех!

Ведь вы могли спасти того, кто лучше всех!»

Что я умру с тобой, пусть знают все на свете,

И от стыда сгорят сейчас убийцы эти.

Нет, дай мне умереть. Позволь мне

это, друг!

Я ранен глубоко, — и этот мой недуг

Едва ли исцелим... в могилу горе спрячу.

Но если, милая, — ты видишь, как я плачу? —

Придет достойнейший к твоей руке прильнуть,

Ты друга, спящего в могиле, не забудь.

Дидье! Ты будешь жить! Поверить не могу я

В их непреклонность!

О, забудь мечту такую!

К моей могиле пусть твой привыкает взгляд.

И мертвым буду я тебе милей стократ!

Жить в памяти твоей я буду нерушимо,

Но жить возле тебя с душой, тоской палимой,

Мне, что всю жизнь любить одну бы мог тебя!

Представь себе, мой друг, как я, любовь

губя,

Тебя бы огорчал сомненьями моими, —

Поверь, я никогда не совладал бы с ними!

Ты б думала, что я скрываю в сердце боль,

И мучилась... Нет, дай мне умереть, позволь!

Вы можете спасти их от судьбины грозной.

Прибудет кардинал — просить еще не поздно.

Да, правда... Кардинал! Его ведь ждут сюда!

Вы все услышите, как он мне скажет — да!

Дидье, увидишь ты... Молить я буду страстно!

Как ты помыслить мог?.. Ведь это бред ужасный,

Чтоб добрый кардинал, старик, так злобен был

И не простил тебя. Ведь ты меня про-

стил!

Бьет девять часов. Дидье делает всем знак замолчать. Марьон слушает с ужасом. После девятого удара Дидье опирается на плечо Саверни.

Дидье

(к народу)

А вы, которые собрались к месту казни,

Свидетельствуйте, что без дрожи и боязни

Мы оба слушали, как пробил этот час,

Глашатай вечности, раскрывшейся для нас.

Пушечный выстрел у ворот тюрьмы. Черная завеса, скрывавшая пролом в стене, падает. Появляются огромные носилки кардинала. Их несут двадцать четыре пеших гвардейца, окруженные двадцатью другими гвардейцами с алебардами и факелами. Носилки ярко-красные и украшены гербом дома Ришелье. Занавески опущены. Носилки медленно проносят в глубину сцены. Глухой ропот толпы.

Марьон

(подползая на коленях к носилкам и ломая руки)

Голос из носилок

О монсеньор, молю, Христа Исуса ради
Обоих пощадить!

Ни слова о пощаде!

Марьон падает на мостовую. Носилки проносят, за ними ведут обоих приговоренных к казни. Народ с громкими восклицаниями следует за ними. Марьон остается одна. Она приподнимается и ползет на руках, оглядываясь по сторонам.

Марьон

Что он сказал?.. Где все? Дидье! Дидье!..
О мрак!
Нет никого!.. Народ! Я брежу? Иль то знак,
Что я сошла с ума?..

Толпа в беспорядке возвращается. Носилки появляются в глубине сцены, с той стороны, куда их унесли. Марьон встает с ужасным воплем.

Гвардейцы

(раздвигая толпу)

Марьон

(стоя с развевающимися волосами и указывая народу на носилки)

(Падает на мостовую.)

Он снова!

Пропустите!

Вот в красном палача проносят! Все глядите!

ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНАЯ СПРАВКА

ПОЭЗИЯ ГЮГО

Представленные в настоящем издании избранные стихотворения Гюго расположены в хронологической последовательности авторских сборников. Внутри сборников сохраняется установленная Гюго композиция, не следующая хронологическому принципу.

Первый поэтический сборник Гюго **«Оды и баллады»**, включающий стихотворения 1817 — 1828 гг., выходил в разном составе и под разными названиями: «Оды и другие стихотворения» (1822), «Новые оды» (1824), «Оды и баллады» (1826) и — окончательное издание — «Оды и баллады» (1828). Различные издания сборника отразили эволюцию Гюго от монархических идей и традиций классицизма к более либеральным воззрениям и романтической тематике и форме. Так, если в ранней юности Гюго отрицательно относился к Наполеону, то уже в стихотворении 1825 г. «Два острова» Наполеон привлекает его как яркая личность, хотя он и осуждает его как деспота и завоевателя, бесчисленные жертвы которого, воскреснув, сразу могли бы превратить остров его изгнания в долину Иосафата (библей-

ское место Страшного суда).

Сборник **«Восточные мотивы»** вышел в свет 14 января 1829 г. и поразил современников богатством образов, разнообразием ритмов, блеском стиля. Пластическая выразительность стихотворений сборника приближает их к произведениям современной им романтической живописи Жерико и Делакруа. Впоследствии Леконт де Лиль, избранный после смерти Гюго во Французскую Академию на его место, в своей вступительной академической речи назвал «Восточные мотивы» «откровением истинной Поэзии для всего последующего поколения».

Сборник **«Осенние листья»** опубликован 1 декабря 1831 г. и включает стихотворения 1828 — 1831 гг. Хотя в предисловии к книге Гюго заявлял о ее интимном характере, о том, что «революции преобразуют все, за исключением человеческого сердца», к которому обращается поэт, все же Июльская революция и последующие политические события побудили его включить в сборник и политическую лирику, которую он ранее предполагал издать отдельно. Так, в заключительном стихотворении «Друзья, скажу еще два слова...» дается картина европейской реакции 1815 — 1830 гг., эпохи господства Священного союза (подав-

ление освободительных движений в Испании, Португалии и Ирландии, австрийское владычество в Италии, кровавые репрессии в Болонье кардинала Альбани, иронически сравниваемого с римским трибуном Катоном, угнетение Бельгии, присоединенной к Голландии в 1815 — 1830 гг.). «Важность политического момента», о котором говорится в предисловии к книге, затронула «медную, гремящую струну» лиры Гюго. В целом же, по словам Гюго, сборник является «эхом тех, часто невыразимых раздумий, которые неясно пробуждаются в нас множеством созданий, страдающих или изнемогающих подле нас...».

В сборник **«Песни сумерек»**, опубликованный в октябре 1835 г., вошли стихотворения 1830 — 1835 гг. Книга была задумана первоначально как собрание политической лирики, однако затем Гюго решил включить в нее стихотворения личного характера, отмеченные теми же «сумеречными» сомнениями и тревогой, что и раздумья, вызванные неудовлетворенностью результатами революции 1830 г. Гюго нисколько не обманывался относительно равнодушия нового режима к нуждам народа и показного характера буржуазного либерализма, готового забыть тех героев, которых он же превозносил вчера,

подобно тому, как забывается имя греческого героя Константина Канариса, сражавшегося в 1820-х годах против турецкого ига вчера в честь него лились «чернильные реки», сегодня его слава безмолвна, как стала безмолвна расколотая персидским царем Камбизом «поющая статуя» Мемнона в египетском городе Фивах, которая при первых лучах солнца издавала гармонический звук в результате нагревания песчаника.

Сборник **«Лучи и тени»** вышел в свет 16 мая 1840 г. и включал в себя стихотворения, написанные в 1836 — 1840 гг. Здесь были представлены те же темы, что и в предыдущих сборниках (политическая, любовная, философско-созерцательная, радостей семейной жизни), однако доминирует мотив изменчивости «лика природы» и ее равнодушия к человеческой судьбе, забвения человека и его дел грядущими поколениями («Oceano nox»).

Стихотворения большого цикла политической лирики **«Возмездие»** в основном были созданы Гюго в изгнании на острове Джерси в короткий срок между августом 1852 и июнем 1853 г. и направлены против режима Луи-Наполеона Бонапарта, избранного в 1848 г. президентом республики, совершившего 2 декабря 1851 г.

государственный переворот и через год после этого провозгласившего себя императором Наполеоном III. Впервые книга была опубликована в Брюсселе в конце ноября 1853 г. одновременно двумя изданиями — одним с купюрами наиболее резких мест и пропусками собственных имен (только что принятый в Бельгии закон предусматривал преследование «сочинений, являющихся оскорбительными для государей дружественных народов»), другим — полным, носившим ложные выходные данные: Женева — Нью-Йорк. Оба издания были запрещены во Франции и ввозились туда нелегально. Первая публикация «Возмездия» в Париже была осуществлена 20 октября 1870 г., после падения Второй империи и возвращения Гюго на родину. Парижскому изданию было предпослано стихотворение «Перед возвращением во Францию», созданное 31 августа 1870 г. в Брюсселе, куда Гюго отправился 18 августа, в разгар франко-прусской войны, желая в трудные для родины дни быть рядом с нею. Исполненное «надежды новой жизни», стихотворение оказалось пророческим: через день после его создания Наполеон III был взят в плен при Седане, а 4 сентября в Париже была провозглашена республика, и поэт немедленно вернулся во

Францию. Стихотворения сборника запечатлели боль за поруганную Францию, находящуюся под властью ничтожного узурпатора («Простерта Франция немая...», «С тех пор, как справедливость пала...»), веру в то, что народ, подобно океану, сокрушит насильников («Народу»), готовность до конца быть «республики солдатом» («Ultima verba»). В то же время безгранична ненависть поэта к Наполеону III, жалкой карикатуре на своего великого дядю («Песенка»), «искателю случая», плуту вроде мольеровского Скапена, погромщику, заставляющему вспомнить об организаторе Варфоломеевской ночи Карле IX, ставленнику банкиров (Ротшильда) и ордена иезуитов, основанного Лойолой; заклеймил Гюго и деятелей наполеоновского режима, не пощадив ни политиков (Фортуль, Персиль, Пьетри, Карлье, Шапюи, Дюко, Мань, Тюрго, д'Агессо, Сент-Арно, Фульд, Мопа, Руэр, Друэн де Люис — последние двое сравниваются с австрийскими генералами Радецким и Гайнау, подавлявшими революции в Италии и в Венгрии в 1848 — 1849 гг.), ни судей (Сюэн, Монжо, Тролон, Барош), ни военных (Рейбель, Маньян, Карреле), ни бонапартистски настроенное духовенство (архиепископ Парижский Сибур), ни литераторов (Низар, Ри-

ансе). Развивая традиции «Трагических поэм» поэта-гугенота XVI в. Агриппы д'Обинье, «Ямбов», изданных в конце XVIII в, Андре Шенье и в 1830 г. Барбье, Гюго выступил новатором в области сатирической поэзии, поражая и по сей день страстностью обличения.

В сборник **«Созерцания»** вошли стихотворения, созданные в 1830 — 1855 гг. Две книги сборника («Тогда» и «Теперь») были опубликованы одновременно в Париже и в Брюсселе в марте 1856 г. Согласно авторскому замыслу, изложенному в предисловии, «Созерцания» являются «воспоминаниями души». Стихотворения сборника одухотворены чувством любви к людям и природе. Особое место занимают в сборнике стихотворения, в которых утверждается исключительность миссии поэта, его обязанность, подобно римскому сатирику Ювеналу, «обрушить свой глагол железный» на развращенное общество, взявшее себе за образец не сурового республиканца Катона, а нероновского временщика Тигеллина («Статуя»).

Сборник **«Песни улиц и лесов»** был опубликован в 1865 г., хотя замысел его пришел к поэту еще в 1847 г., а большинство стихотворений создано в 1859 г. Книга была довольно холодно

встречена критикой. Между тем безыскусная простота «Песен», пылкость воспоминаний молодости раскрыли еще одну сторону поэтического гения Гюго: его близость к народной песенной лирике, декларируемую в противовес эстетизму «парнасцев».

Сборник **«Грозный год»** вышел в свет 20 апреля 1872 г. Он является своего рода эпическим дневником событий франко-прусской войны и Парижской Коммуны. Большинство стихотворений сборника создано как непосредственный отклик на события августа 1870 г. — июля 1871 г. Здесь говорится и о мужестве парижан, осажденных осенью 1870 г. пруссаками, и выражается возмущение позицией президента США Гранта, поддерживавшего Пруссию и предавшего тем самым, по мысли Гюго, идеалы таких прогрессивных деятелей Америки, как борец за веротерпимость У. Пенн (1644 — 1718) и изобретатель парохода Фультон, как герои освободительной войны против Англии в XVIII в. Вашингтон, Франклин и Джефферсон, получившие поддержку французского народа в лице генерала Лафайета и польского в лице Костюшко, как, наконец, борцы за освобождение от рабства негров Джон Браун и Линкольн. Нашли отражение в стихотворени-

ях сборника и события Парижской Коммуны. В день провозглашения Коммуны, 18 марта, поэт хоронил своего сына Шарля Гюго, и коммунары отдавали почести похоронной процессии, двигавшейся вдоль баррикад, что глубоко тронуло поэта («Похороны»). 21 марта Гюго выехал в Брюссель по имущественным делам семьи скончавшегося сына. 30 мая он вынужден был переехать в Люксембург, откуда 25 сентября вернулся в Париж. Гюго не принял революционной диктатуры Коммуны. Однако, возвысив голос против кровавой расправы версальцев над коммунарами, выступив с протестом против решения бельгийского правительства закрыть границу революционным беженцам, в результате чего он был выслан из Бельгии, Гюго прославлял героизм коммунаров и их готовность к самопожертвованию («За баррикадами, на улице пустой...»).

В сборник 1877 г. **«Искусство быть дедом»** вошли стихотворения 1870 — 1877 гг., связанные с внуками поэта Жоржем и Жанной, жившими после смерти их отца Шарля у деда.

«Легенда веков» — так озаглавлен сборник стихотворений и поэм, состоящий из трех серий, последовательно выходивших в свет в 1859, 1877 и 1883 гг. Поэтически воссоздавая историю

человечества по мотивам легенд, Гюго видит в ней поступательное движение от страданий и несправедливости к добру и свету (так, мысль об исторической бесперспективности деспотизма запечатлена в стихотворении «Роза инфанты», где бессилие «стервятников» и. «сов», вроде тиранов XVI в. Карла IX Французского и Филиппа II Испанского, в их желании остановить ход истории выступает с большой художественной убедительностью).

«Все струны лиры» — таково было заглавие для задуманного Гюго в последние годы изгнания большого собрания неизданных стихотворений, принадлежащих к разным периодам его творчества. Издание было осуществлено посмертно друзьями поэта Полем Мерисом и Огюстом Вакери, опубликовавшими в июне 1888 г. первую серию в двух томах и в июне 1893 г. — вторую серию. В авторском примечании Гюго заявлял: «Все струны лиры должны представить весь репертуар моей поэзии».

Сборник **«Последний сноп»**, состоявший из 74 неизданных стихотворений, был опубликован в 1902 г. к столетию со дня рождения поэта.

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ПРИГОВОРЕННОГО К СМЕРТИ
и
КЛОД ГЕ

Книга «**Последний день приговоренного к смерти**» вышла в свет 7 февраля 1829 г. и вызвала резкие нападки реакционной прессы, увидевшей в ней «упорное стремление запятнать человеческую душу, поколебать покой целой нации». Ответом на выпады реакционеров явилось предпосланное четвертому изданию повести драматизированное предисловие «Комедия по поводу трагедии», которое направлено против оторванности литературы от жизни народа. Хотя Гюго и называл «Последний день» «аналитическим романом», изображающим «внутреннюю драму» человека, все же его повесть была произведением, имевшим прямую социальную задачу: «Цель «Последнего дня приговоренного к смерти» — внушить высшим классам отвращение, а низшим ужас перед смертной казнью» (Заметка Гюго, датированная 1 апреля 1832 г.). Пусть протест против смертной казни носит в

повести отвлеченно-гуманистический характер, пусть смысл произведения заключался для Гюго в принципиальном осуждении человекоубийства и писатель сознательно оставляет в стороне вопрос о существе преступления героя, симптоматично само появление книги, направленной против официального законодательства в преддверии революции 1830 г. Революционные события и народные волнения первых лет июльской монархии побудили Гюго осмыслить такой новый аспект вопроса о смертной казни, как пристрастность буржуазного суда, беспощадного к представителям низов и ищущего оправданий для представителей привилегированных классов. Эти размышления отражены в статье 1832 г., направленной против смертной казни и использованной в качестве предисловия к пятому изданию «Последнего дня». Благородное выступление Гюго против смертной казни было высоко оценено русскими писателями. Так, В. Г. Белинский в статье «О русской повести и повестях г. Гоголя» писал: «Гюго никогда не был осужден на смертную казнь, но какая ужасная, раздирающая истина в его „Последнем дне осужденного”!» Ф. М. Достоевский в записной тетради 1875—1876 гг. назвал повесть «бессмертным произведением»

(Литературное наследство, т. 83, стр. 395).

Источником повести «**Клод Ге**» послужил отчет о процессе рабочего Клода Ге, убившего тюремного надзирателя, прочитанный Гюго в «Судебной газете» 19 марта 1832 г., через четыре дня после окончания статьи, ставшей предисловием к «Последнему дню приговоренного к смерти». Писатель немедленно начал готовить речь о Клоде Ге, однако 8 июня 1832 г. Ге был казнен в Труа, и повесть Гюго, напечатанная 6 июля 1832 г. и вобравшая в себя целые страницы речи, стала, таким образом, посмертной защитой подсудимого. Если в «Последнем дне приговоренного к смерти» Гюго намеренно отвлекался от существа преступления, то здесь он ставит вопрос о том, что буржуазное общество толкает человека из народа на преступление, Бальзак отнес эту повесть к таким произведениям, «где художник, писатель, поэт выступают в полном блеске своего таланта».

М. Толмачев

МАРЬОН ДЕЛОРМ

Драма «**Марьон Делорм**» (первоначальное название «Дуэль во времена Ришелье») была написана в июне 1829 г.

Гюго стремился применить в ней новаторские принципы романтической драмы, провозглашенные им в предисловии к драме «Кромвель» (1827). Поэтому «Марьон Делорм» носит полемический характер по отношению к традиционной драматургии классицизма и является в известном смысле программным произведением.

Выбор сюжета из отдаленного, преимущественно национального прошлого с выведением на сцене крупных исторических личностей, стремление передать «колорит места и времени» (политическую и социальную обстановку эпохи, черты ее быта и нравов), совмещение в пьесе трагического и комического, нарушение обязательных для классицизма «единств места и времени», а главное, изображение в отрицательном свете аристократии и духовенства и выдвижение на первый план демократического героя — все эти принципиальные новшества характерны для драматургии Гюго в целом.

Стремясь к исторической точности, Гюго в течение двух с половиной лет старательно собирал материалы для «Марьон Делорм», изучал эпоху, делал выписки из трудов историков и мемуаристов о деятельности Ришелье, о личности Людовика XIII и о его окружении. Но в самой драме Гюго весьма вольно обращается с историей, подчиняя ее своему идейному и художественному замыслу.

Действие «Марьон Делорм» происходит в 1638 г., при короле Людовике XIII, когда во Франции завершалось становление абсолютной монархии, являвшейся для того времени исторически прогрессивной государственной формой, служившей целям национального объединения. Людовик XIII, не обладавший ни твердостью характера, ни дарованиями, был фактически отстранен от власти; вместо него правил выдающийся государственный деятель, первый министр короля, герцог и кардинал Ришелье (1585-1643), имевший неограниченное влияние на Людовика XIII. Ришелье вел твердую политику усиления абсолютизма: он значительно централизовал государственный аппарат, ограничил политическую независимость крупных феодалов, беспощадно подавляя их сопротивление, покро-

вительствовал торговле и промышленности, но вместе с тем он усилил угнетение народных масс, особенно крестьян. Гюго не дает объективной исторической оценки деятельности Ришелье, который фигурирует в драме лишь как символ деспотического антинародного правления. Ему противопоставлены отверженный обществом плебей и куртизанка.

Форма исторической драмы наполняется у Гюго современным содержанием: в ней поднимается вопрос о смертной казни, поставленный одновременно в «Последнем дне приговоренного к смерти» (1829); накануне июльской революции обличаются церковь и монархия, — в образе ничтожного Людовика XIII цензура не без основания усмотрела намек на царствовавшего тогда Карла X; наконец, характер центрального персонажа, Дидье, совершенно лишен исторической окраски: как все «народные» герои Гюго, Дидье является лишь жертвой общественной несправедливости и носителем идеальных нравственных качеств.

Несмотря на то, что три парижских театра оспаривали друг у друга право на постановку «Марьон Делорм», она была запрещена цензурой; более того, четвертое действие пьесы послужило поводом к запрещению вообще изображать коро-

нованных лиц на сцене. Не помогли ни согласие Гюго на значительные купюры в тексте пьесы, ни его переговоры с министрами и с самим королем. От предложенного правительством в виде компенсации увеличения пенсии, которую поэт получал в то время, — с двух до шести тысяч франков — Гюго публично отказался.

Конфликт Гюго с цензурой получил широкую огласку, ибо запрещение «Марьон Делорм» было типичным случаем применения реакционных «июльских ордонансов» министерства Полиньяка, послуживших толчком к началу революции 1830 г. Близкий к сен-симонизму журнал «Глоб» писал: «Господину Виктору Гюго выпала честь принять на себя первый удар во вновь разгоревшейся ныне войне против идей».

«Марьон Делорм» была впервые поставлена уже после свержения Бурбонов, 11 августа 1831 г., в театре Порт-Сен-Мартен.